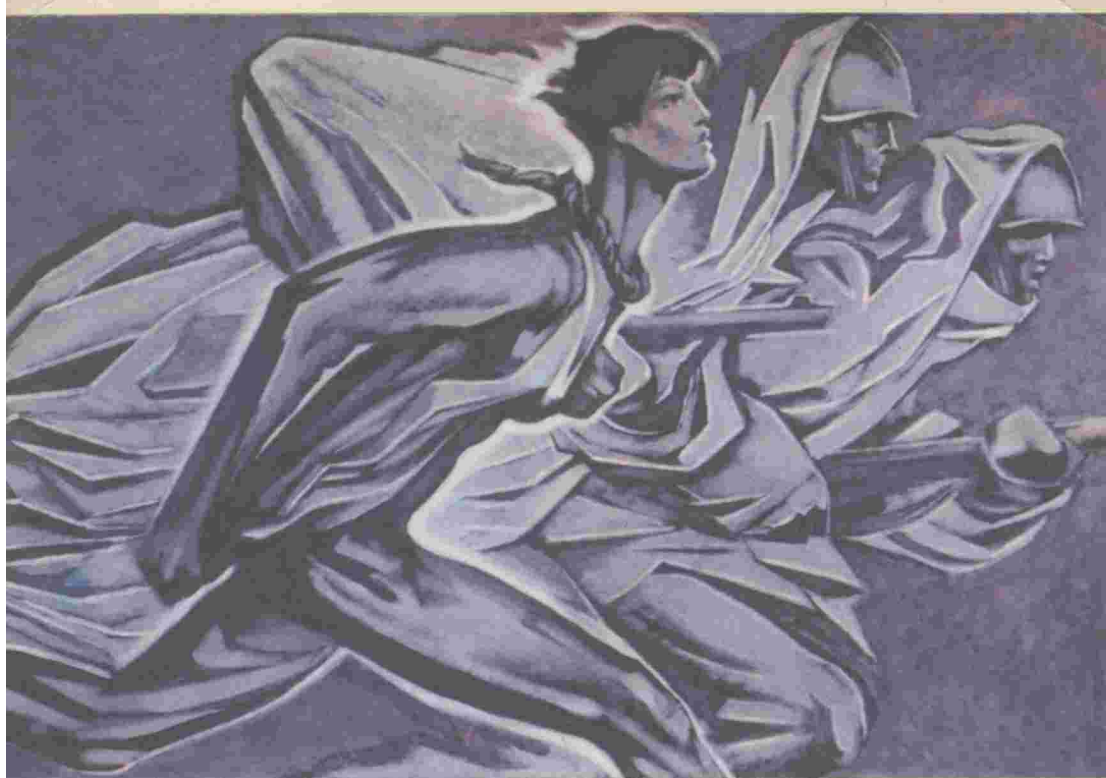




ЮНОСТЬ

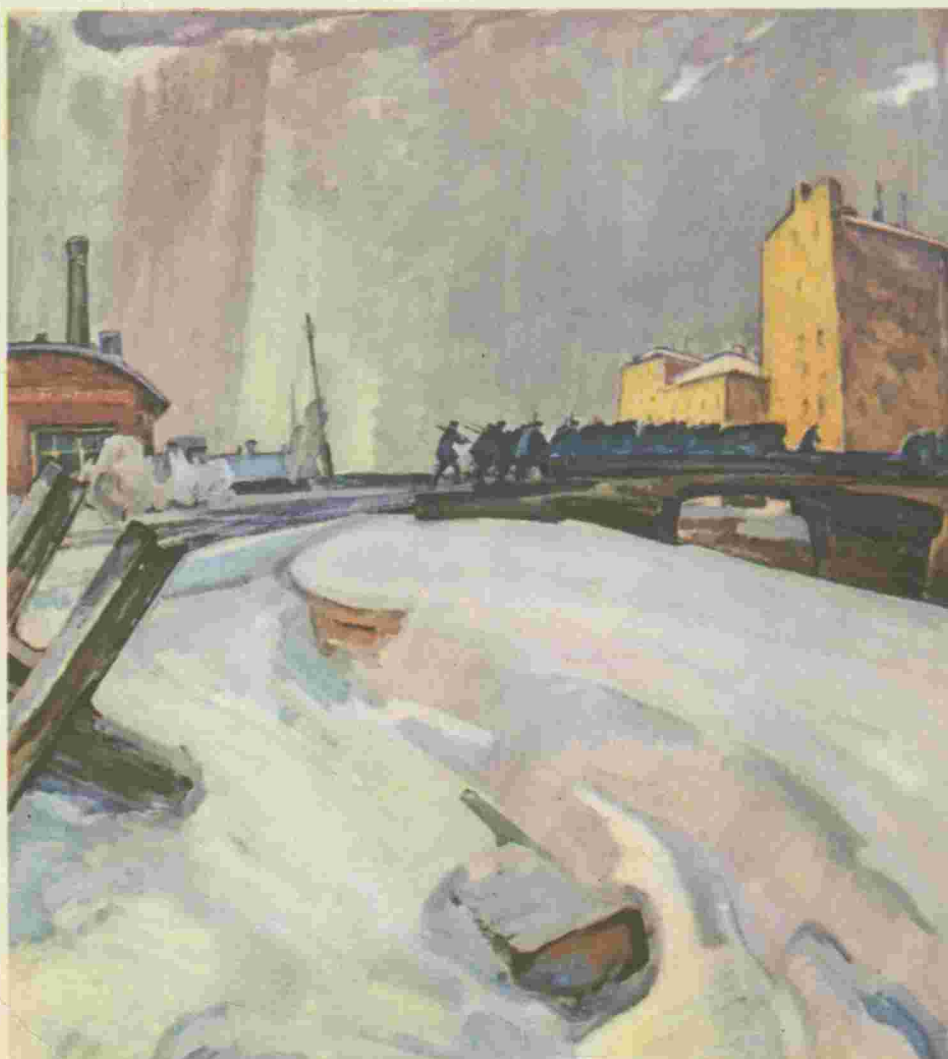
2

1967



Б. ПРОРОКОВ.

Герои
не умирают.



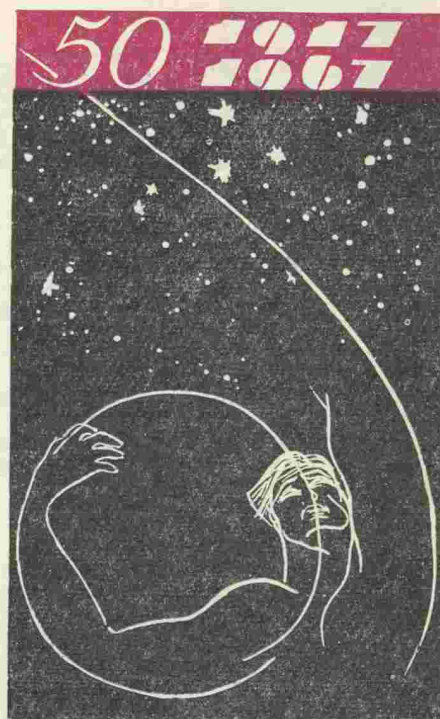
В. ВАСИН.

Москва, 1941 г.

По залам выставки
«Защитникам Москвы
посвящается».

ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР



год издания тринадцатый

2

(141)

ФЕВРАЛЬ

1967

КОЛОМЕНСКАЯ
СРЕДНЕШКОЛЬНАЯ №4
БИБЛИОТЕКА
Инв. №

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

МОСКВА



• В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ •

• ПРОЗА

Григорий ГЛАЗОВ. Шефский концерт. Рассказ	4
Владислав ТИТОВ. Раненый чибис. Рассказ	18
А. АВДЕЕНКО. Я люблю. Роман. (Продолжение)	21

• ПОЭЗИЯ

Иван КРАСНОВ. Обелиск у дороги. Партийный крестник	2
Ростислав ФИЛИППОВ. Проводы в армию. Когда уходят сроки	2
Леонид ВЬЮНИК. «Если в жизни трудный будет случай...» В госпитале	3
Леонид СОРОКА. «Мне открывался по-немногу...» «Вот так вот сесть и написать...»	3
Николай СТАРШИНОВ. «А правда, мне в деревне бы родиться...» «Красный лик работяги-солнца...» «Интересует — и давно — меня...» «Ничего-то из себя...» «Чего-то я не становлюсь умней...» «В глухой ночи уполз к врагу изменник...» «А ты летишь, моя зеленая...»	11
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ. Юность. Фабричная баллада. «Октябрь. Красное тавро пылает на спине возницы...» «Никогда не забывайте детство...» Тридцать форелей из Чаквы. «Я, юный сын лесов, морей...»	12
Виталий КОРОТИЧ. Памяти Шевченко. Кавказ. «Нашли в одном государстве...». «Поэты! Научите доброте...» Гелати. «Я презираю это «вообще»...» «Не веря слуху своему...» Перевод с украинского Юнны Мориц	14
Владимир КОСТРОВ. Полярный геолог. «И ромашкам так хочется жить...». «Неужели, чудак, ты вот это на свете искал...» Бабье лето	16
Герман ПЛИСЕЦКИЙ. Из цикла «Михайловские ямбы»	17
Валентин КУЗНЕЦОВ. Садовая баллада	74

• ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Мария ПРИЛЕЖАЕВА. Дар высокий. (К семидесятипятилетию Константина Александровича Федина)	61
--	----

• К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

Иван КУПЦОВ. Память народа	64
--------------------------------------	----

• ПУБЛИЦИСТИКА

Д. БЫКОВ-КАРПОВИЧ. Три встречи	65
Борис БЯЛИК. Живая легенда Осетии	68
Элла ЧЕРЕПАХОВА. Короли и капуста	75
Т. ГРОМОВА, Г. РОНИНА. Что привело их на эту дорогу	84
Вячеслав ВАГЕНИК. Зинин госпиталь	100

• СРЕДИ КНИГ

Маленькие рецензии и аннотации	81
Юрий БОНДАРЕВ. Писатели-солдаты.	83

• ПОЧТА «ЮНОСТИ»

Люся КОРОЛЕВА. Легко ли быть девчонкой?	91
---	----

• НАУКА И ТЕХНИКА

Р. ЛЕОНОВ. Загадки шаровой	92
Новости отовсюду	98

• ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

* С. ПАЛАТНИКОВА. Семинар в Красной Пахре	101
* Л. ПЛЕШАКОВ. На Севере дальнем... * Н. ВАРГАНИСТОВА. Скульптура из воздуха. * И. МАХАТАДЗЕ. В плену у гостеприимных ягуа	102

• ДЕБЮТЫ

Игорь КИО: «Чудес не бывает...»	105
---	-----

• СПОРТ

Елена СЕМЕНОВА. Таллинский эксперимент	107
Виктор БАБКИН. «Скатертью дорожка, чемпион!..»	110

• ПЫЛЕСОС

Арн. ИНИН, Л. ОСАДЧУК. День рождения	111
--	-----

На 1-й — 4-й страницах обложки — рисунки Л. КАРНАУХОВА.

Художественный редактор Ю. Цишевский.
Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52.

Технический редактор Л. Зябкина.
Телефон Д 5-17-83. Рукописи не возвращаются.

А 00326. Подп. к печати 4/II 1967 г. Формат бумаги 84 × 108¹/₁₆. Объем 7,25 физ. печ. л. — 12,18 усл. печ. л.
Тираж 2 000 000 экз. Изд. № 354. Заказ № 3562.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ул. «Правды», 24.



Иван Краснов



Обелиск у дороги

Как тогда,
Мне поют в Подмоскowie
О бессмертье земли снегири.
Как тогда,
Обжигающей кровью
Разливается стужа зари.

В белых дошках березы и ели.
В колеях — ледяная слюда.
Коловертью проходят метели,
И поэмка течет,
Как тогда.

Лишь не вижу я рядом с собою
Пулемета на двух полозках,
Ослепительных сполохов боя
И комбата с биноклем в руках.

И не падает возле березки,
Принимая без крика беду,
Лучший друг мой,
Земляк мой и тезка...
Он упал в сорок первом году.

Он упал, зачерпнув рукавицей
Снега русского пух голубой.
Но беда не дошла до столицы,
Мы скрутили ее под Москвой.

...Обелиск у дороги покатою.
Свет, Москвы — как сиянье зари.
Над гранитной могилой солдата
О бессмертье поют снегири.

Партийный крестник

Стучатся в дверь: «Товарищ, выдь-ка!»
И через миг передо мной
Фуражку мнет Стоянов Витька,
Друг — однокашник полковой.
Смеется: «Не узнал злодея!»
И верно: чтоб его узнать,
Сбрить бороду Хемингуэя
И штатский свитер надо снять.
Уж десять лет, как честь по чести
Простился он с родным полком
И с новостроем шлет мне вести,
Пронизанные юморком.
И тем дорожке эти вести,
Что к ним приписывает друг

Две строчки: «Твой партийный крестник,
Обживший весь Полярный круг».
Про сумасшедшие метели
Строчит он чуть ли не в стихах.
Сто премий
В его личном деле,
Семь специальностей в руках.
«Ах, Витька, Витька, парень славный,
Не зря ль ты старишь облик свой!» —
Труню я над его чернявой
И живописной бородой.
«Нет, нет! — басит он. — Не старею!
Вам это подтвердит жена.
А борода Хемингуэя
Мне для солидности нужна».
...Романтик мой, шутник лукавый,
Будь счастлив, здоров и знаменит!
Ведь знаешь сам: твоя Держава
Вся на Стояновых стоит!

Ростислав Филиппов



Проводы в армию

А дед глядел со снимка горько:
жаль, что за стол ему не сесть,
хоть к месту был на гимнастерке
его георгиевский крест.
А снеси-то! Столы кряхтели,
держались на ногах едва...
И люди добрые смотрели,
как пил виновник торжества.
Не то чтоб много пил и грустно,
когда к себе уже не строг.
А с тем особым редким чувством,
когда уходят за порог.
Когда все сказано и собрано,
когда качается изба,
и сердце плавится под ребрами,
и пот торопится со лба!
Но вот околица привычная,
вокруг машины — полсела.
И мать совсем не по обычаю
бесслезно сына обняла.
И робко за руку держала...
И далеко из далека
за ним бежала, провожая,
Аргунь, казацкая река...

Когда уходят сроки

Вдруг выпал снег. И долго, нудно таял...
Такую грязь развел, что боже мой!
Ругался агроном, свой календарь листая,

мрачнел: уходят сроки посевной.
 Стояли трактора, в обмотках глины стыли.
 А ветер бил по лбам и по глазам...
 И мокрядь трактористы так честили,
 что было неуютно небесам.
 По вечерам в правлении сходились,
 на короточках вдоль стены садились,
 курили, соглашались: дрянь дела!
 И сообща на диктора сердились
 за то, что вновь не посулил тепла.
 Потом концерт давали. Бах вначале,
 симфония Чайковского затем.
 Но тут приемник дружно выключали,
 поскольку было не до Баха всем.
 Мне тоже было тягостно и грустно.
 И думал я о том, что спать пора,
 о том, что нам, увы, не до искусства,
 когда в грязи буксуют трактора...

Леонид Вьюнник



Если в жизни трудный будет случай,
 Унывать, мой друг, совсем не надо:
 Понапрасну сам себя не мучай,
 А прочти светловскую «Гренаду».
 Если даже горе приключится
 (Ты мне назидание прости),
 Почитай Майорова, Кульчицкого,
 Когана внимательно прочти.
 Их строка волнует нас и лечит.
 Болен ты, а может быть, устал,
 Ты читай — и сразу станет легче.
 На себе я это испытал...

В госпитале

Не разберешь, весна ли, лето.
 Потерян дням, неделям счет.
 А шторм все воет до рассвета,
 А шторм аж за душу берет.
 А брызги шпарят, как осколки,
 И ветер в стекла глухо бьет.
 Ах, черт побрал бы эту койку
 И этот сон, что вечно лжет!
 Я рвусь туда, где на просторе
 Девятый вал встает горой...
 Сестра спокойно сводит шторы.
 Сестра!
 Ну будь же ты сестрой!
 Пусти меня туда, где парни
 Вновь покоряют океан!

Туда, где бурей, солью пахнет,
 Где мачты в клочья рвут туман,
 Где море,

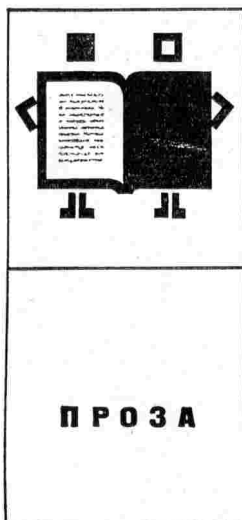
Баренцево море,
 В штормах проверены друзья!..
 Сестра свела спокойно шторы,
 Сказала шепотом: «Нельзя».



Леонид Сорока

Мне открывался понемногу
 глубокий смысл простых вещей.
 Я с новобранцами, не в ногу,
 шел от придирчивых врачей.
 В своих сомненьях изначальных
 склонялся к нарам головой,
 а мне свиданья назначали
 конверты почты полевой.
 А мне учителя писали,
 чтоб я держался: есть талант,—
 но пошевеливал усами
 неумолимый лейтенант.
 И автомат я брал бездарно
 на грудь, а после — на плечо:
 натиркою полов казармы
 был выходной мой омрачен.
 И в замороженное небо
 стучали пушки не впопад,
 а в перерыве кашей с хлебом
 кормили повара солдат.
 И открывалась понемногу
 мне жизнь в безмерной глубине.
 Я шел со сверстниками в ногу
 и с автоматом на ремне.

Вот так вот сесть и написать,
 Не отрываясь от бумаги,
 Как к тишине пригнулись маки
 И отцветать собрался сад.
 Как день торжественен субботний
 В нарядном шествии семей,
 И черных птиц полет свободный
 Так сразу описать сумей.
 И ни на миг не отрывая
 Перо от белого листа,
 Пиши, и с грохотом трамвая
 Пусть в стих ворвется красота.
 Не очень броская, не слишком
 Еще уверена в себе,
 Как молодой солдат-мальчишка
 На первой боевой стрельбе...



Григорий
Глазов

Шефский КОНЦЕРТ

РАССКАЗ



Рисунки
Г. Калиновского.

Полк стоял в лесу, задыхающемся от запаха хвои, распаренной зноем. Она была всюду: вверх, зеленая, чистая, густая, и под ногами — подошвы скользили по мягкому многолетнему навалу сопревших, а ныне иссушенных иголок. На остывавших столах сосен запеклись выжатые дневной жарой просвечивавшиеся капли пресного клея.

— Павлуша, перестань, — тихо говорила Ната, когда Павел отдирает от коры очередную липкую сосульку и посасывает ее с удовольствием, как в детстве леденец. — Командир подумает, что ты голоден. Просто неудобно.

— А я действительно голоден, Натуся. И потом это витамины, — подраивал он ее.

В лес вползали беззвучные теплые сумерки.казалось, что деревьев стало больше, они сомкнулись плотней, верхушки их мерно раскачивались. Было покойно и мирно. Слышались лишь приглушенные голоса бойцов, укладывавшихся спать у гусениц танков, да кое-где тревожно и коротко расширялись в сутеми рысьими зрачками огоньки цигарок.

Командир полка шел впереди. Справа от него — Карамышев, слева — Алферов. Чуть приотстав — Павел и Ната. Он держал ее за мизинец узкой загоревшей руки. Но едва они приближались к танку или повозке, где была прислуга, Ната выдергивала палец из его теплой ладони и с независимым видом подходила к остановившимся, где комполка давал объяснения.

— Это, — говорил он, — предназначено для борьбы с танками. Снаряд называется подкалиберным...

Осматривая технику и оружие, Павел по-мальчишески восклицал:

— Натуся! Какая силища! «Подкалиберный» — звучит-то как! Ты видела: все уложено аккуратно, расчетливо. Все будет действовать без затраты лишней минуты. А маскировка! Попробуй обнаружь их...

И они шли дальше.

Комполка осторожно, чтобы не хлестнуть идущих сзади, раздвигал гибкие ветки ельника; в синей глубине его укрывался полк. Оттуда шел запах нагретого металла и газойля, ружейного масла и кирзы, привычный ему тревожный дух армейского быта. Шел комполка не спеша, но уверенно ступая в темноте крепкими ногами, втиснутыми в туго облегающий икры податливый хром. Широкая и спокойная спина перехлестнута накрест, как дугами, новой портупеей. И весь он от бритого выпуклого затылка до нестертых каблучков сапог казался Павлу и Nate идеалом силы и надежности в каждом движении и слове.

А между тем сам он, вспоминая восторженность этого парнишки-актера и смущенность от нее молоденькой его жены, горько думал о том, что, едва выйдя из окружения и получив полк, снова прячется в лесу, ожидая немцев, что горючего осталось всего на один короткий переход, а обещанный комкором газойль не прибывает — эшелон раздолбан «юнкерсами» еще в пути — и что боекомплекта, этих самых подкалиберных, так восхитивших парнишку, хватит лишь по десяти штук на стол.



Особенно восхитила Павла командирская землянка. Под ногами легко пружинили свежие еловые ветки, прикрывавшие землю с обнаженно-белыми цепкими корнями, иссеченными саперными лопатами.

Все сели по сторонам квадратного стола. От него еще пахло клеем, лесом, жизнью дерева, из которого он был наспех сколочен. Пронзительно светила маленькая лампочка-переноска, подключенная к танковому аккумулятору.

— Ну что ж, товарищи артисты, мы показали вам нашу технику, то, чем будем бить немцев.— Комполка снял фуражку, обнажив гладкую крупную голову, утром выбритую до блеска.— Вы сделали большое дело, приехав к нам. Вы продемонстрировали красноармейцам свое патриотическое искусство накануне жестоких боев. Очень жестоких,— без выражения повторил он.— Спасибо вам. И примите от нас вот это. Просто на память. Больше ничем отблагодарить не можем.— Комполка достал из полевой сумки четыре миниатюрных изображения танка, выточенных из плексигласа.— Утром на полуторке отправим вас домой. А сейчас обед.— Он встал, распластав огромные руки на столе, и Павел увидел на мускулистом бугре между большим и указательным пальцами синие буквы «Алеха». В этот момент зашуршала плащ-палатка, занавешивавшая вход, и боец в белом переднике внес еду.

— Откушайте наше котловое довольствие,— улыбнулся комполка.

Перед каждым была поставлена эмалированная миска с борщом, затянутым тонкой пленкой жирного томата, обтаявшими льдинами плавали куски сала.

— Мне свинину нельзя. Печень. Если можно, я только второе,— сказал вдруг Алферов, обратившись к бойцу.

— Ну, а как насчет этого? — прижмурившись, коварно спросил комполка, ставя бутылку водки рядом с горкой крупно нарезанного хлеба.— Давайте, пока комиссар мой не пришел,— засмеялся он, сдвигая граненые стаканы.

Павел и Ната переглянулись, посмотрели на Карамышева.

— Ишь ты,— бодро отозвался тот и начал зачем-то подтягивать узел галстука.— Разве что для полного антуража!

— «Пьющих не люблю, непьющим не доверяю», так сказал, кажется, кто-то из классиков,— произнес комполка, разливая водку.

«А если бы кто-то из классиков не сказал такого, что бы к этому случаю приготовил комполка?» — подумал Алферов, двумя пальцами нежно обхватив стакан.

Чокнулись под короткий тост «За победу!». Павел начал пить не спеша, чувствуя катастрофически неприятно подступающий спазм, но, дернув кадыком, протолкнул водку и, захватываясь криком, громко поставил пустой стакан.

Алферов усмехнулся, тихо выцедил водку и принялся ковырять вилкой в гречневой каше, вытаскивая на край тарелки черные зернышки плохо перебранной крупы.

Захмелел Павел сразу. Он стал сильным и счастливым оттого, что сидит в этой землянке рядом с таким храбрым орденосцем-командиром, ест солдатский харч. Там, за стенами, в лесу, укрыта могучая техника. Она будет громить фашистов, а он, Павел, честно причастен ко всему этому — военному, тревожному, мужскому делу. Был он голоден, ел быстро, глубоко зачерпывая легкой алюминиевой ложкой борщ.

— Павлуша, ты очень шумно ешь. Просто неприлично,— шепнула на ухо Ната. Но, улыбнувшись ей блестящими глазами, он продолжал хлебать из миски борщ, какой дома ни за что бы не ел: в нем плавал до дрожи ненавистный разваренный лук. Затем подали котлеты с кашей. Это, конечно, были не такие, как у мамы, высокие, сочные, в булькавшем масле, а плоские, сухие, в пупырышках подгоревших сухарей, и хлеба в них было явно больше, нежели мяса. Но Павел ничего этого не замечал.

Обед по времени был скорее ужином. Комполка расстегнул две пуговицы на воротнике и, часто утирая бритый череп большим, сложенным вчетверо синим платком, не стесняясь своего любопытства, расспрашивал гостей насчет актерской жизни. Особенно его интересовал Николай Крючков из «Трех танкистов».

На вопросы отвечали Карамышев и Павел. Ната притихла: боялась, как бы Павлуша не начал говорить мудро, что-нибудь о сценическом мастерстве, чего не сможет понять такой прекрасный и смелый (в этом Ната не сомневалась) командир. Ей казалось глубоко бестактным обидеть гостеприимного человека разговором о чем-нибудь недоступном ему и быть при этом свидетелем его смущения. И Карамышев, словно чувствуя, когда Павла начинало заносить, перехватывал суть рассказа и возвращал его в самые безопасные русла. Алферов же просто молчал, раскапывая в пальцах хлебный мякиш, изредка остро вслушиваясь в то, что происходит за стенами землянки.

Вскоре Павел и Ната в сопровождении бойца ушли к полуторке, в кузове им была приготовлена постель — хрусткое, пахучее от разнотравья сено, прикрытое брезентом, и пара шинелей.

☆

Располагайтесь, товарищи. Вот моя постель. Эта комиссара. Как-нибудь до утра перемерзаетесь,— словно извиняясь, предложил комполка Карамышеву и Алферову.

— А вы? — поинтересовался Карамышев. Он сидел на нарах в тени и пыхтел, распутывая стянувшийся в узел шнурок туфли.

— Все будет в порядке. Летом каждый кустик ночевать пустит,— бодро ответил комполка.

Алферов уже лежал, подложив ладони под затылок. Его раздражал нарочитый автоматизм, с каким этот грузноватый командир отзывается на все цитатами и поговорками. Но Алферов понимал, что в других обстоятельствах не обратил бы на это внимания, а снисходительно бы улыбнулся. Он догадывался об истинной причине своей раздражительности, но боялся ее уточнять. «Самое лучшее — заснуть», — решил он и прикрыл глаза, успев еще раз глянуть на сидевшего у стола комполка, ярко высвеченного конусом света. «Обыкновенный, простой человек», — примирительно подумал Алферов и услышал голос Карамышева.

— Давно на войне? — спросил тот, развязав накопец шнурок.

— С самого начала,— ответил комполка. И уточнил: — с Халхин-Гола.

— И орден тогда же?..

— Нет, несколько позже.

— Воевать долго будем?

— Придется,— неопределенно ответил комполка.

— Курить у вас можно? — спросил Карамышев и, густо задымив, закашлялся, сел на нарах, подобрав коленки к подбородку. Затем почти шепотом: — Почему отступаем?

При этом вопросе Алферов плотнее прикрыл веки и задержал дыхание так, что застучало в висках. Стало тихо. «Сейчас он опять какую-нибудь поговорочку», — поморщился Алферов и устало расслабился.

— Цыплят по осени считают,— ответил комполка. А сам вспомнил, что август на исходе; скоро осень, дожди и черная чавкающая хлябь под ногами, что, отступать станет совсем нелегко.— Война, дорогой товарищ артист, состоит из отступлений и наступлений...

— Про это я знаю,— усмехнулся Карамышев, понимая, что комполка имел в виду его штатскую не-

осведомленность.— Это я на гражданской войне еще усвоил,— сказал, отвергая наивное объяснение командира.

Комполка встал, словно ему надоел этот вопрос. Лицо его было в тени, выше лампочки, жесткий белый свет выпукло обхватил широкую грудь, начищенные пуговицы и яркий орден Красного Знамени.

И тут Алферов не выдержал.

— А немцы близко? — спросил как можно спокойнее, намекая, что не спал, что он тоже участник их разговора, хотя и молчаливый.

— Предстоит встретиться,— ответил комполка.— Простите, мне пора. Отсыпайтесь, товарищи. Утром по росе выезд.— И, мягко прошуршав хвойными ветками, вышел.

Со свету все вокруг было черно. Лишь вверх — звездное решето неба. Звякнуло кольцо на винтовке часового, стоявшего где-то рядом, в засасывающей черноте ночного леса. «Снял с плеча винтовку,— определил комполка.— А старик артист — заноза. Вопросы с подкавыкой. Со «вторым планом»,— вспомнил он выражение Павла.— Однако не озябли бы в кузове». Он шагнул в плотную тишину между деревьями, и темень, словно глубокая вода, сошла за его спиной.

-Ты знаешь, я давно не спал под открытым небом,— ерзая на сбившемся под брезентом сене, прошептал Павел.— И совсем спать неохота.

— Павлуша, ты опять стягиваешь с меня шинель,— также шепотом отозвалась Ната.

Они лежали на спинах, глядя в небо, каждый думал о своем, изредка нарушая молчание почти не требующей ответа фразой.

— Приедем, я снова пойду к этому военному. Он выгнал меня, как мальчика: «Когда нужно будет, мы пришлем вам повестку, а пока обслуживайте бойцов скетчами! Идите, вы свободны!» И это мне — ворошиловскому стрелку! Ты спишь, Натуся?

— Нет... Скоро месяц, как мы с тобой супруги,— серьезно сказала она.— Я пойду на курсы медсестер.

— Ты помнишь, когда мы сегодня играли сценку из второго акта, два красноармейца друг друга локтями толкали и хохотали? Чудаки!

— Какие?

— Да те, что на траве в первом ряду.

— Не помню. Смотри. Луна.

— Я мечтаю, чтоб ты сыграла Офелию. Ты так хотела эту роль! Помнишь: «Сударыня, могу я прилечь к вам на колени?» Ну, отвечай же, Ната, как там дальше!?

— «Нет, мой принц».

— «Я хочу сказать: положить голову к вам на колени?»

— «Да, мой принц».

— «Вы думаете, у меня были грубые мысли?»

— «Я ничего не думаю, мой принц».

— «Прекрасная мысль — лежать между девичьих ног».

— «Что, мой принц?»

— «Ничего».

— «Вам весело, мой принц?» Интересно, в Германии сейчас Шекспира играют? — спросила Ната.

— Давай поцелуемся, Натуся.

— Не хочу, ты пьяница. От тебя несет водкой.— И, обнимая его, шепнула: — Ляг перочинным ножиком.— Это значило: повернись на правый бок, подбери к животу колени. Она тоже легла так, тесно прижавшись к его спине. Натянутые до ушей шершавые ворота шинелей пахли чем-то незнакомым — не то потом, смешанным с дымом, не то карболкой.

Июль сжег степь. Она распростерлась во всю ширину горизонта, беззвучная и безучастная ко всему, придавленная ожидающей тишиной. Кое-где по сторонам стояли ржавые стебли подсолнуха с поникшими, свернутыми головами да жестяно шелестели порывевшие листья кукурузы. Такой эта степь и досталась августу, догасившему в ней все зеленое.

Между курганами проползала тоненькая ниточка исколдобленной дороги, по ней быстро перемещалось густое облако пыли, тянувшееся, как на привязи, за колесами полуторки.

Ната сидела рядом с водителем — молодым лопухим красноармейцем, напряженно всматривавшимся в унылость запекшейся суглинистой колеи.

Вчера в разговоре с Павлушей Ната бодрилась. А сейчас, когда к ней никто не обращался, когда не надо было никого выслушивать и никому отвечать, ее охватила тревожная растерянность. Если Павлуша уйдет в армию, что будет делать она? Театр могут эвакуировать, и они, чего доброго, потеряют друг друга. Ната понимала, что война — страшное бедствие, но понимание это было отвлеченным, оно не содержало для нее покуда никаких жестоких и трагических подробностей: душа ее была настроена фильмами, книгами и бодрими маршевыми песнями, каких было так много в последние предвоенные годы. На них, рассказывавших о возможных будущих битвах, лежал отсвет гражданской войны...

А в кузове мужчины вели разговор, какой обычно возникает меж людьми давно знакомыми и часто бывающими вместе в дороге. Они сидели на сене, привалившись к небольшому ящику с театральными костюмами и прочим реквизитом.

Карамышев курил, то и дело хлопая ладонью по сену, куда проваливались искры, сбитые с его папиросы тугим встречным ветром.

— Вы нас в конце концов подождете, Леонид Сергеевич,— вяло произнес Алферов.— Я знал одного курильщика, у него половина зарплаты уходила, чтобы оплатить стоимость скатертей, одеял и простынь, пропаленных в гостиницах... Сколько нам еще ехать?

— Бог его знает,— ответил Карамышев.— Завтра выезд к летчикам...

— На Ольховский аэродром? — оживился Павел.

Алферов вяло прикрыл глаза.

— На Ольховский аэродром, на Богучаровский танкодром, потом к краснофлотцам, потом к пехотинцам.— Пожевав губами, он густо плюнул.— Нажрался пыли...— И начал считать секунды от одного телеграфного столба до другого, но быстро сбился.

Его терзало ощущение непоправимости чего-то. Оно пришло от воспоминания, как лет восемь назад его приглашали в большой, интересный театр, в другой — шумный, с синими троллейбусами — город, а он не поверил в себя, испугался. Уже был бы заслуженным... Тогда бы им так не бросались: с одного шефского концерта на другой. Того и гляди, угодишь под бомбу... Дико. «Быть или не быть?» — вопрошаешь из кузова грузовика. А кто ответит? Случайный осколок или бойцы, сидящие на траве? Ну, хорошо, пусть восторженный Паша верит, что эти концерты вдохновят кого-то... Наивность или тщеславие молодости... К тому же юная жена, час испытаний, а он герой в плаще и со шлагой... Приятно, эффектно! Но Карамышев! Мудрый и опытный, понимает же, каков риск и какова цена риска! Зачем он пришел в театр, Карамышев?! Руководил бы себе армейской самодеятельностью... Пожинай, пожинай, Петр Петрович Алферов, плоды своей трусости: ныне ты артист го-

родского музыкально-драматического театра! «Музыкально-драматического!» Шекспир и... «Запорожец за Дунаем», «Цыганский барон». Провинциальная универсальность! Вчера в этом лесу играл командира саперной роты. Произносил какие-то чудовищно крикливые слова из пьесы местного драматурга — литсотрудника городской газеты. Страшно нелепо! Нелепо и страшно... Боже мой!..

Алферов открыл глаза и близко увидел лицо Павла. Он смотрел сбоку на Алферова, на его поредевшие льняные волосы, колыхавшиеся на ветру, в них трудно было заметить прятавшуюся седину.

В распадке у моста через заболоченную реку взмахом фляжка машину остановил красноармеец. Такого уставшего и запыленного человека Павлуша никогда не видел. Трудно было определить его возраст, блондин он или брюнет: брови и ресницы, закрывая носа и впадины под глазами были серыми. Лишь на шее, выпиравшей кадыком из распахнутого ворота гимнастерки, струйки пота промыли извилистые бороздки. Таким же белым-белым оказался высокий лоб, когда боец сдвинул пилотку.

— Дальше нельзя! Немцы прорвались. Танки! — хрипло сказал он, тяжело снимая зачем-то винтовку. — Так что вертайте. Можно вдоль реки.

И тогда все в наступившей тишине услышали далекий гул, словно по булыжной мостовой катились пустые железные бочки, догоняя и подталкивая друг друга. Затем высоко шелестяще просвистел снаряд.

— Еще выстрел! — крикнул Павлуша. — Ната!

— Не. Это разрыв, — вяло сказал боец и сунул почти бесцветный флажок за голенище...

Тем временем водитель сбегал к реке, отогнав ряску, ополоснул красное лопухое лицо и зачерпнул ведро воды. Все с таким вниманием смотрели, как он лил ее в радиатор, будто это было самое главное, что их сейчас занимало. Смотрели, как бочковые струйки, не попадая в горловину, стекали по грязной решетке, сворачивались в ртутные шарики и, почти не обволакиваясь пылью, уходили в ее жадную теплую глубину.



Вдоль поймы гнать машину было трудно. А тяжелые железные бочки, наполненные гулом, казалось, наступали. Из-за высоких рыжих курганов навстречу гулу, как бы пытаясь отбросить его, изредка постреливало орудие; снаряды, вспарывая сухой воздух, набирали высоту, и шелестящий звук их засасывало серое, чуть подсиненное, слинявшее небо...

Дробь автомата услышал Карамышев. Услышал одновременно и звон стекла и странную тишину, когда машина, съехав вбок, замерла на месте, тишину, о которую позвякивало пустое цинковое ведро на цепочке у заднего борта.

— Ложись на землю! — почему-то шепотом приказал Карамышев и опустил плечи, как человек, привыкший к неожиданностям окопной жизни.

Раньше всех у кабины очутился Павел. Он рванул дверцу.

— Ната!..

Она сидела, выпрямившись, откинув голову, по влажному лицу расплзлась белая тень.

— Да, — шевельнула она сухими губами.

И тут Павел заметил съехавшую с сиденья маленькую фигурку красноармейца. Он лежал головой на коленях у Наты, выставив большое розовое ухо, а из-под щеки по ее платью ширилось, как на промо-



кательной бумаге, бурое пятно. Почти вся автоматная очередь, размоловшая лобовое стекло, досталась этому пареньку. Павел поднял с пола его новенькую пилотку, когда услышал за спиной голос Карамышева:

— Быстро, быстро отсюда! За мной...

Они бросились к реке. Глубоко увязая в чавкающей топи, перебрались на высокий берег. Выпавшая по грудь черной болотной жижей, сглатывая сухим горлом слюну, обессиленные, они опустились на торфяник, прикрытый высокими кустами. И лишь тогда Павел разжал ладонь. Ната высвободила свою руку, потерла запястье — так сильно он сжимал его, пока они бежали сюда. Алферов безучастно рассматривал зеленые конфетти ряски, облепившие мокрые брюки. На его льняных легких волосах темнел быстро подсыхавший комок грязи. Запахло табачным дымом. Все повернулись к Карамышеву, неизвестно каким чудом ухитрившемуся закурить. Он тяжело дышал измученными эмфиземой легкими и, видимо, до головокружения глубоко затягивался. Между колен стоял карабин, а на шее висел широкий ремень с двумя подсумками. Никто не помнил, когда он успел вытащить это из кабины убитого красноармейца.

Отдышавшись, Павел подполз к кустам, развел их и сразу же внизу увидел двоих: они лежали между



холмиками, тяжело раскинув ноги в странных коротких сапогах, и ожидающе всматривались туда, где остановилась полуторка, настороженно выставив тускло отсвечивающие автоматы. В стороне стоял мотоцикл с коляской, возле него, на траве, как во время пикника, — консервные банки, фляги и полкаравая ребристого крестьянского хлеба с воткнутым плоским штыком.

«Такие они... Вир бауен моторен, вир бауен тракторен», — ожесточаясь, подумал Павел и тихо позвал Карамышева. Тот медленно всматривался в них, а затем подвинул к Павлу карабин.

— Ну, Паша... Их двое... Глаза у вас моложе.

— Которого? — хрипло спросил Павел, притягивая карабин.

— Того, с закатанными рукавами...

Они глубоко посмотрели друг другу в глаза, и Карамышев кивнул.

Павел коснулся щекой холодноватой глади приклада, но Карамышев пальцем легко постучал по затвору. «Патрон! — ужаснулся Павел. — На месте ли патрон?» Он мог нажать крючок, и, не оказавшись там патрона, те двое услышали бы лишь пустой щелчок металла! Осторожно, чтобы не звякнуть, отвел затвор: из маслянистой глубины магазинной коробки всплыл патрон с желтым зрачком капсуля. «А что, если осечка?» — снова подумал Павел, запирая в патроннике этот желтый зрачок. И вдруг понял, что не знает, куда надо целиться. Он вспомнил все мишени, по которым стрелял: круглые с «яблочком» посередине, фанерные зеленые фигуры с пробоинами там, где предполагалась голова; вспомнил, как в этих пробоинах свистели степные сквознячки, как затыкал дырочки колышками из обломанных веток...

Немец выбрал сам себе смерть. В момент, когда Павел, задержав дыхание, плавно потянул к себе крючок, тот, с закатанными рукавами, стал подниматься. Видимо, решил, что убитый ими шофер был один: удобно притаившись, они с приятелем долго ждали ответного огня русских солдат, ехавших, как полагали, в грузовике. Но в этом веселившем их коварном оживлении тех, кто, не видя их, мог пойти под пули дух автоматов, немцы не заметили четверых штатских...

Павел, очевидно, целился в голову, но пуля пошла в грудь. Тяжелый выстрел карабина скатился вниз к холмам. Второй немец, не понимая, что произошло, бросился к мотоциклу. Он нервно дергал стартер, оглядываясь на лежавшего товарища. Павел видел

его красивое узкое лицо с очень изящными очками, целиком уместившееся в роковой кружок намушника. Выстрел швырнул мотоциклиста в коляску. Он затрепетал руками, силясь ухватиться за что-то, вспомнившееся лишь ему, и затих.

Все было кончено. Возле Павла и Карамышева уже сидели Ната и Алферов. Она сложила ладони, прижала их к груди и видела лишь, как дергается у Павла нижнее веко, как бы прищуренное для следующего выстрела. Алферов тихо мычал, потирая высокий лоб.

— Боже мой!.. Что же теперь будет?.. Как это мы... — озабоченно пришепetyвал он.

— Петр Петрович, милый, успокойтесь. Это же война. Настоящая. — Карамышев тряс его за плечи.

Но страх, заполнивший Алферова, был громче этих слов. И тогда Карамышев сказал жестко:

— Ладно! Идемте, товарищи. Время дорого. — Он снял с плеча ремень с подсумками и протянул Павлу. — Возьмите... Это ваше...

Еще раз переправившись через болото, прихватив автоматы убитых, в скользкой, противно прилипшей к телу одежде, они вернулись к полуторке.

Шофера кое-как похоронили в неглубокой ложбинке под курганом, набросав на могилу белесые стебли полыни.

Затем, сложив на подножку его документы, Карамышев тяжело взобрался в кузов, открыл ящик с инвентарным клеймом театра и, взяв оттуда в охапку вещи, швырнул их к ногам Павла.

— Переодевайтесь, товарищи... В сухое... — сказал Карамышев, продолжая извлекать из ящика сапоги, ремни, пилюли.

— Леонид Сергеич, это же гениально! — понимая оживился Павел, отыскивая в куче гимнастерок и брюк свою лейтенантскую форму. — Ната, быстро! Вон за тем кустом тебе удобно будет. — Он подал ей юбку, сапоги и санинструкторскую сумку.

— Зачем вы это делаете? — отозвался вдруг Алферов.

— Петр Петрович, перестаньте. Вы же все понимаете, — ответил Карамышев, просовывая голову в гимнастерку с капитанской шпалой в петлицах.

— К чему этот маскарад? — вскинулся Алферов.

— Это не маскарад, Петр Петрович. Это серьезно, — обиженно ответил Павел.

— А серьезно я не желаю! Если мы попадем в руки к немцам, будет не только унижительно смешно, но и... — Алферов осекся.

— Нам нужно вернуться в полк, — четко произнес Карамышев.

— В какой полк?! Я иду в город. У меня мать!.. Не могу я напяливать мундир и доказывать при случае, что я — не я. Я гражданский человек, — сорвался Алферов.

— Мы ведь тоже не призывники, Петр Петрович, — затачивая ремень до знакомой дырочки, заметил Павел. — И куда же вы один?.. А так — нас четверо. Мы можем понадобиться в полку. Хотите, мы вам Наташин карабин дадим, а ей потом наган достанем?

Подошла Наташа. Слабо улыбнувшись, она потянула Алферова за рукав:

— Мы вас не отпустим. Только вместе... Мы их все равно победим... Мы же вас очень любим... Паша даже подражает вам...

— Оставьте. Оставьте меня... Это — безрассудство. Мальчишество... Нужно где-то переждать и возвратиться в город, — сбросив руку Наташи, упрямо твердил Алферов. — Павлу хочется поиграть в солдатики, но сейчас не эпоха Жанны д'Арк, и я еще не получал повестку!

— Я не в солдатики, Петр Петрович. И вы это видели. — Павел резко захлестнул ремень за спиной.

— А! — Алферов махнул рукой.

— Петр Петрович, на минуточку, — позвал его Карамышев.

Они отошли.

— В городе, возможно, немцы. — Карамышев показал туда, где по двум направлениям растекался гул. — Это танки. Что же вы, милый! Мы столько лет вместе. Вспомните вашего Астрова! Вы же были великодушным Астровым! А Саратов, когда мы ели лепешки из отрубей да с патокой. Как это было вкусно и дивно! Голодными бежали в театр. Играли. И как! Может быть, им, — Карамышев кивнул на Павла и Наташу, — суждено долго воевать. И выжить. И запомнить сегодняшний день навсегда. А какими запомнить вас, меня и себя?!

— Вы правы, Леонид Сергеевич, для себя и для них. Я прав для себя. Простите, но я иду в город.

— Воля ваша, — развел руками Карамышев.

Павел уже переоделся и сидел на подножке машины, копаясь в затворе немецкого автомата. Наташа наблюдала за мужем. Она много раз видела его в этой форме на сцене и привыкла к ней. Но сейчас это был почти незнакомый ей человек: не лейтенант Колосов из пьесы «Мы рядом с вами», написанной литсотрудником городской газеты, и не ее Павел Минов, а лейтенант, фамилии которого она вроде и не знала. Был он в своей форме, подчеркивавшей даже давнюю военную выправку. «Как странно все», — подумала она, поудобней подбросив плечом ремень карабина.



Карамышев отвык от сапог. Эти были к тому же на номер больше. Для сцены ничего, а теперь, пройдя несколько километров, он чувствовал, как распарившаяся нога больно трется о задник. «Портяночку б», — подумал он.

Всю сложность обстановки, в какой они оказались, Карамышев, много воевавший в гражданскую войну, оценил еще у моста, где их остановил красноармеец с флажком. Тогда на полуторке еще проскочили б. Сейчас же, когда потеряно столько времени, пешком Алферов может прийти в город, когда там уже будут немцы. Понимал ли это Алферов?.. Что-то в нем сдвинулось, нервы, что ли... Конечно, мать там

одна... Его все это потрясло... Ведь прожил интересную жизнь. Слава, рецензии в газетах, гастрели...

Карамышева терзала мысль, что он не сумел убедить Алферова в чем-то важном, последнем. Привыкший во всем к определенности, он никогда ни о чем не судил сгоряча, ощущал неловкость и даже некоторую свою вину за чужую подлость или трусость. Он всегда хорошо относился к Алферову. И сейчас пытался понять его, словно это что-то меняло для него самого и для Алферова, который тем временем широким шагом шел по степи.

Быстро подсыхавшая одежда шелушилась грязью. Алферов почти сожалел, что так расстался с Павлом, Натой и Карамышевым, однако жалость к себе, такая, как в детстве, когда, наказанный родителями, он хотел умереть, но чтобы тайно присутствовать на своих похоронах и торжествовать, видя, как родители страдают, раскаяваясь в своей несправедливости, — эта жалость душила в нем все. Он даже чувствовал себя покинутым. И ему сейчас необходим был город: шум улиц, все привычное и знакомое, много-много людей, чтобы раствориться и исчезнуть в их разнообразии...

Пушку Алферов увидел, спустившись бегом с холма. Возле нее никто не суетился. У тяжелых клепаных станин стояли ящики со снарядами, на взрытой, истоптанной земле валялись стреляные гильзы, источавшие кислый дух сожженного пороха. Затем он увидел четырех красноармейцев в странных позах людей, не успевших завершить какую-то работу: один держал в руках бинокль, другой в грязной натальной рубаше обнимал снаряд. Спины бойцов были исполосованы автоматными очередями. Смерть, видимо, застигла их внезапно и одновременно. Алферов вспомнил немцев с мотоцикла и подумал, что артиллеристы, занятые стрельбой, не слышали шуршания кустов сзади, когда двое в коротких сапогах вышли и, почти не целясь, начали убивать. Может, немцам в тот момент было весело и жутко от везения и безнаказанного превосходства стрельбы в спину...

Алферов уже не мог сопротивляться страху. Его пугал теперь не только вид смерти и собственное одиночество рядом с нею, но потрясала ее будничность, почти простота, когда трагизма ее никто не видел и не запомнил. Он заметил прислоненную к передку винтовку. Осторожно взял ее и, почти волоком, пошел, боясь оглянуться.



Солнце нехотя скатывалось за курганы, к низкому степному горизонту, отчеркнутому серой пыльной полосой. В мертвой траве сонно попискивали суслики. Им не было дела до всего, что происходило вокруг, было тепло и покойно в их длинных и темных, как рукав, норах с налущенной от разных семян трухой. Их даже не вспугивали устало шаркавшие шаги троих людей, сбивавших облачка пыли с пожухлых жестких стеблей...

Шли молча. От шершавой суши во рту говорить было трудно, да, пожалуй, и не о чем. Наташа начала отставать, и Павел нес теперь ее карабин. Заметив, как часто она облизирует затвердевшие губы, он думал о кружке воды для нее. Она бы выпила воду, а он, собрав оставшиеся капли в один глоток, прополоскал бы рот и выплюнул: так можно утолить жажду. Он вычитал об этом в какой-то книге про автопробег Москва — Каракумы — Москва...

Павел знал, что наша армия отступает. Но не видел, как тяжелым шагом движется сбившийся с ноги пеший строй, над которым густо висят пыль, запах



пота, ругань ездовых, крик беженцев, внесших сумятицу в плотный поток военных людей, лоснящихся конских крупов, оружейных щитов с торчащими безлистными уже маскировочными ветками изрубленных наспех берез...

Обо всем этом Павел лишь слышал: в школе, где некогда он учился, был госпиталь. От рассказов раненых его окатывала ярость, хотелось как можно скорее очутиться там, со всеми, чтобы своим появлением все круто изменить. Боялся только попасть в кавалерию и быть позорно выброшенным лошадьёю из седла — он никогда не ездил верхом...

Прошлая жизнь отступила за некий рубеж, куда-то так далеко, что казалась почти вымышленной, хотя и счастливой. Настоящим же было иное — это долгая дорога к лесу, в полк, идущая рядом цыгански смуглая его Наташа, прихрамывающий Карамышев, позорно сбежавший Алферов.

При воспоминании о нем Павел хмурился и шевелил губами, словно произносил те слова, какие высказал бы Алферову сейчас. «Паша даже подражает вам...» — вспомнил он слова Наты, обращенные к Алферову. Стало досадно и стыдно за преклонение перед «тонким, проникновенным психологом, идущим к роли от нутра», как совсем недавно и вместе с тем давно называл он его Наташе. Карамышев всегда казался Павлу ограниченной и суше перед дерзким актерским темпераментом Алферова. Сколько раз Карамышев уступал Алферову выигрышные роли, предложенные режиссером, словно робел перед ними, чувствуя превосходство Алферова. И, уступая, спокойно улыбался, а Павлу казалось,

что этой внешне искренней улыбкой сдерживается давняя зависть.

И сейчас, глядя в спину Карамышева, Павел готов был броситься к нему и извиниться...

— Ты что-то сказал, Павлуша? — услышал он низкий голос Наташи.

— Нет...

— Ты все о нем? Я видела, ты шел и шептал. Трус он. И хорошо, что случилось так при нас, а не в полку. Не думай о нем. Мы вместе. И так будет до конца...

☆

Они не знали, что в этот момент Алферов тоже вспомнил о них.

Когда в ложине дорогу преградили густые, жесткие заросли шиповника, Алферов понял, что не решится войти в них, — так настороженно неподвижны были кусты, словно кто-то притаился там и следил за ним. И Алферов побежал обратно, снова на тот же сухой, сыпучий холм, откуда недавно спустился. Минувя орудие, косил глаза, и ему показалось, что один из красноармейцев выпростал подмятую руку, темную от копоти и ружейного масла. И тогда от одиночества и страха Алферов закричал:

— Подождите! — С холма на холм, через кусты, обдирая руки и лицо, мчался он, а впереди несясь его крик: — Подождите! Паша!..

Но его уже никто не мог слышать.

Он остановился на кургане, озираясь, тяжело дыша. Пот заливал глаза. Алферов хотел достать платок, а вялые, слипшиеся пальцы нащупали в кармане что-то ребристое и гладкое, уместившееся в ладони. Это был миниатюрный макет плексигласового танка.

«Хорошо же... Хорошо... Меня бросили и сами на погибель идете...» — злорадно подумал он о тех, ушедших, когда увидел у горизонта передвигавшиеся игрушечно-маленькие танки, похожие на плексигласовый, выброшенный им в бурьян. Как жуки-единороги, черные и чужие, они ползли к лесу, где стоял полк. И от них катился по степи железный гул.

Алферова охватило отчаяние от мысли, что ничего уже не исправить, ни в прошлом, ни теперь. Он возненавидел всех: Карамышева — почему он не заставил его возвратиться с ними в полк, Павла — ишь, каким оказался этот наивный юнец! Прицелился — и убил немца! Убил — и все определилось...

Он приподнял тяжелую винтовку и увидел выбитый в металле номер «122 035». «Боже мой, как их много! — ужаснулся он. — 122 035!» И оттого, что в руках его было оружие, ему стало еще страшней. Отшвырнув винтовку, Алферов стал сползать с кургана, на котором он был виден отовсюду. Ему хотелось зарыться головой во что-нибудь мягкое и плотное, оглохнуть, переждать, заснуть. Но он побежал, гонимый мыслью о городе, который прятался за горизонтом, как Китеж, и вот-вот, казалось Алферову, должен возникнуть, но все не возникал. Бежал он, не зная дороги, не выбирая направления, лишь бы найти в степи щель, еще не заполненную железным гулом...

Г. ЛЬВОВ.





Николай Старшинов



А правда, мне в деревне бы родиться,
Я к ней привязан с малых самых лет.
Родиться,
По-крестьянски утвердиться,
Чтобы познать всю тьму ее и свет.
Чтоб волшебство ее простого слова
Впитать мне с материнским молоком.
Чтоб понимать, о чем это корова
Так откровенно говорит с телком.
А я в Москве родился, неудачник.
Меня мальчишки, попрекнув Москвой,
Чтобы обидеть, называли «дачник»,
Чтобы утешить, говорили «свой».
А сколько раз мы вместе пировали,
Пекли картошку в голубой золе!
И ночевали мы на сеновале
И к речке убегали на заре.
И понимал я грусть в багряном шуме
Сентябрьской осины молодой.
И речка — ах, какое имя! — Сумерь
Нас обнимала ледяной водой.
А игры — эти бабки, эти прятки!
И ты, любовь мальчишечья моя,
Так удирала, что сверкали пятки,
Те пятки целовать готов был я!..
А правда, мне в деревне бы родиться,
Пускай в дожди, пусть где-то на лугу!..
Конечно, я и так могу гордиться,
Что, мол, косить, что, мол, пахать могу.
Могу сказать: я из деревни вышел,
Я до сих пор там первый рыбовод...
И все-таки, видать, я недослышал
Каких-то самых деревенских слов.
Но говорю:
— Вода, трава, деревья,
Я все же вас умею понимать.
Я не родной — приемный сын деревни,
Но я люблю ее, как любят мать.

Красный лик работяги-солнца
Над землей еще не взошел,
А уже на лугу пасется
Бесконечное стадо пчел.
Небосвод, поначалу синий,

Раскаляется добела.
Миллиарды цветов в низине.
И на каждом своя пчела.
Грустный донник, вьюнок веселый,
Кашка, лютики, бубенцы...
И взасос их целуют пчелы,
Вот работают, молодцы!
Первый, пятый, десятый, сотый
Поцелуи запечатлены...
Потому и бывают соты
Терпким медом полным-полны.
А для тех, кто в минуту злую
Этой страсти их не учел,
Есть особые поцелуи
У обычных рабочих пчел.

Интересует — и давно — меня,
Что у животных лики выражают!
Вот гнев — раздулись ноздри у коня,
Которого впервые обьезжают.
А вот жестокость — волчий злой оскал.
А это — страх в глазах плененной рыбки.
Но я не встретил, сколько ни искал,
Хотя бы лишь подобия улыбки.
А впрочем... Впрочем, прав я не вполне.
(Да кто из нас вовек не ошибался!)
Я встретил пса, он с лаской лез ко мне
И, знаете, почти что улыбался...
Но вот лицо мне видеть довелось,
Нет, это не бесформенная масса:
Оно являло гнев, и страх, и злость,
И алчность — за гримасою гримаса.
И все же в нем запомнилось одно
Незримое, но явное увечье:
Оно улыбки было лишено
И лишь напоминало человечье.

«...поэту, которому я очень верю,
но который еще дитя».
М. СВЕТЛОВ

Ничего-то из себя
Никогда он не вымучивал.
О любви писал, любя.
Было весело — пошучивал.
Ах, студенчество! Постой!
Свадьба пышная назначена.
И напомним с добротой:
Вся стипендия истрачена.
Подлость!.. И, окаменев,
Сердце откликалось вызову —
Так писал, что правый гнев
Каждую строку пронизывал,
И, улыбочиво грустя,
Если сам шагал по лезвию...
И, как светлое дитя,
Навсегда вошел в поэзию.

Чего-то я не становлюсь умней,
Практичней, пронизательнее, что ли.
Все верю я в отзывчивость камней,
Хотя от них я натерпелся боли.

И даже в очень трезвые часы
Я без ошибки не ступлю и шагу:
То верю я в бесхитростность лисы,
То в заячью безумную отвагу.

А ведь пора, давным-давно пора —
На что ж тогда и опыт многолетний! —

Знать, что подлец не сотворит добра,
Что сплетник и живет и дышит сплетней.

Мне на виски улегся первый снег.
И, наделен премудростью земною,
Все хочет посторонний человек
Войти в меня и обернуться мною.

Уже меня учить он принялся,
Ко мне приставлен, что тебе советник:
Мол, заяц — заяц, а лиса — лиса,
Подлец — подлец, а сплетник — это
сплетник.

Он точно установит, что к чему:
Когда грустить, когда мне веселиться...
Но только, слава богу, я ему
Пока что не даю в меня вселиться.



В глухой ночи уполз к врагу изменник,
Выскребывая землю животом.
А там ему вручили пачку денег
И дали форму новую потом.
Его в штабах кормили шоколадом.
Он изощрялся, Родину кляня.
И в наступленье шел с врагами рядом,
Стрелял в моих товарищей,
В меня.
Не знаю я, какой такой причиной
Был в нашу веру вновь он обращен.
Но все-таки явился он с повинной,
И даже говорят, что был прощен.
Но я-то каждым шрамом ощущаю,
Как он стрелял и кланялся врагу.
И я ему такого не прощаю
И до конца поверить не могу.

1945 год.



А ты летишь, моя зеленая,
Моя весенняя звезда.
И вновь живут леса спаленные
И взорванные города.

И слышен грустный голос зяблика
Из потайной лесной глуши.
И для бумажного кораблика
Готовят снасти малыши...

Но вновь под пальмами и вязами
Тебя несчастья стерегут.
Тебя сегодня травят газами,
Твоих сынов напалмом жгут.

И дети прячутся, до вечера
В глухие джунгли уходя,
И в небо смотрят недоверчиво,
Боясь и солнца и дождя.

Но под оливами и пальмами,
Я знаю, снова миру быть!
Нет, никакими там напалмами
Тебя не сжечь, не погубить.

Да сгинет, властью ослепленная,
Осатанелая орда!..
Лети, лети, моя зеленая
Земля, весенняя звезда!

И меж созвездьями туманными,
Свершая путь привычный свой,
Сверкай морями-океанами
И малой каплей дождевой!



Игорь Шкляревский

Юность

В столовой автопарка жарко!
Внизу шурует кочегарка.
В окне блестит электросварка.
А на стене висит доярка.
Доярка весело глядит.
Ее зовут, наверно, Маша.
А в животе моем трубит
и воет суточная каша.
В 4 вторит ей гудок.
И я распахиваю двери!
Одежда — шквалом! Ветер — в лоб!
Дорожный знак грохочет в небе.
Звенит промерзшая доска.
Закат пылает безвозвратно.
В глазах у юноши тоска.
Мне это чувство непонятно.
Соседка с кручи смотрит вдаль,
туда, где кружится солома.
В глазах у дамочки печаль.
Мне это чувство незнакомо.
Не потому, что я дурак,
а потому, что цену знаю
всему! И, убыстряя шаг,
безделью чувств не доверяю.
Еще настанет мой черед.
Еще закружится солома.
Еще беда не обойдет
и не забудет номер дома.
И потому, вбивая шаг
в промерзший грунт, в настил дощатый,
я — молодой и сильный враг
твоей тоски, твоей печали!

Фабричная баллада

Ну вот и кончилась работа.
Открыты черные ворота —
узкоколейка и болото,
и два веселых обормота
глотают пиво у ларька.
И ход сухого кадыка
подобен ходу поршня. Чисто!

И пеной — фух! — над головой.
Трубят в бутылки, как горнисты,
что день окончен трудовой.
Сомкнулась зыбкая трясина,
а над болотом торфяным
уже моторная дрезина
скользит с вагоном прицепным.
А день веселый уплывает
пустой бутылкою в туман,
и вхолостую громыхает
огромный красный барабан.



Октябрь. Красное тавро
пылает на спине возницы —
везет старуху из больницы.
А норд в дырявое ведро
свистит! Все пусто и мертво.
Ну что ж, пора найти перо
гусиное! От вольной птицы.
Холодной сталью очинить.
Свечу из воска засветить.
Тоску изгнать. Друзей забыть.
И темной ночью сочинить
вольнлюбивую балладу.
Воспеть тревожную прохладу.
И крови звон. И блеск очей.
И дрожь натянутых снастей.
И клена красное тавро
на полушубке у возницы.
Но где теперь найдешь перо
гусиное, от вольной птицы!
Я возвратился на паром,
срывало шляпу, в уши дуло.
И вдруг от ворона перо
у ног, печальное, блеснуло.
Решил его я очинить.
Свечу из воска засветить.
Тоску изгнать. Друзей забыть.
И темной ночью сочинить
балладу, полную печали,
как всех гусей перестреляли,
как реки рыбой отощали,
как в рощах пусто и мертво,
но пахло падалью перо,
а я по духу и по складу
люблю веселую балладу!



Никогда не забывайте детство,
потому что детство никогда
не простит вам сытого блаженства
после равнодушного труда.
Можно все забросить и уплыть
на торговом грязном пароходе.
Адреса товарищей забыть.
Загулять с бичами на свободе.
Не вернуться в город Могилев
к тополям и лодкам на причале
или, встретив первую любовь,
даже не почувствовать печали.
Можно все, но только до поры,
и однажды ночью вам приснится
черный бор, июньские костры,
плавная таинственная птица...
Никуда от прошлого не деться —
серый хлеб, развалины, гроши...
Все равно не забывайте детство!
Может, в нем спасение души.

Тридцать форелей из Чаквы

Здесь камень скользит под подошвой
и, падая в бездну, кричит
о том, что любую оплошность
тебе высота не простит.
А мальчик торопит: — Скорее!
И полдень грозою навис.
Но тридцать крапленых форелей —
награда за ловкость и риск.
Возникнешь у края обрыва —
и сердце звенит в пустоте.
Веселые длинные рыбы
повисли в прозрачной воде.
И страсть, что томила под спудом,
проснулась! А сеть со свинцом
раскрылась на дне парашютом,
и в брызгах пылает лицо!
Вода обжигает нам спины.
А мальчик торопит: — Скорей!
— Тяни! — И в тени от маслины
на гальке зевает форель.
Форель! И безумец Халваши,
забыв невеселье свое,
над бездной хохочет и пляшет
и в губы целует ее!
На счастье — последнюю — в воду!
Так балует солнцем гроза.
Так в губы целуют свободу
и гибели смотря в глаза...



Я, юный сын лесов, морей,
жил просто, честно и толково,
но слово полюбил сильнее,
чем все, что означает слово.
Елена, первая любовь,
ушла с другим, а я в печали,
что не нашел печальных слов,
пока шаги не отзвучали.
Порвала рыба сеть мою,
о горе, горе мне! И снова
себя на мысли той ловлю,
что рыбой ускользнуло слово.
А ночь июньская светла —
очнись, вставай, считай потери,
но если все они — слова,
то все они — приобретенья!
А если вдруг из глубины,
как после мора или взрыва,
где ребра ивой сплетены,
слова безмолвно и лениво
всплывут!.. Есть женщины, вино,
есть скачки, спазмы, потрясенья,
субботы есть и воскресенья,
но мне все это не дано.
Кружится кругом голова
от всех дорог, от всех соблазнов,
а у меня одни слова
в значенье темном и прекрасном.
Моя отравленная кровь!
Моя дорога роковая!
Моя последняя любовь
неразделенная! Слепая!

Виталий Коротич



Памяти Шевченко

(Из «Триптиха»)

Я — Шевченко.
Я умер.
Лежу на пороге вечером
В мастерской,
И в глазах у меня голубые огни.
Я сегодня умолк навсегда,
Академик из черни,
Я сегодня впервые спокоен
За многие дни.
Не убьет меня царь,
На фельдфебеля очень похожий.
Не одернет фельдфебель,
Похожий лицом на царя.
В казематы и в карцер
Никто меня втиснуть не сможет.
И в солдатских реестрах
Меня зачеркнут писаря.
В канцелярии тайной
Захлопнется толстая папка,
И меня отпоет
Затрапезный, взлохмаченный поп.
На могиле моей
Расцветет золотая охапка
Тех цветов, у которых
Соленый, как слезы, сироп.
Я поэт.
Я — Шевченко.
И в сердце, которое немо,
Не окончена песня,
Она потеряла творца.
Это — несколько строк
Или, может быть, это поэма,
У которой бессмертье,
Которой не будет конца.
...Воплощение душ,
Воплощение воли и духа —



Атрибуты поэтики,
Вечная бытность ее.
Песня ищет наследника.
Своды тюремные рухнут,
Если раненый стих
На последнем дыханье споет.
Не хочу я лежать
Театрально,
В веночке из терний.
Не вздыхайте:
— Трагический гений с трагичным
концом!

Я — Шевченко.
Лежу в мастерской.
Академик из черни.
С кистью в правой руке.
На пороге.
К мольберту лицом.

Кавказ

Смотрите изредка на горы,
Не только на подножный прах.
Пускай бытуют наши взоры
Хотя бы изредка в горах.
Нет, на Олимпах бога нету —
Снега возложены венцом.
Но посещайте область эту,
Чтоб солнцу заглянуть в лицо.
Привыкни к отблескам зеркальным.
Глаза к сиянию приучи,
Покуда светом идеальным
Не станут резкие лучи.
А если озаренье это
Пронзит болезненно глаза,
Ну, что же!
На вершины света
Пусть проливается слеза.
Взирайте на выси и на горы,
Ищи повсюду свой Кавказ.
Не там, где ангельские хоры
Бездарный ищет богомаз.
Вершины всем даются туго.
Глаза на солнце не жалей.
Так поступают горцы юга
И носят шляпы без полей.



Нашли в одном государстве,
В земле, глубокой и древней,
Богиню победы — Нику,
Богиню с крылом отбитым.
Она летала над миром,
Поддерживая хоругви
Армий, идущих в битву
За хлеб, за металл и землю.
И там, где она летела,
Поля оглашались ревом,
Победа принадлежала
Тем, кто послал ей жертвы.
Возможно, ее сразила
Стрела, освященная Зевсом.
А может быть, древний латник
Ее из пращи прикончил.
...В кургане окаменела
Богиня военной славы,
Ради которой с криком
Один убивал другого.
Она лежала во мраке,

В могиле легионерской,
Как символ того, что слава
Не стоит кровопролитья,
Ника Самофракийская,
Богиня с крылом отбитым...



Поэты!
Научите доброте
Планету — ей нужны покой и ласка.
А человечеству нужна огласка
Священных слов и мудрых в простоте.
Двадцатый век тревожит поколенья.
Кроваво светят звезды с высоты.
Цветные люди, стоя на коленях,
У мира просят каплю доброты.
У мира,
У людей,
Не у иконы.
У современников...
Послушай, человек,
Идет к тебе рыдающее Конго,
Страна лесов расстрелянных и рек.
О, дайте людям ласки вместо горя!
Земля не плаха.
Не тюрьма.
Не ад.
Печаль петлей захлестывает горло,
Уродуя людей душевный склад.
Вы слышите!
Мы жить хотим на свете...
В двадцатый век бредут со всех концов
Серьезные, уже седые дети
Погибших и расстрелянных отцов.
Планета,
Длится бой,
И кровь — рекой.
И на тебе рубцы, ожоги, раны.
Изобрети же талисман такой,
Чтоб никогда не враждовали страны.
Такого нет!
Я знаю, не скрывай:
Свобода не подарок, а победа.
Но в битве за любовь не убивай
Любовь
Жестокой лапой людоеда.
Земля, утихни, не кровоточи.
Светает над высоким пепелищем.
Святого и простого слова ищем,
Как нежности.
Художник, научи!

Гелати

В Грузии, в древнем гелатском монастыре, где сохранились росписи I столетия, похоронен грузинский царь Давид. На каменной доске нет даже царского имени. Это обычай. Так в древней Грузии хоронили царей.

Когда вкушают смерть временщики
И стыннут зацелованные руки,
А челядь плачет в круговой поруке,—
Приходят во дворец гробовщики.
Таков обычай.
Схоронив царя,
Надгробный мрамор надписью не
портят.
И не греметь воинственной когорте,
Которую он вел через моря.

Правитель мертв.
Охотничий рожок
Хрипит, у царских псов слезятся веки.
А мертвого царя кладут навеки
Под монастырский стоптанный порог.
Не бойтесь!
Становитесь!
Все равно:
На мраморе ни имени, ни строчки —
Под нами прах.
Стоим поодиночке.
И нет царя — истлел давным-давно.
Цари посмертно дьявольски скромны.
Зато чванлива челядь, сброд
синюшный.
И царский конь линяет на конюшне,
И пьет наследник вина старины.
О вечный фарс!
Словесный звон и бряк
Над царским гробом, над глухим
порогом.
Царь не способен становиться богом:
Он — только царь.
И съест его червяк.
Истлеет челядь.
Каждому свое.
Сойдут, как снег, — ни подкупа, ни

драмы.
Их пронесут сквозь горы, через храмы
И выбросят на свалку, в забытие.
...А старый монастырский воротарь
Нам сообщает все в правдивом свете:
— Тут росписи древнейшие на свете
И, говорят, лежит какой-то царь.



Я презираю это «вообще».
Не «вообще народ», не чьи-то тени,
Не «вообще земля», а хор сплетений
На грамм земли. И в этом суть вещей.
Не «вообще поэзия», а ты.
И я.
И он.
Существенна различность.
Не «космос в целом» — космонавта
личность,
Не «в целом свет», а звуки и черты.
Определенность скрыта в глубине,
И точность выпирает, словно Этна.
Конкретна жизнь.
Конкретна смерть вполне.
Одна безликость только неконкретна.
Да здравствует конкретность всех
подряд
Понятий: снега и стихотворенья.
Конкретность слов,
За коими стоят
Святыни,
Идеалы,
Убежденья.



Не веря слуху своему,
Мы влихиваем их в сонеты,
И слов затертые монеты
Бряцают в боевом дыму.
А можно их запрятать к стати
В красотах, вспученных горбом.
Но что-то охладил читатель
К монетам с вытертым гербом.

Перевела Юнна МОРИЦ.

Владимир Костров



Полярный геолог

Если к утру не утихнет норд,
ты меня не буди.
До любопытных тюленых морд
четыре часа пути.
С Востока на Запад лежит хребет,
поземка ползет ужом.
Большая Медведица лед скребет
желтым своим ковшом.
Тринадцать часов от Большой Земли
и семьдесят дней в тайге.
Хоть мы далеко на Север ушли,
но рано гулять пурге.
Нам нужно к поселку прийти до зимы,
шуга идет по реке.
Но желтое золото Колымы
горит в моем рюкзаке.
Я, двое рабочих и студент,
и четыре усталых пса.
И нам осталось долбить континент
еще четыре часа.
Я нашел то, что искал,
я не считал шаги,
и не окупил желтый металл
семьдесят дней тайги.
Мне ненавистна ее мошкa,
хлюпающая в горсти.
Но тяжесть каменную мешка
кому-то надо нести.
И кто-то должен идти день за днем
Северным Мужским путем...
Над нашей палаткой гудит борей,
хозяин полярных морей.
И Кешка, сивый чукотский пес,
в руки мне тычет нос.

☆

И ромашкам так хочется жить,
и теленку, мычащему тонко.
Кто-то должен ромашки косить,
кто-то должен резать теленка.
Кто сказал, наша ноша легка
сквозь жестокие истины века?
Да, страшна правота мясника.
Да, груба правота дровосека.
Но, конечно, на этих людей
вы смотрите печально и грустно,

в ореоле высоких идей
предаясь святому искусству.
Ах, пардон, что за грубый предмет!
Может, лучше его не касаться
и от грубых людей отказаться,
сделать вид, что на свете их нет!
Только я по-другому сужу.
И, от медленной злости бледнея,
голубыми глазами плебея
на утонченность вашу гляжу!

☆

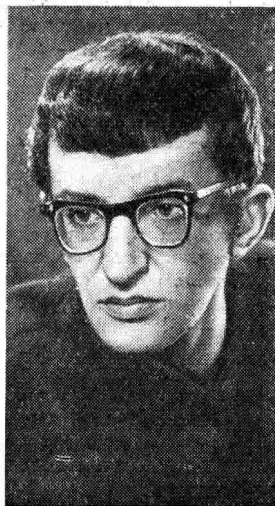
Неужели, чужак,
ты вот это на свете искал:
черных десен заливов
грохочущий злобно оскал!
Эти волны, как бритвы,
эту грань континентов и стран
и косматый, как битник,
нечесанный серый туман!
Зыбь трясет, как чахотка,
в глазах горизонт раздвоя.
Неужели Чукотка
и есть Атлантида твоя!
Надрывается ветер,
продираясь до самой души.
Надрываясь от страсти,
ревут на рассвете моржи.
И, сияя тревожно,
подымаясь со дна,
камбалою мороженой
в небе повисла луна.
Ты не едешь на юг
от жестоких метельных погонь,
и пылает в глазах
нетерпения желтый огонь.
Почему не выходишь из этой
опасной игры!
Может быть, из-за красной
по желтому маслу икры!
За путиной путина
из-за длинного, может, рубля!
Обрезаясь, пучина
ложится под киль корабля.
Рядом нашей планеты
закованный льдами чердак.
Ты в ответ усмехнулся:
«Я, наверное, просто чужак!
Лишь пространство морское
да теплая миска борща,
только братство мужское —
маета и успех сообща.
Это все не болезнь
и совсем для меня не игра.
Видишь, в небе пробита
зияющим солнцем дыра.
Ты пойми: это сейнер
разрубает полярную тьму!
Ты поверь в этот Север.
Я нужен ему!»

Бабье лето

Один как перст. Опять стеснило грудь,
под кадыком тх желый ком волненья.
В признательности и добром удивленьи
кричит кулик и прорастает груздь.
В печально-звонкой
медленной тиши

так просто затеряться,
раствориться,
и как-то свято чувство материнства
мятущейся касается души.
Деревни и деревья вдоль реки,
как горницы, полны прощальным
светом,

теперь я знаю точно: бабьим летом
рождаются в России чудачки.
Под небом необъятной чистоты,
исполненным пространства и свободы,
я понял основной закон природы:
природа не приемлет суеты!
Уста отверзнуть!
Душу отворить,
исторгнуть стон
и выйти на дорогу!..
Печально, что на свете нету бога
и некого за все благодарить —
за свод небес, за бег реки
и за
пронзительный и древний крик гусиный,
и за почти безумные
с грустинкой
твои волоколамские глаза.
Провозглашаю славу сентябрю,
багрянцу леса и небесной сини.
Я бабьим летом посреди России
безбожную заутреню творю.
И очищаюсь я в твоём огне
с тревожною душой непостоянной,
молюсь, чтобы неправды окающей
и святотатства не было во мне.
И, просветленный, подхожу к крыльцу,
вдыхая грудью пряный дух овинный.
В зените режет небо реактивный
по вечному и чудному лицу!



Герман Плисецкий

Из цикла
«Михайловские ямбы»

Мазурка

Ах, как пылали жирандоли
у Лариных на том балу!
Мы руку предлагали Оле,
а Таня плакала в углу.

Иным — в аптечную мензурку
сердечных капель отмерять.
Нам — в быстротечную мазурку
с танцоркой лучше нырять.

Бросаясь в каждый омут новый,
поди-ка знай, каков конец:
что за Натальей Гончаровой
дадут в приданое свинец.

Чужое знание не поможет:
никто из мертвых не воскрес.
Полна невидимых подножек
дорога через темный лес...

И только при свече спокойной,
при табаке и при свержке
жизнь становилась легкой, стройной,
как сосны, как перо в руке.

Зимняя ночь

Ночами жгло светильник ремесло.
Из комнат непротопленных несло.
Как мысль тревожная, металось пламя,
и, бывшее весь день на заднем плане,
предчувствие беды в углу росло.

Уехал Пущин. Легонький возок
скользит сейчас все дальше на восток,
так он, пожалуй, и в Сибирь заедет!
Ему сквозь тучи слева месяц светит.
Дурны приметы, и мороз жесток.

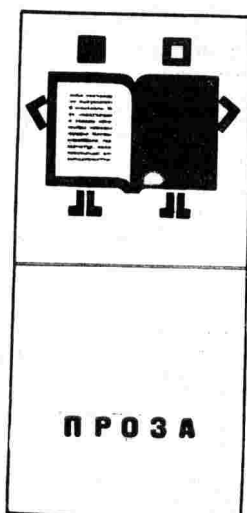
— Пред вечным разлучением, Жано,
откройся мне, скажи, что есть оно —
сообщество друзей российской воли.
Я не дурак: колпак горит на воре,
паленым пахнет сильно и давно.

— Нет, Пушкин, нет... Но если бы и да:
ваш труд не легче нашего труда,
ваш заговор сильней тиранов бесит.
И, может быть, всю нашу перевесит
одним тобой добытая руда.

Вот он — союз твой тайный, обернись:
британский лорд и веймарский министр,
еврей немецкий да изгнанник польский.
Высокий жребий — временною пользой
платить за вечность. Не переменись!

Уехал Пущин. От судьбы не спас.
Нетерпеливо грыз узду Пегас.
Спал в небесах синклит богов
всесильных.

А на земле, в Святых Горах, светильник
светил всю ночь, покуда не погас.



В № 1 журнала «Юность» за 1967 год была напечатана первая повесть Владислава Титова «Всем смертям назло». Сейчас вниманию читателей предлагается его новый рассказ.

Владислав Титов

Раненый чибис

Рисунок Е. Медведева.

РАССКАЗ

Чибис вдруг перевернулся спиной вниз, неловко взмахнул крылом и камнем полетел к земле.
— Ты ранил меня!

— Зачем, зачем, зачем... — эхом заголосила степь и поплыла рыжими волнами ковыля.

Птица всем клювом судорожно хватнула воздух, сжалась в упругий комок, словно готовилась прыгнуть в синюю высь, растворить в ней свою боль, но... тоненькие ножки дрогнули, и чибис неуклюже ткнулся грудью в упругую, свистящую волну.

Откуда-то появился Саша. По его лицу бежали слезы, а он, не обращая на них внимания, испуганно шептал:

— Птичка моя, он ранил тебя! Родная моя... Как же ты теперь в небо поднимаешься?... Птичка моя...

Я хотел крикнуть: «Саша! Ты же не мог говорить! Ты же глухонемой от рождения! Ты же...» Но мой голос повис в пустоте, и я с ужасом ощутил, что беззвучно шевелю губами не в силах произнести фразы.

Сашка взял на руки чибиса, прижал его к груди, и тут я увидел кровь. Маленькую-маленькую каплю ярко-красной птичьей крови. Капля скользнула по белым перышкам и упала на руку Саши. Он посмотрел, как капля поползла по его телу крохотным ручейком, поднял на меня полные слез глаза, покачал головой и сказал:

— Эх, ты... Ну, что она тебе сделала?... За что ты ее так? За что?

— Человек должен быть добрым! — гулко простонала степь.

— Саша, Сашок... ты же... ну, понимаешь... вчера еще... был глухонемой...

— Эх, ты... она же птица, она любила небо... за что ты ее так?..

— Сашка! Саша, Саша!

— Ты ранил их, безумец!

— Са-а-а-ша-а...

Тяжелое, хриплое «а-а-а» вырвалось из моей груди, и, разбуженный собственным криком, я вскочил с полки. Четыре внимательных глаза с усмешкой смотрели на меня.

— Я... я, наверное, кричал во сне?

— Ничего... это бывает... — нараспев протянул пас-

сажир у окна. — В вашем возрасте, молодой человек, мне тоже снились и Саши, и Маши, и Даши...

Я сел. Саша — это не она, это он. Маленький шестилетний мальчик с очень умными голубыми глазами. Встретились мы...

В купе горел ночник, робко отпугивая от окна промозглую сентябрьскую ночь, вагон наш вздрагивал на стыках рельсов, словно ему было холодно, и он, ежась, жаловался кому-то в непроглядную темь и не находил сочувствия. Надо мной, на верхней полке, с легким присвистом посапывал пассажир. Те двое уже не улыбались. Внимательно смотрели на меня и ждали — сейчас расскажет. А мне вдруг стало стыдно. Будто я собрался выболтать тайну, которая принадлежит не одному мне. Но почему же тайна? Я и сам не знаю. Эх, если бы в жизни на все ПОЧЕМУ всегда был ответ.

...Он сидел среди дороги в серой, выцветшей на солнце рубашонке, прикрывал лицо руками и молчал. Ватага деревенских сорванцов с шумом и гиканьем носилась вокруг него, и каждый норовил высыпать на его голову горсть придорожной пыли.

— Что вы делаете! — возмущенно крикнул я.

Мальчишки стихли. Робкой стойкой сгрудились неподалеку, настороженно следя за каждым моим движением. Чувствовалось, что нашкодившая компания поняла, насколько далеко она зашла в своих играх, и ничего хорошего от меня не ждала.

— Как тебя зовут? — обратился я к сидящему на дороге.

Мальш молчал. Ватага сдержанно хихикнула.

— За что они обижают тебя?

Мальчик сидел в прежней позе, совершенно не реагируя на мои вопросы. Его длинные пальцы времени от времени нервно вздрагивали и плотнее прижимались к глазам, словно все еще защищая их от очередной порции пыли.

— Он немой! — крикнул мальчуган с облезлым от загара носом.

— И глухой, и завсегда такой, и совсем мы его не обизали, мы в вулкан иглались, а зовут его Санькой! — без передышки выпалил другой.

На какой-то миг мне показалось, что дети шутят со мной, втянув в какую-то бессмысленную и неприятную для взрослого игру. Я посмотрел на ребят, потом на Саньку и неожиданно почувствовал, как в груди моей что-то загорелось, больно обжигая сердце.

— Я вам п-поиграю! — Голос мой сорвался, и ребята враспынную бросились наутек.

Вот так я встретился с ним... с Сашей...

Когда все разбежались, он медленно стянул ладони с лица и удивленно посмотрел на меня. Я протянул ему руку, он доверчиво подал мне свою, пыльную, маленькую, с длинными, тонкими пальцами, и мы пошли.

— Как же это, Саша? — невольно вырвался у меня вопрос.

Он взглянул снизу вверх большими голубыми глазами и улыбнулся.

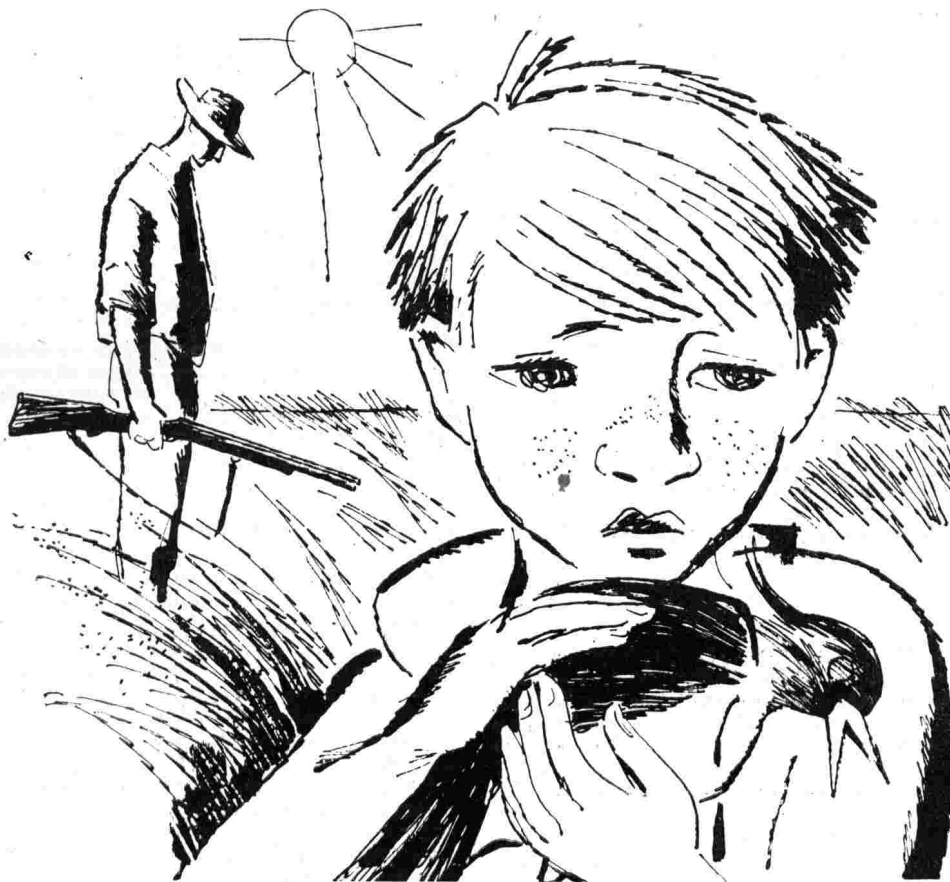
— Ну, ничего, как-нибудь... ничего... — шепотом

в лицо, а когда наши взгляды встречались, глаза его загорались каким-то радостным, искрящимся блеском, словно он ждал этой встречи всю свою недолгую, полную безмолвия жизнь и наконец дождался.

Прошло около двух недель. Мы стали с Сашей большими друзьями. Бывало, когда он надолго убегал от меня по своим мальчишеским делам (а это случалось не часто), я начинал ощущать, что мне чего-то не хватает, недостает, и со смешанным чувством смущения и радости отмечал: Саши, его бессловесного присутствия.

И он отвечал мне такой же искренней привязанностью. Просыпаясь по утрам, я неизменно встречал мальчика сидящим на сеновале, у моего изголовья.

— Доброе утро, Сашок! Куда мы сегодня пойдём? — спрашивал я, уже заранее зная: он махнет рукой в сторону степи, и улыбочивые глаза его загорятся радостным нетерпением.



успокаивал я сам себя, — а обижать тебя они не посмеют... Пусть попробуют!..

В тот день мы долго бродили с Сашей, взявшись за руки, по тихим улочкам его родного села. Я о чем-то рассказывал, и, помню, мне очень хотелось, чтобы мои слова дошли до него, хотя я понимал — не услышит Сашка моего голоса, не поймет рассказа. И от этого становилось больно и беспокойно на душе.

А он шел рядом, шлепая по траве босыми ножонками, и все старался забежать вперед, заглянуть мне

А степь встречала нас хором птичьих голосов, треском кузнечиков, тонким ароматом нежных полевых цветов. И Сашку там как будто подменяли. Он начинал бегать, прыгать, падать со всего разбегу в траву, кувыркаться и безудержно, до слез хохотать. Казалось, само солнце ласково брало его своими огромными, невидимыми руками, осторожно подбирало и щекотало.

Больше всего любили мы с Сашей сидеть на берегу небольшого, заросшего осокой озера. Тихо шумел камыш, шуршала осока, в ленивой дремоте

блестела гладь плеса, и лишь болотные чайки пронзительными криками нарушали чарующую гармонию природы.

Сашка обычно сидел, подперев кулачками подбородок, думая о чем-то своем, непонятном для меня. Однажды я решил рассказать ему о звуках.

— Смотри, Сашок! Вот это птицы,— показал я рукой на чаек.— Они кричат. Видишь! Раскрывают клюв? Оттуда вырывается звук... Ну, вот как солнце... Сейчас оно за тучкой, и ничего нет. А вот вышло из-за туч, лучи упали на воду... это как крик! Понимаешь? Или камыш... У него и название грустное, задумчивое... и он, склоняясь, шумит, вот так... тихо...

Я отчаянно жестикулировал руками в безнадежном порыве разорвать безмолвие, окутавшее этого мальчугана, донести до него хоть крупницу огромного мира звуков, а он смотрел на меня широко раскрытыми глазами, в которых я видел боль любопытства и откровенное удивление.

— Эх, Саша, Саша...— вздохнул я.— Ну, зачем так жестоко устроен мир? Неужели так всю жизнь?..

Сашка резко поднялся и побежал от меня. Не оглядываясь, спотыкаясь, закрыв руками уши...

А ночью он пришел на сеновал. Я почувствовал на своей щеке его дыхание и сразу проснулся. Саша лежал рядом со мной с заложенными за голову руками и смотрел в небо, усыпанное мириадами звезд.

«Что же произошло с тобой, дружок?— терялся я в догадках.— Жалостью я обидел тебя? Или ты понял, что не такой, как все?»

— Звезды!— протянул я руку к небу.— Среди них и такие, что летят, сделанные руками человека. Ты вырастешь, Сашок, выучишься, и, кто знает, может, те приборы, что все видят и слышат, сделаешь ты, вот этими руками. Они долетят до иных миров, подслушают другие цивилизации и потом обо всем расскажут людям. И то будут твои уши и твои глаза.

Утром все было по-прежнему. Только я неожиданно заметил во взгляде моего друга что-то новое, что сделало его немного старше своих шести лет, умнее и серьезнее.

А потом... потом наступил тот день... Яркий, солнечный... И лучше бы он был другим. Может быть, все было бы как-то иначе. Может, не произошло бы той трещины в нашей дружбе, которая больно ранила нас обоих.

Саша еще дома сразу же почувствовал что-то недоброе, заметив в моих руках ружье. Я видел, ему не очень хочется идти в степь с этим зловещим инструментом. Но, подстегиваемый мальчишеским любопытством и не желая отставать от меня, все же пошел.

Той радости, которую обычно вызывала в нем степь, на этот раз я не заметил. Наоборот, он угрюмо шел рядом со мной, изредка бросая косые взгляды за мою спину, где, поблескивая на солнце вороненой сталью, болталась двустволка.

Подстрелить мне ничего не удалось. Домой мы возвращались разморенные жарой, еле волоча уставшие ноги. Над нашими головами, словно смеясь над незадачливыми охотниками, захлебывался в переливчатом крике чибис.

— Сейчас ты у меня посмеешься!— приставляя ружье к плечу, усмехнулся я. «Стрелять или не стрелять?— лениво закопошилась в моей голове мысль.— Ай, на что он нужен! Разве только Сашка поиграется птицей».

Я так и не успел принять окончательного решения. Чибис подлетел на очень выгодное для выстрела расстояние, и палец сам надавил крючок. Ружье

плюнуло свинцом сразу из обоих стволов, резко, будто обозлясь, толкнув меня в плечо.

О той беде, которую наделал мой необдуманный выстрел, я догадался сразу же, едва взглянул на Сашу.

Он стоял бледный, с трясущимися руками, и глаза его горели гневом. В следующее мгновение Сашка бросился ко мне, рванул ружье и, замахнувшись, кинул его.

На другой день он не пришел ко мне. Напрасно я ждал его на третий, четвертый; напрасно бродил по улицам села, надеясь на случайную встречу. Мой друг избегал меня, не хотел встречаться со мной...

Длинно потянулись дни, тусклые и однообразные. И степь уже не манила меня к себе, а если я и шел туда по привычке, то не замечал ее прежних прелестей. Она как-то опустела, сделалась серой и неприветливой.

Отпуск мой подходил к концу. Приближалась осень. Небо все чаще и чаще заволакивалось тяжелыми тучами, брызгалось холодными каплями дождя.

Чибиса Сашка вылечил— рассказали мне соседские ребятишки. Ранним утром вынес его в степь, подбросил вверх и долго бежал вслед, пока не упал вниз лицом, выбившись из сил.

Вскоре наступил день моего отъезда. С утра моросил мелкий дождь, дул зябкий северный ветер. С тяжелым сердцем уходил я из села. Пешком брел через степь, мокрую, поблекшую и показавшуюся мне огромной пустыней без конца и края. Вот и то место, где раздался выстрел, ранивший птицу и убивший человеческую дружбу.

— Эх, Саша, Саша, не хотел ведь я обижать тебя...

На вокзал я пришел рано и, купив билет, слонялся по перрону, ожидая поезд. Минут через тридцать он подкатил к платформе, обдав густым облаком пара стоящих на ней. Люди засуетились, толкаясь, ринулись к вагонам. Взяв свой чемодан, я медленно двинулся по перрону. И вдруг...

Сашка стоял, прислонившись к вокзальной ограде, мокрый, съезжившийся от холода, стреляя испуганными глазенками по толпе.

— Саша!— вырвалось у меня.

Он, словно услышав крик, повернувшись в мою сторону, и не успев я опомниться, как он повис у меня на шее. Я почувствовал на своей груди его мокрый нос, холодные вздрагивающие губы и жгуче-теплые капельки слез.

— Ну что ты, Сашенька, не надо, хороший мой... не надо... прости меня... я приеду... я обещаю...— выдавливал я и не мог выдавить из горла колючий комочек.

По ушам звонко хлестнул станционный колокол, поезд дернулся и, набирая скорость, поплыл мимо опустевшего перрона. Саша одиноко стоял на мокром асфальте, под холодным, осенним дождем, тер кулаками глаза, и плечи его горестно вздрагивали.

«Дружище ты мой! Как же ты... босиком через степь... караулил меня...»

Поезд ускорял бег, фигурка мальчика делалась все меньше и меньше и наконец совсем исчезла.

— ...Так что же за Сашу вы видели во сне?— не отставали от меня попутчики.

— Друга!— ответил я и отвернулся к окну.

До сих пор не пойму, почему я не рассказал им эту историю. Впрочем, сколько их в жизни, этих ПОЧЕМУ, на которые трудно, а порой и просто больно ответить.

г. Луганск.

А. Авдеенко

Я ЛЮБЛЮ

РОМАН

Рисунки В. Юдина.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

На горячих путях появился еще один наблюдатель. Притулился к бетонной колонне, в тени козырька литейного двора, и таращится на меня. Одна нога почему-то поджата, как у цапли, торчащей на зеленой кочке посреди болота.

Кто такой? Какого роду-племени? Скорее всего монтажник, мастер по железу — штаны его кое-где заляпаны суриком, Верхолазы вот так же лихо, на одной ноге, красуются на вершине трубы или на самой крайней точке небоскребной домны. Людей пугают и себя возносят.

Он меня бесцеремонно разглядывает, а я — его. Чересчур высок он, чересчур широк в груди и в плечах. Голова лобастая, сивая, как у матерого волка. Глаза зоркие, охотничьи. Лицо крупное, грубо прокаленное загаром и молодым плиточным румянцем.

Я стою под желобом, жду чугун. А он чего здесь околачивается? Похоже, только моей личностью интересуется. Давай, дядя, спрашивай, допытывайся!

Стоит, зыркает в мою сторону и не собирается рта раскрывать. Неразговорчивый мужик. Потребить его, расшевелить, что ли?

— Смотри, земляк, как бы колонну не свалил! — говорю я.

Не пожелал откликнуться.

Теперь в самый раз отвернуться и забыть незнакомца, а я плюю на собственное достоинство и во все глаза смотрю на него, жду чего-то. Взбаламутил мою душу сивоголовый. Чем именно, и сам не пойму.

Поднатужился горлом, крикнул:

— Эй, дядя, чего высматриваешь? Говори, секретов не имеем!

Соблаговолил услышать и откликнуться.

— Опоздал маленько встретиться. Все, что мне надо было, я уже высмотрел.

Он достал кисет, неторопливо свернул козью ножку, закурил.

— Крути, не верти, а так оно и есть: на миру и смерть красна. Верно! С точностью до одного миллиметра... Раки любят, чтобы их варили живыми.

И рассмеялся. Мясистые губы раздвинулись, открыли крупно нарезанные зубы.

«Раки любят, чтобы их варили живыми»... — Недавно где-то слышал я эти странные слова.

Не сказав ничего больше, он ушел. Послал бог встречу!

Поворачиваюсь к своему помощнику.

— Слышал, Вася?.. Не знаешь, кто это?

— Домовой! Нечистая сила. Так он смотрел — душа в пятки убегала.

Подтрунивает Вася, но и он, чувствуя, заинтересован наблюдателем.

Топот тяжелых, окованных сапог. Грохот ведер. Утробный кашель... Распахивается дверь, и на пороге появляется сивоголовый. Как он нашел меня? Зачем я ему понадобился?

Подходит к кровати и браво, на солдатский манер, поет:

— Вставай, вставай, браток! Вскипел уж кипяток!..

В подоле его рубахи шевелится, кишит, шуршит клешнями и шейками черный, пахнущий речной сыростью рачий клубок.

— Раки любят, чтобы их живьем варили. — Сивоголовый беззвучно, глухо смеется. Мертвый оскал, а не живой смех.

— Вставай, историческая личность, будем пировать!

Достаёт бутылки с пивом. Вываливает раков. Они уже красивые, пучеглазые, глянцевиные, как на обложке конфет. Клацают по столу клешнями, поют:

— Мы любим, мы любим, мы любим вариться живыми!..

И один за другим вползают мне в брюхо. Я полнею, разбухаю и... лопаюсь.

Сивоголовый, поджав ногу, сидит на подоконнике и хохочет. А в углу затаилась какая-то женщина, вро-

Продолжение. Начало см. в № 1 за 1967 год.

де той малахольной хуторянки. Тихонько плачет и шепчет: «Саня, Санюша, жалею тебя».

Открываю глаза. Тарахтит будильник. Луч утреннего солнца припекает лицо. С улицы доносятся моторные выхлопы. И приснится же такое! Не надо было вчера, на ночь глядя, пиво пить и воблу глотать.

Вася отпрянул от окна, присел на корточки, дурашливо схватился за голову.

— Спасайся, братцы, кому жизнь не надоела! Идет!

— Кто?

— Он! Чудо-юдо.

Выглянуть в окно я не успеваю. Сивоголовый уже поднимается на паровоз. Теснее и темнее стало в нашей кабине.

Гость едва-едва склоняет голову, тяжелую от важности и ума: догадывайся, мол, хозяин, если смекал, здороваясь с тобой.

Вася берет жестянку с маслом, тихонько спускается вниз. На земле он опять выкаблучивается: корчит рожу, жестикулирует, как иностранный специалист, показывает мне, в какое безвыходное положение я попал.

Да, попал! Во сне и наяву не дает покоя. Уставился на меня пронзительными глазами и не спешит объяснять, кто такой, зачем пожаловал. Теперь, вблизи, совсем хорошо видно, как его крупное лицо нахлестано ветром и поджарено солнцем. Верхолаз, не иначе. Пахнет железом и корабельным суриком.

Принято здороваться гостю, но я первый сказал:

— Здравствуй!

— Интересно, с кем ты поздоровался? — спросил сивоголовый. — Чего молчишь? Я спрашиваю, с кем ты поздоровался?

— С вами... с человеком, — растерянно бормочу я.

— Ну, если так, здравствуй! — Порывисто шагнул ко мне, схватил руку. — Спасибо на добром слове.

Широкие и твердые, прямо-таки железные ладони у этого дядьки. Мозолистые рубцы приварены к каждой лапе. Такой капитал не заработаешь в одну пятилетку. Лет десять надо вкалывать, а то и все пятнадцать.

— Спасибо! — повторяет сивоголовый. — Не знаешь, как я зарабатываю хлеб, а все-таки не обидел. Человеческим званием наградил.

Он садится в кресло моего помощника, дымит и бесцеремонно, так и сяк оглядывает меня. Одна рука держит самокрутку, а другая терзает подбородок, вроде бы с бородой забавляется. Недавно, видно, расстался дядя с бородищей. Не успел отвыкнуть. Мой брат Кузьма вот с такой же тоской иногда хватался за обрубленное плечо и пустой рукав.

— Почему же ты оплошал, парень? Другим человеческое звание присваиваешь, а себя божеской печатью метишь.

— Как вы сказали?

— Святые, говорю, тебя сделали. Свежей краской и лаком богомазным пахнешь... Раки любят, чтобы их варили живыми.

Нравился мне до этой минуты безбородый апостол, а теперь хочется шугануть его с паровоза.

Красное, синее, белое, зеленое!..

— Ты что, батя, хлебнул? Прямо с утра начинаешь или похмеляешься?

Я допрашиваю его, а он — меня. На мои вопросы не отвечает, а я, рад стараться, все ему выкладываю.

— Слышал я, ты в студентах числишься?

— Есть такой грех.

— В библию заглядывал?

— Приходилось.

— Маркса изучаешь?

— Без Маркса теперь не проживешь.

— Читал, как он бога расчеховстил? Бог — чистая выдумка, отчаянная мечта людей, потерявших себя. Религия — вздох угнетенной твари. Разумный человек вращается вокруг себя самого и своего действительного солнца. Так или не так? Сходится с твоей институтской наукой?

Философ с мозолистыми лапами звучно, с удовольствием, будто съел что-то вкусное, чмокнул толстыми губами.

— Человек — это мир человека. Земной мир, а не райский или адский.

Ну и ну! Кто ты, дядя? Откуда взялся? Где работаешь?

— Мало человеку раскритиковать небо, оторваться от бога. Надо еще раскритиковать землю, старые порядки, себя, свои дела. Такой марксизм проходил?

— Батя, не пора ли нам познакомиться?

— Знаю я тебя, Голота!

— А я вас не знаю. Кто вы?

— Я?.. Человек. Ты же сам сказал.

Вон оно как! Каких только людей не загоняет попутный ветер в Магнитку! Всякой твари по паре в нашем обетованном ковчеге.

Спрашиваю, что ему надо от меня.

— Пришел полюбоваться святым. Давно ладану не нюхал. И занозу хочу оставить на память.

Он высосал толстую козью ножку до бумажного корня, открыл топку, бросил недоуток.

— Бывай здоров. Пусть моя заноза прижигает твои мозги.

Ну и сморозил! Пока что одна смехота разбирает меня.

Доморощенный мудрец шагает по горячим путям. Звонко припечатывает каблуками землю: знайте, дескать, кто идет!

Васька Непочелуев поднимается на паровоз, ухмыляется:

— Жив?.. Цел?..

— Смертельно ранен, только не пойму, куда.

Смех смехом, а мне в самом деле не по себе стало. Зачем приходил этот человек? Чего добивается?

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

— К то последний?

На мой шумный и бравый запрос откликнулся чистенький старичок в тугом картузе, с пружиной внутри, с лакированным козырьком.

— Я! Но не последний, а крайний, — вкусно выговаривая слова, поправил он меня. — Последний — это, знаете, кто...

— Знаю, дед! Зря ты тратишь свои скудные силы. Помолчи, будь ласка.

— И не тыкайте, пожалуйста. Мы с вами из одной лохани самогон не хлестали и не христосовались. А если ты не русский, то знай: в России всегда старость уважали.

— Была Россия, да сплыла. Проснитесь, дедушка! Уж весна на дворе... советская весна.

Старичок сбил картуз на затылок, чтобы он не мешал разглядывать меня.

— Так!.. Значит, вы думаете, что советская весна — это одно, а Россия другое?

— Хватит, деда! Мы с вами в очереди, а не на диспуте по историческим вопросам. Вы крайний? Я за вами. Вот и договорились! А теперь помолчим минуток сто, помечтаем о рыбных консервах.

— Ишь какой! Выше очереди и рыбных консервов мечта не подымается? Здорово живете!

— Да, живу! На зависть всему миру.

— А я вот вам не завидую.

— Понятно!

— Что вам понятно?

— На старую жизнь, небось, оглядываетесь, на трёхкопеечный калач? А может быть, и на хлебные небоскребы? Эх, дядя! В Америке двенадцать миллионов безработных голодают, а капиталисты швырнули в океан чуть ли не весь урожай пшеницы. Это как, лучше нашей очереди?

— При чем тут Америка и безработные?

Я махнул на своего супротивника рукой и замолчал.

Ничего смешного в нашей перепалке не было, но в очереди смеялись.

Противно толкаться среди крикливых баб, замурзанной детворы, до поры до времени заменяющей в очереди взрослых, противно глазеть на морщинистого, с аккуратно расчесанной бородой «расейского» старичка. А что делать? Пропадут мясные и рыбные талоны, если не отоварю их сегодня.

Русак и моим молчанием недоволен. Ворчит:

— Вот такие Иваны, не помнящие родства, между прочим, и довели хлебную Россию, кормилицу всей Европы, до карточек, очередей и голода!

— До революции мы довели Россию, — сказал я. — И до Советской власти и до Магнитки.

— Не одна Магнитка была бы, если бы не такие вот гвозди, как вы, молодой человек.

— И не такие вот очернители, как вы, старче! — говорю я с холодным бешенством. — Болтун вы, нытик! Ничего не делаете для Советской власти, а требуете караван.

— Осечка! В небо пальцем попал... Все делаю, что в моих силах и даже сверх того. А вот вы, гвозди правоверные, бедовым языком капитал зарабатываете. Вам надо, чтобы слова были правильные, а там — хоть потоп.

Ну и бабахает старикан. Это я бездельник? Я болтун? Эх! Будь этот дядя помоложе, дал бы я ему прикурить от своего кулака, сказал бы что-нибудь... разтакое. Старорежимный картуз ты, а не делатель. Ничего не понимает в нашей жизни этот брюзга. Временное это явление — карточки. Перебором! Но зато нет у нас всяких там карлов, францев, помещиков, казаков с нагайками и жандармов. Это навсегда, навеки.

Помалкиваю. Не проймешь заскорузлое старье никакими словами. Пусть себе пузыри пускает.

Мой сосед по очереди, тоже бородач, толкнул меня, шепнул:

— На кого набросился, агитатор? Это же Митрич!

Митрич?! Провалиться бы мне на месте. Действительно, пальцем в небо попал. Митрич!.. Его портрет не сходит с почетной доски ударников. Мастер. Чародей огнеупора. Раньше золотом платили немцам и американцам за то, что выстилали кирпичом стенки мареновских печей так, чтобы не просочилась в щель плавка и не ушла в землю. Митрич, появившись в Магнитке, заменил иностранцев.

Надо бы извиниться перед ним, но я помалкиваю. Невпритык мои добрые мысли с языком.

— Кто крайний? — слышу я певучий, знакомый голос. Оборачиваюсь и вижу ту самую женщину, которая потеряла брата и в справедливости разуверилась.

— Здравствуйте! — говорю я, как можно приветливее. Не помню, не желаю помнить своего недавнего разговора с Марьей Игнатьевной. Мало ли чего не выпадают люди в горячую минуту! В тот раз она наболтала лишнее, а сейчас я Митричу ярлык навесил... Нехорошо это. Все мы одно дело делаем, социализм строим.

Марья Игнатьевна, конечно, не хуторянка. Она или ее муж вкалывают на горячих местах, зарабатывают ударные талоны на дефицитную шамовку. Лещ в маринаде! Бычки в томате!

Какие только мысли не приходят в голову, когда топчешься в очереди!

— Вы, кажется, не узнали меня, тетя Маша?

Она смотрит на меня внимательно и серьезно, молчит.

Заковыристая, вся ребусами пропечатана.

Я перестаю улыбаться, показываю своей соседке спину. И тут слышу ее тихий голос:

— Саня!..

Вот снова начинается чертовщина! Ладно, давай! Медленно, будто мои шейные позвонки проржавели, поворачиваюсь к ней.

— Широкая у тебя натура, Саня: то в прорубь толкаешь, то кипятком ошпариваешь.

Еще один Митрич в юбке объявился!

— Это вы про что?

— А про то... прошлый раз разговаривать не стал, попрощаться забыл, а сегодня сам здороваетесь.

— Марья Игнатьевна, миленькая, я ж всего-навсего человек: потею в жару, дрожу в холоде, обижая ни за что ни про что хороших людей... В общем, ничто человеческое мне не чуждо. — Я перестал дурачиться, серьезно сказал: — Виноват я перед вами, тетя Маша. Несправедливо защищал справедливость.

— Смотрите, какие он слова знает! А я думала... одними геройскими козыряешь. И совестливый ты, оказывается, в очереди стоишь наравне с нами, задрипанными, хотя сияешь на всю Магнитку.

— Люблю я, тетя Маша, в очередях толкаться. Где еще услышишь такие умные речи!..

Растерялась, смолкла. Дошла стрела и до ее сумасбродной головы. Вот, оказывается, как надо разговаривать с тихопомешанными.

Очередь тем временем заметно подвинулась. Впереди меня недавно маячило не менее ста затылков, а теперь гораздо меньше. Ребятяня, поскольку запахло прилавком, уступила свои места взрослым: заборные карточки соплякам не доверяют.

Стоим мы среди людей с Марьей Игнатьевной, видим, что делается вокруг, талоны и деньги готовим, но главное для нас не консервы. Друг другом интересуемся.

Все-таки она симпатичная, хотя и не все дома у нее.

И ее, Марью Игнатьевну, чувствую, тоже что-то притягивает ко мне.

— Ну, тетя Маша, были в милиции?

— Была. Спасибо, надоумил. Пообещали поискать моего братишку. Шурка Сытников! Родом из Таганрога. Двадцать пять годочков.

Утро. Солнце уже заглядывает в окно, а я еще валяюсь в постели. Залежался после ночной. Сбрасываю одеяло, вскакиваю, делаю гимнастику, моюсь остатками воды, припасенной еще вчера. Теперь не грех подбросить в топку калорий.

Ишь чего захотел! Была холодная картошка, но я ее сплюс перед работой. Была вобла, но от нее остались на газете только сизые ошметки.

Придется сбегать к Ване Гущину, стрелкнуть шапки. Он хлебный парень.

Не успел выйти. Кто-то осторожно стучит подушками пальцев в мою дверь. Деликатный посетитель. Столько гостей уже было, что я насобачился по стуку различать, какие они.

Так и есть — симпатичный! Тетя Маша. Раскраснелась от смущения. Стоит у порога и протягивает мне корзину, накрытую белой тряпичей.

— Вот, Саня, держи!

— Здравствуйте, Марья Игнатьевна! Что это вы?

— Вареники с земляникой и творожком... Сметанка из погреба, хоть ножом режь!.. Ешь, Саня! От пуза харчуйся.

Выставляет еще теплый горшок, полный беленьких вареников, головастый глечик с поджаристым каймаком.

— Ешь, Саня! Для тебя приготовила. Коровка у меня своя.

— Напрасно старались, Марья Игнатьевна. Не привык я чужими трудами кормиться. И не в тюрьме сижу, чтоб передачами пользоваться.

Она будто не слышала меня, вываливала на тарелку вареники.

— Уплетай, Саня! Заработал! Слезы мои сиротские осушил. Разыскался братеник.

Губы ее расплзлись в улыбке. Расцвела, помолодела хуторянка.

— Очень рад. Где же он пропадал?

— Ты поешь, Саня, а потом расспрашивай, шовоно и як.

— Ну, знаете, по такому случаю и аппетит появился. Да не какой-нибудь, а волчий. И вы со мной дайте.

— Я дома харчевалась. Ешь сам.

Я проглотил первый вареник и воскликнул:

— Сто лет не пробовал таких! С самого детства!

В одно мгновение подобрал все угощение. Ну и вкусно!

Тетя Маша умилилась, глядя на меня, и даже слезу смахнула. Чем не мать-кормилица!

— Саня, а семейных карточек от старой жизни не осталось?

— Какие там карточки! Все пропало.

Она посмотрела на фотографию Ленки.

— А это кто? Знакомая или из журнала «Огонек»?

— Лена Богатырева! Первейшая девушка на свете. Скоро поженимся.

— Пригласишь на женитьбу?

— Обязательно.

— Не положено свадьбу играть без матери. Добрый это обычай. Хочешь, я буду посаженной матерью?

Я чуть не рассмеялся. Ну и ну! Герой горячих путей, «историческая личность», депутат — и вдруг старорежимная свадьба!

— Мы по-новому обычаю сыграем свадьбу, — говорю я. — С комсомольским припевом.

— Ничего, приспособлюсь!

Она берет фотографию Лены, смахивает с нее пыль, вздыхает.

— Значит, невеста? А я подумала, твоя Варвара. Пропала девка! Вспоминаешь сестренку?

— Как же! До сих пор снится: то в лесу бегаем, то купаемся в речке...

Опять разжалобилась тетя Маша, тихонько шмыгает носом.

— Поискал бы как следует ее. Я вот нашла. Может, и она войну и голод перетерпела. Бабы живучее вас.

— Вряд ли уцелела! Гордая она. Не стерпела оби-

ды. Руки, наверно, на себя наложила. В общем, пропала. Ни слуху, ни духу.

— Да разве это гордость — руки на себя наложить? Надо было плюнуть на обидчиков и жить-поживать. Я б так сделала.

Не зря она это сказала. Может, действительно сделала что-нибудь этакое. Напрасно я на нее наговаривал. Не похожа она ни на бывшую, ни на малахольную.

— Тетя Маша, где пропадал ваш Шурка? Где он теперь проживает?

— Здесь он! — сказала Марья Игнатьевна и кивнула за окно.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Тревога!.. Тревога!.. Тревога!.. Во все концы Магнитки носятся комсомольские патрули: то помогают медным каскам тушить пожар на Коксохиме, то откапывают в котловане грабей, заваленных глиной, то отгоняют подальше от Магнитки таборы кочевников с их тифозными вшами и трахомой, то усмиряют ретивых молодцов, затеявших драку среди бела дня.

А меня Костя Шариков нацелил на «княжеские хоромы». Так он назвал обыкновенный барак за то, что в нем не уживаются завербованные. Текут, как песок между пальцами. Неслышанно привередливы: жалуются на особо лютых клопов и на какую-то нечистую силу, на обидную тесноту, на кошмарный, будто бы в сто сорок ноздрей, забористый ночной храп и опять же на разгул какого-то домового.

Ну и выдумщики! Шило, торчащее в одном месте, а не домовый, не позволяет им укорениться на земле Магнитки.

Каких только летунов не перебивало за два года в этом злосчастном бараке!.. Полтавские грабари, смоленские плотники, тамбовские каменщики, белорусские лесорубы и пильщики.

Нынешние постояльцы всей артели, сдали рабочий инструмент, спецовку, продовольственные карточки, затребовали справки об увольнении.

Хорошо еще, что так бегут, в открытую, организовано. Бывало и похуже. Дезертировали втихомолку, не востребовав документов, прихватив с собой казенные простыни и одеяла, продовольственные карточки и не вернув проездных, суточных, подъемных и авансов на обзаведение.

Костя Шариков, выпроваживая меня в хоромы, думал, как мне кажется, так: «Ни черта не выйдет у тебя, Голота...»

Усердно работаю педалями велосипеда и обдумываю, как я оглушу, пристыжу и образумлю дезертиров. Не видел я их, но все равно знаю, из какого гнезда они вылетели. Не имеют рабочей закалки. Не побывали в пролетарской огненной купели. Не смыли с себя грязь пережитков. Бородатая деревенщина. Заскорузлые, пропахшие землей и навозом дремучие дядьки. Глазки блудливые. Окающий говорок. Веревошные и лыковые лапти. Истлевшие от столетнего пота рубахи. Сермяжная, вчерашняя, обреченная Русь!

Бегут от Магнитки потому, что не выдерживают ее бешеного темпа. Тихоходы. Лежебоки! Привыкли зимой на горячей печке лапу сосать, у бога погоды вымаливать, на его милости надеяться. А тут вкалывай круглый год, днем и ночью, без оглядки на

солнце и дождь, ветер и пыль. На одни свои мозолистые надо уповать. Никто не даст нам избавленья: ни бог, ни царь и ни герой, добьемся мы освобожденья своею собственной рукой. По царской короне ударили революцией. Соху, сивку-бурку и треклятый недород бьем трактором.

Эх вы, бородачи!

Перед дальней, беспокойной дорогой дезертиры решат соблюсти дедовский обычай. Плюхнутся на свои сундучки с висячими замками, на «сидоры», чувалы, торбы, набитые всяким хламом, и станут понуро шептать молитвы.

В такую минуту я и вторгнусь. «Привет вам, папаша, от горячих людей Магнитки! Рабочий посол я. Для переговоров прислан».

Длиннобородый мудрец, голова артели, поднимется с примятого оклунка, отрежет: «Опоздал! Недосуг нам переговариваться. Так что не обессудь, родимый: вот тебе бог, а вот и порог. Покедова, паря!»

Не отступлюсь. Не полезу в бутылку. Вытру плечок и скажу: «Не задержу вас, друзья! Попрощаться хочу. Неужели откажете? Даже с покойником прощаются».

Длиннобородый переглянется с артелью, милоство кивнет: «Говори уж, коли так. Послушаем за покойную».

Не надо мне собираться с мыслями, хоть отбавляй их! Но я помолчу, подумаю. Каждому дезертиру загляну в душу и начну: «Магнитки испугались, дяди! Города с великим будущим! Завода, где ваши дети и внуки обретут счастье! Куда шараетесь? Если Магнитку не сумели увидеть и почувствовать, так вы уж нигде ничего хорошего не найдете».

И еще много всяких хороших слов скажу.

Потупятся бородачи. Засопят, запыхтят. Заскребут затылки своими корявыми, с черной каймой ногтями...

Известно, капля камень долбит.

Набиваю глаза ветром, слезами, едкой пылью. Тороплюсь попасть в «княжеские хоромы» раньше, чем дезертиры покинут их. С вокзала уже не вернешь. Под крышей, в четырех стенах человек сговорчивее, чем под открытым небом.

Вот и барак. Тяну на себя дверь и вваливаюсь.

Опоздал! Сразу весь пыл пропал. Что-то оборвалось в груди.

Приморозился к половицам в темноватом углу, у самого порога, приглядываюсь, прислушиваюсь...

Вокруг длинного стола, на широченных, для задатых людей, лавках сидят летуны. Ни одного бородача. Голошки да зеленые, моложе меня. Полтавские хлопцы, белорусские парни, смоленские да воронежские ребята. Молодая Русь, молодая Украина, молодая Беларусь. Никто не буйствует, не надрыдается криком. Все смирные, все глаз не сводят с чернявого парня в чистой, с отложным воротником рубашке, с гладко зачесанными волосами, с отметиной на переносице.

Опять он на моей дороге, Алешка Атаманычев, машинист Шестерки! Как попал сюда? Кто послал его, некоего мальчика, некоммуниста, наводить порядок? Никто! Самовольничает.

Постояльцы еще не покинули барак, а краснолицая, в казенном халате уборщица сдирает с подушек серые, с остатками белизны наволочки, хватает застиранные, в ржавых пятнах простыни и швыряет их в кучу, от которой распространяется тяжелый дух заносенного белья.

Комендант барака, мужчина с военной выправкой, в суконной, со споротыми петлицами гимнастерке, вчерашний старшина военизированной охраны, стро-

го и дотошно, с выражением смертельной обиды на лице пересчитывает тумбочки, железные койки, занавески, матрасы и ворчит:

— Ишь, голопузые!.. Дома лысой шубенкой срам прикрывали, с кваса на хлеб перебивались, а здесь от казенных удобств нос воротите. Неблагодарные чушки! Шалавы!

Дезертиры не слушают коменданта. Их внимание приковано к Атаманычеву.

Что-то темное, нехорошее вползает мне в душу. Муторно стало. Ну и ну! Обиделся, что опередили меня? Или приревновал?

Алешка сделал то, что мне и в голову не могло прийти. Не с речей начал. Обошел барак, выстукал стены. Раздобыл лестницу, топор, выломал верхние доски. И нашел, что искал. Извлек на белый свет водочную посуду, вделанную в углы. Вот и все! Дураку стало ясно, почему барак был и ревел, душу рвал в ветреные ночи. На пустых бутылках наявлял ветер.

Ребята с превеликим смущением разглядывали «нечистую силу». Мутное, с прозеленью стекло. Пыль и паутина. Неисглевшие, старой чеканки, времен царской монополии этикетки.

Хлопцы вытряхнули из стеклянной утробы записку и еще больше удивились. Послание с того света! Густые черные чернила. Буквы четкие, будто оттиснуты на типографском станке:

«ВМЕСТО КРАЕУГОЛЬНОГО КАМНЯ».

Читают, перечитывают, мусолят старую цыдулку, пытаются докопаться до ее смысла. Для неподкованных ребят она труднодоступный ребус, загадка первой величины, а я, кажется, докумекался, где собака зарыта.

Ненавижу сивуху. Сколько людей погубила она, сколько несчастий и уродств посеяла на земле! Моего деда Никанора до сумасшедшего дома довела, отцу и матери жизнь укоротила, сестру Варьку в пропасть втянула. Сам я водочной грязью не пачкаюсь и другим, если это в моей власти, не даю марафты. Верю в простую народную мудрость; водка к добру не приведет.

Хорошо, что в Магнитке действует запрет на все спиртное. Ну и разгулялись бы строители, если бы не сухой закон!

Порываюсь раскрыть ребятам лукавую тайну «краеугольного камня».

Пока я раздумывал, с какого конца приступить к разговору, Алешка опять безраздельно овладел вниманием ребят. Сел за артельный стол по-хозяйски, постучал ладонями, потребовал внимания. Как можно отказать победителю «нечистой силы»? Уважили. Притихли.

— До отхода поезда три часа, — сказал Алешка. — Успеем малость потолковать. На паровозе я работаю. Машинист. Алексей Атаманычев, а попросту — Побейбога. Прозвище заработал не я, а мой отец. Церкви он когда-то крыл, кресты и колокола ставил. Верхолаз! Рискованная, но денежная работа. Разбогател золоторукий мастер. Дом кирпичный отгрохал, в кубышку рыжики откладывал. В голодный год поссорился и с попами и с небом. Стал Побейбогом. Золото отдал в фонд голодающим и пошел пролетарить. Турксиб строил. Первую землянку в Магнитке рыл. Первый барак рубил. Теперь бригадир верхолазов: варит и клекает, железяку к железяке подгоняет. Домны ставит. Видели три сестрицы? Это его рук дело. Сегодня четвертую поднимает. И десятую грозит вымахать. — Алеша отхлебнул из кружки воды. — Вот и вся присказка. Теперь можно и орех раскусить.

Краснолицая женщина перестала разбирать постели. Присела на койку, слушала Атаманычева. Командант позволил разгуливать доброй улыбке на своем строгом, властном лице. Догадывался он, к какой цели пробивается укротитель «нечистой силы».

И я развесил уши. Подобрел. Посветлел.

Дезертирам тоже интересно.

— Слыхал я, ребята, как вы, перепуганные бутылочными чертями, вздыхали: «Хорошо там, где нас нет». Принижаете себя, строители! Вы же рабочие люди. Ра-бо-чие!

Алешка разгладил темную зарубку на переносице и пошел расписывать, как рабочие дикую степь превращают в Магнитку, а рыжие камни делают чугуном, сталью, домнами, блюмингами, автомобилями, танками, паровозами. Самые высокие горы и самые недоступные недра расступаются перед рабочими. Нефть, уголь, руда, газ, электричество, тепло и свет, штаны и рубахи, чашки и ложки, корабль и самолет, иголка, соль, спички, молот кузнеца, рельсы, соска младенца, золото и серебро — все это рабочий пот и рабочая воля. Где жизнь, там и рабочие люди. Одичает земля без сознательных, умных рабочих. Таких, какими вы станете очень скоро.

Говорит — и все больше разгорается, веселеет. Сам себя, как токарный резец, в горячей работе оттачивает. Если даже и не хочешь, будешь уважать такого.

Засмотрелись на него ребята.

Человек отражается в другом человеке. Человек любит в людях себя, а в себе — людей.

— Вот так, хлопцы! Хорошо бывает там, где мы, рабочие люди! — закончил Алешка. — Кому чего не ясно?

Все ребята при этих словах посмотрели на скуластого, с приплюснутым носом, белобрысого паренька. И все заулыбались от какого-то веселого предчувствия.

Не обманул артельный смехач своих товарищей. Поднял над белой головой крепенький кулак.

— Желая вопрошать!

— Давай, говори! — кивнул Атаманычев. — Как тебя величать?

— Без надобности тебе величание. Поздравствуемся и попрощаемся на этом самом месте — и концы в воду опустим.

— Это Хмель! — подсказал кто-то.

— Ах, это он самый, Хмель!..

— Да, Хмель. Кондрат Петрович. Тысяча девяносто десятого года рождения. Под судом и следствием не был. Хлебобоб! Гражданин! Товарищ! А почему ты, Побейбога, считаешь меня диким, несознательным?

— Что ты, Хмель! Ты не понял меня.

— Понял, не беспокойся, хватило ума!

Он смолк. Уверенный, что его не перебьют, ни шатко и ни валко вытащил банку из-под сапожной ваксы, приспособленную под махорку, слепил цигарку, вставил ее в зубы.

— Оратель, ты человек запасливый, расщедрись на спичку!

Алешка даже не стал шарить по карманам. Сразу виновато пожал плечами: пустой, мол, не запасливый.

Хмель обвел глазами молодую, человек в шестьдесят ватагу.

— Кто богат на спички, откликнитесь!

Ни одного богатого не нашлось. Ни одна рука не поднялась. Зато все охотно засмеялись.

— Видал? Слыхал? Самые обыкновенные спички пропали из рабочей столицы, а ты золотом да се-

ребром хвастаешь. Целый месяц маемся без серников. Около огня да без огня. Допотопным способом добываем искру. Погляди!

Хмель достал кресало, осколок широкого напильника, белую веревку трута и увесистый кремль. Ловко высек огонь, прикурив цигарку, а тлеющий трут ткнул Алешке чуть ли не под самый нос.

— Что, товарищ рабочий, не нравится мой некультурный, крестьянский огонек? Правильно воротишь?

Не смущается Алешка, наоборот, подзадоривает:

— Давай, Хмель, давай!

— Помолчи, умный да сильный! Нас, слабых да глупых, послушай.

Чуть ли не каждое слово бедового, говорливого паренька покрывалось дружным артельным смехом. И Алешка смеялся. Да еще с удовольствием. Нравился ему Хмель.

— Если все, что наплел ты здесь о рабочем человеке, чистая правда, то кто же есть я, обыкновенный крестьянин? Пришей-кобыле-хвост? Снабжаю тебя, рабочую красу и гордость, хлебушком, а все-таки элемент, да еще мелкий. Меня не жалко выпотрошить, шкуру содрать и след растереть. Так? Сюды ты стреляешь, оратель?

Добредет от точки до точки и оглядывается на товарищей: хорошо отбрил, на ять или так себе?

Алешка серьезно, без всякого балагурства, сказал:

— Для тебя, Хмелек, есть другой выход, не такой страшный, как ты нарисовал.

— Какой? Подай его сюда!

— Здесь он, в твоих руках.

Хмель раскрыл ладони, посмотрел на них.

— Не вижу! Пустые.

— А я вижу, — сказал Алешка. — Иди на мой паровоз. Беру в помощники. Вот тебе и выход.

— Твоим помощником?.. На паровозе?.. Нашел чем пугать! Иду! Упреждаю: хоть я только один букварь осилил, но башка варит. Так что учи меня не абы как, а толково. Все премудрости на лету схвачу.

Хмель повернулся к уборщице.

— Тетенька, застилай мою постель!

— А еще кому помощник нужен? — спросил кто-то из ребят.

Все. Дело сделано. Сложили крылышки летуны. Шумят по-домашнему. Распаковываются. Засовывают под кровати сундуки, чувалы. Смеются.

А я выхожу на улицу.

Не заметили в бараке, как я появился. И как скрылся, тоже, наверное, не заметили.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Мужики, женщины, девушки, малорослые девчата, не вышедшие еще в невесты, хлопчики и девчонки пионерского возраста, бородачи, строители и нестроители трудятся на четвертой домне. Облепили ее бока по всей окружности, оседлали вершину. Кипит, гремит, звенит, поет, тархтит добровольная ударная работа.

Трудовой заем! Воскресник! Субботник!

Лихие молодцы, раскачиваясь на верхолазных люльках, безжалостно вгоняют в железные бока Домны Ивановны огненные ромашки и наглухо, на веки вечные заклепывают. Брызжут они искрами, stannoются багровыми, серо-буро-малиновыми и пре-

вращаются в сизые пуговки. Звездочетом надо быть, чтобы сосчитать все. Строчки и точки тянутся вертикально и горизонтально.

Бронзовые лица автогенщиков прикрыты рыцарскими, с темно-синим глазком забралами. В руках ярится, грозно гудит и свистит меч-резак. Голубое острие мягко входит в металл, чуть оплавляет, курчавит мережкой его разведенные края.

Кирпичных дел мастера перебрасывают с руки на руку звонкие, похожие на золотые слитки, заморские огнеупоры, способные выдержать тысячеградусную температуру, и старательно, на особый лад выкладывают утробу Домны Ивановны. Для того, чтобы светлее было работать, горят гроздьи тысячесвечовых ламп.

Сейчас, пока домна недостроена, пока внутренности ее доступны глазу, хорошо видно, какая это сложная, умная, дорогая и трудоемкая машина. Некоторые государства, даже большие, не могут соорудить на своей земле одну-разъединственную домну. Не по карману. А мы в одну пятилетку вот этиких сударышек чуть ли не целых два десятка отгрохали. В Сибири. На Урале. В Туле. В Донбассе, на Днепре и в Криворожье, на берегу реки Торец. Я знаю, как собственную ладонь, тот кусок нашей земли, где вырастают новые домны и где есть старые. Больше домнщик я, чем паровозник. В отца.

На всех стройках пятилетки, в Сибири и на Урале такое же творится, как сейчас у нас.

Воскресник!.. Трудовой заем!..

Для всеобщего веселья гремят медные трубы и бухают барабаны. Под звуки маршей и вальсов комсомольская и беспартийная молодежь нагружает тачки глиной, камнями, железным хламом и бегом, да еще вприпрыжку, носится по дощатым мосткам. Кто постарше и послабее, тащит стойки и доски, бывшие в употреблении, залитые цементным раствором, изгрызенные, потресканные. Ребятишки сгребают щепу, всякий горючий хлам и бросают в костры. Всем нашлась работа. Вкальваем от души, обливаясь потом, с криком, шутками прибаутками. Один другого подгоняем, и никому не обидно.

Бегая вслед за своей ходкой тачкой, соленым потом заливаю себе глаза и вдруг вижу того самого человека, который оставил в моей башке занозу.

Стоит он на отшибе, в одиночестве, всем видимый и всевидящий. Ноги широко, по-матросски, расставлены. Бугристые плечи обтянуты синей спецовкой. Голова запрокинута к небу. Правая рука, в которой зажата брезентовая рукавица, похожая на ухо слона, поднята и дирижирует оркестром, состоящим из одного машиниста подъемного крана. Он вознесен к черту на кулички, на верхотуру. Стеклояное его гнездо притулилось к громадной стреле. Оттуда ему хорошо виден дирижер.

— Майна! Майна! Майна!

Между небом и землей висит фигурно выгнутый, по талии домны, как полумесяц, рыжий стальной лист — одно из сотен звеньев, из которых собирается и склепывается домна. Майна! Майна! Железный лист вертится вокруг собственной оси и карабкается по невидимым воздушным ступенькам все дальше и дальше, уменьшается в размерах, теряет свою полутоннотную тяжесть, становится похожим на легкое птичье крыло. Тень его скользит по рельсам и шпалам, по железнодорожным платформам, по штабелю железных коржей, по раскроенным листам, ждущим своей очереди.

Слоновье ухо опускается, падает рука дирижера. Все! Подъем окончен. Первое звено нового яруса

встало ребром на свое постоянное место, и на него набросились верхолазы.

Завидую и машинисту крана, и дирижеру, и тем, кто вкальвает сейчас по соседству с небом. Переквалифицироваться, что ли, стать верхолазом? Строитель — здорово звучит! Строитель Магнитки! Строитель пятилетки! Строитель социализма! Строитель нового мира!

Мимо пробегает сварщик, красноносый, красноскулый, в брезентовой робе, в синих очках, поднятых на обгорелый лоб. Загораживая ему дорогу.

— Спичками не богат, земляк?

Действую наверняка. Человек, командующий молниями, запаслив на дефицитный огонь.

— Держи! — Он бросает мне коробок. — В обмен на закурку.

Протягиваю ему пачку толстых, душистых папирос, купленных в итэровском распределителе.

Вот и перекур устроили.

— Кто это? — спрашиваю я.

Сварщик смотрит в ту сторону, куда я указал, — на сивоголового.

— Родион Ильич Атаманычев.

— Атаманычев? — чуть не вскрикнув, переспросил я.

— Чего всполошился?

— Так... Вместе с его сыном работаем на горячих путях. Что же, прораб он, Родион Ильич?

— Бригадир.

— Только и всего?

Мои слова почему-то задели сварщика. Разгорячился красноносый:

— Бригадир бригадир рознь. Один собой не умеет командовать, а другому и армию можно доверить... Строжится Родион в работе больше начальников, но никто на него не в обиде. Справедливый. Дело свое до тонкостей знает. Мастер! За что ни возьмется, на загляденье сработает. Около такого бригадира и дурак таланта набирается. Наша бригада каждый месяц на почетной доске красуется, верхом на аэроплане.

Сварщик докурил папиросу и побежал дальше.

Талант! Мастер на все руки! Строгий и справедливый! Ну и ну!

Гоняю тачку и во все глаза смотрю на Атаманычева. Куда он, туда и мой взгляд. Вроде бы намагничена его богатырская фигура. Разговаривает скупко, внятно: сделай то, убери это, помоги тому, — смотрит на каждого вроде бы свысока, а все охотно выполняют его волю.

— Здравствуй, Шурик. И ты здесь! Никуда от тебя не укроешься.

Ася!.. Голосистая девка. И цыганским табором не сет от нее. Не я ее нашел, она пробилась к моему рабочему месту и надо мной же издевается. Расфуфырена, горит и сверкает. Юбка колоколом, цветастая: желтое по черному. Кофточка пышная, в черных и красных розах. Голова повязана косынкой. В ушах раскачиваются и позванивают дутые золотистые колесики. Оторви да брось, а не девка. Пришла на работу, кайло в руках, а разрядилась, как на праздник.

— Шурик, с тобой здороваются, а ты молчишь. Заработался? Или размечтался? Здравствуй!

Ее ладони больно и звонко шлепают меня по голый спине. Искры посыпались из глаз. Вижу, но не слышу, как смеется Ася.

Если б не соседи, работающие бок о бок с нами, дал бы я ей сдачу!..

Навалил тачку, подхватил и побежал к платформе. Думал, отвязался от настырливой девахи. Вернулся, а она долбит глину кайлом, готовит для меня груз. Пришлось брать. Ничего! Отработаю положенное время — и до свидания, случайный напарник!

Туда и сюда резво бегаю. Жарко стало. Вспотел. Ася сорвала косынку и вытерла меня, как маленького, — спину и грудь.

— Прошибло белолагу. Перестарался. Сберегай силы. До захода солнца еще далеко.

До того осмелела, что и мокрую мою голову осушила, вдобавок еще и причесала своей гребенкой.

Стыжусь настырливой няньки, злобствую на нее, а не сопротивляюсь. Некогда. Она около меня вертится, а я с Атаманычева глаз не спускаю.

Талант! Справедливый! Уважаемый мужик!

— Здорово, батя! — пропела за моей спиной Ася.

Ну и переплет! С изумлением смотрю на свою напарницу.

— И ты Атаманычева?! Дочка? Сестра Алексея? Чудно!

— Чего ж тут дивного? Сыновей и дочерей не имею, холостая, а вот насчет брата... Слыхал, Шурик? Холостая, говорю, для ухажера доступная.

— Ася, зачем ты грязь себе в лицо бросаешь?

— Цену сбиваю. Ширпотреб! Бери задешево, не оглядывайся.

Опять в цыганщину ударила, балабошка.

К нам подходит Атаманычев. Стоит между мной и Асей. Смотрит то на нее, то на меня, откровенно соединяет нас взглядом. Ясно, о чем он думает. В небо пальцем попал.

— Здравствуйте... человек! — говорю я.

Родион Ильич пренебрежительно кивает в мою сторону, спрашивает у дочери:

— Твой новый ухажер?

— Не выдумывай! Ни старых, ни новых ухажеров не имею.

— А кто ж это?

— Голота! Ударник среди ударников. Краса и гордость горячих путей. Машинист Двадчатки. Музейная редкость.

— Брось трепаться, Аська! — сказал я с досадой.

Толстые губы Атаманычева раздвинулись в усмешке — блеснули два серпика с крупными и острыми зубами.

— Да знаю я его! Смотри-ка, он еще не разучился стыдиться! Не безнадежный, значит. — Придирчиво осмотрел меня с ног до головы. — Вроде живой.

— Живой! — со смехом подхватил я. — Не люблю, чтобы меня варили живым.

Не выдержал и Атаманычев, тоже засмеялся.

— Правильно! Назад только раки пятаются.

С такими мудреными словами и отошел Родион Ильич. Вот и пойми, кто он тебе, друг или недруг. Что хочешь, думай — Атаманычеву наплевать.

Недостроенная домна отбрасывает длинную тень. Солнце миновало свою вершину и катится вниз, прямо на синие зубцы отрогов Уральского хребта. Жара спала. Посвежело. Музыканты из последних сил дуют в трубы. Песен не слышно, и смех заглух. Добровольцы расслабленно машут лопатами и заступами.

В самый раз прозвучал гудок. Шабаш! Кончился мой первый заемный трудовень. Осталось девять.

Хорошо бы теперь освежиться в озере, смыть засохшую соль.

Ася, красная, распаренная, взмахивает руками, поправляет пыльные волосы, разделенные строгой проточной. Кофточка, обсыпанная розами, почернела под мышками, источает едкий пот.

— Фу, изопрела! Шурик, побежим на озеро, искупаемся!

Обхватывает мою талию, тащит за собой. Кавалером себя считает, а меня барышней. Ну и ну! Вот бы Ленка посмотрела!..

Осторожно отвожу ее руку.

— Не по дороге нам, Асенька!

— Ладно, валяй, без тебя искупаюсь!

Отталкивает меня и уходит, размахивая косынкой впереди себя, поперек хода. Воздух рубит. Попадись такой под горячую руку, без головы останешься.

Я с облегчением вздыхаю и бегу домой, к Ленке, к ее мятным губам.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

С ижу на том месте, куда выставляют горшки с цветами, на широченном подоконнике, с «Казачками» в руках. Одним глазом заглядываю в книгу, другим постреливаю на Магнитку. Хорошо она сейчас, облитая свежим утренним светом. Сияют круглые башни кауперов, окрашенные черным лаком. Все дымы над заводскими трубами развеваются золотыми гривами. И в душе моей сплошное сияние и золото.

Теплая лапа солнца гладит левую щеку, плечо и бок, нагревает страницы книги так, что они вот-вот вспыхнут. Хорошо! Куда ни посмотрю, что ни послушаю — все хорошо, дальше некуда. Внизу, под окном, в скверике, хохочут, заливаются, визжат, вопят малыши, ровесники Магнитки. Какая-то звонкоголосая девчушка пропела-прокричала вперемежку со смехом: «Будем как солнце! Будем как солнце! Не прибедайся, миленькая! Ты уже как солнце. И я тоже. И Магнитка! И вся наша земля. И люди.

Сияет красный самородок, извлеченный из темных и жестоких недр капитализма. Всего лишь одну шестую часть мира составляем мы, но светлее и вольнее стало на всем земном шаре с тех пор, как взойшло солнце Октября, с тех пор, как на Тихом океане мы закончили поход, сбросив в него последних интервентов, с тех пор, как заложили фундамент Магнитки и пятилетки.

Хорошо!

Хорошо оттого, что на небе нет ни одного облачка. Хорошо, что щебечут дети. Хорошо, что понимаю моего сверстника Оленина, хотя и жил он в прошлом веке, в другой эпохе. Понимаю, но не разделяю его «странное чувство беспричинного счастья и любви ко всему». Мое счастье не беспричинное. Я знаю, что и кого люблю. Каждая моя жилочка налита силой, требует выхода. Никому не завидую. Ничего не боюсь. Вчера жил хорошо. Сегодня живу лучше, чем вчера. Завтрашнего дня жду с нетерпением.

Лучшая пора моей жизни! А сколько прекрасного еще впереди!

С улицы доносится крик ребятишек:

— Буржуй приехал, буржуй!..

Да, есть и такие в социалистической Магнитке: американские и немецкие инженеры — проектировщики, монтажники, консультанты, бизнесмены, представители фирм Мак-Ки, Демаг и прочие. Одни приезжают, другие уезжают, третьи прочно сидят на месте. Живут, как и полагаются заморским специалистам, на особом положении: в коттеджах, на отлете, вдали от пыли и строительного грохота, в



Березках. Имеют особую столовую. Отовариваются в магазине Торгсина, где только птичьего молока нет. Одеты, обуты, сгущены, накрахмалены и пропитаны пахучими сигарами и духами так, что даже ребятишкам выдают свое нездешнее происхождение.

Внизу, под моим окном сверкает черный «форд», окруженный ватагой ребятишек. Распахивается дверца, и выходит человек в шляпе, в сером костюме, в черных начищенных ботинках. Коричневая от загара шея стиснута белоснежным воротничком. Какой же это буржуй? Гарбуз! Наш, мужик, рабоче-крестьянских да еще большевистских кровей. Оболочка на нем только американская. Два года набирался опыта в Америке, на металлургических заводах, неподалеку от знаменитого озера Мичиган. Один из первых советских инженеров. Вступил в партию, когда меня еще на свете не было. Персонально Владимиром Ильичем Лениным рекомендован в ЦКК.

Ребятишки окружили «буржуя» и его роскошную машину, запричитали на все голоса:

— Дяденька, покатай!

— Хоть немножко, вон до того угла!

— В другой раз, ребята. Гуляйте!

Вприпрыжку спускаюсь с этажа на этаж по гулкой прохладной лестнице, выбегаю на улицу к сияющему «форду». Эх, порулить бы! Даст или не даст?

— Здравствуйте, Степан Иванович!

Он молчит, положив темные мозолистые ладони на собачью морду своей самшитовой палки, грызет трубку золотыми зубами и тревожно-вопросительно разглядывает меня. Будто не узнает.

— Здравствуйте, Степан Иванович! — повторяю я.

— Кто это? Голос как будто знакомый. Ты или не ты, Саня?

Степан Иванович — человек серьезный, а сейчас рвется в веселый бой и меня вызывает. Что ж, могу. Чего доброго, а веселья во мне хоть отбавляй.

Стараясь не рассмеяться раньше времени, говорю:

— Минуту назад был Голотой, а теперь засомневался, я это или не я.

И улыбаюсь во весь рот. С превеликим удовольствием. Улыбаюсь приветливо. Улыбаюсь сердечно. Улыбаюсь от всей души. Всю нежность, всю радость выкладываю.

Степан Иванович не откликается. Сурово смотрит на меня и спрашивает:

— Значит, это ты? Не подменный?

— Я, Степан Иванович! Не отказываюсь от себя.

— Поздно, брат, спохватился! Сам себя перерос.

Нечего мне сказать в ответ на такие слова. Пусть поговорит, а я послушаю.

— На всю высоту вымахал. Подниматься дальше некуда: в звездный потолок уперся.

Ну вот, самое время засмеяться! Давай, Степан Иванович, растягивай губы, веселись! Не хочет. Серьезно шутит.

— Как же теперь будешь выкручиваться? Высшего образования не имеешь, первокурсник, а уже в бессмертные академики зачислен. Живешь на подступах к бесклассовому обществу, в пережитках вьешься, а выдал вексель быть идеальным, без сучка и задоринки человеком. Все с родимыми пятнами, а ты один чистенький. Ну и торба! Дотянешь? Не надорвешься?

— Не сам я взвалил на себя эту торбу, — говорю я. — Не хотел. Уговорили.

— «Вороне где-то бог послал кусочек сыру!..» Так?

— Почти так, — засмеялся я. — Степан Иванович, давайте вместе подумаем, как выбраться Голоте из музея.

— Трудное это дело! — тяжело вздыхает Гарбуз, а сам сияет улыбкой. Доволен моими словами. — Быбочкин крепко вцепился в тебя, не отпустит героя.

— А что, если я напысь, разобью окна в кинотеатре «Магнит»? После этого не станут церемониться с «исторической личностью».

Гарбуз оглянулся по сторонам и сказал:

— Тряхни-ка лучше стариной: взломай окошко, обворуй музейную малину. Никому и в голову не придет, что это твоих рук дело. Здорово? Дельный совет! Вся проблема будет решена одним ударом. — И он расхохотался. — Будем считать, что я дурака валял. Переключаюсь на серьезную волну... Хочу поговорить с тобой, Саня. Поедем ко мне. Я один дома. Мои на утреннике в цирке. Потолкуем в тишине.

— А порулить можно?

— Давай!

Не первый раз держу баранку, а все никак не привыкну. Хорошо на правом крыле Двадцатки, а за рулем автомобиля куда лучше!

Шуршат на асфальте шины. Сияет никель фар. Солнце отражается в зеркалах, вваренных прямо в крылья. Наигрывает, заливается трехголосый клаксон. Тормоза, чуть тронь ногой, намертво стопорят. Еду нарочито медленно. Часто сигналю. Пусть прохожие полкуются заморским самокатом, а заодно и ловким водителем. Жаль, Ленка не видит, как я распекаю пространство.

Коротка прямая дорога в Березки. Быстро, всего через несколько минут будем там. Не успею насладиться, только раззадорю себя. Хочется продлить путь хотя бы на пару километров. Спрашиваю Гарбуза, можно махнуть к нему домой вокруг света, по кольцевым дорогам строительной площадки — по нашим главным улицам. Он усмехается, кивает: давай, мол, задавака, отводи душу.

Лучше бы я поехал прямо в Березки. На рожон попер, все испортил.

В самом центре завода, рядом с блюмингом, мы затормозили перед шлагбаумом. Стоим, ждем, пока маневровый паровоз освободит переезд, по привычке оглядываемся вокруг и видим, как неподалеку от нас, на глазах, как говорится, у всего честного народа, совершается злодеяние.

После дождей на участке бригады бетонщиков образовалась громадная лужа. Вместо того, чтобы отвести воду в канаву, осушить болото дешевым способом, бригадир бетонщиков, кудлатый парень с бородой зверолова, швырнул в лужу несколько полных мешков с цементом и накрыл их досками. Пожалуйста, гать готова, удобства завоеваны! Дорогая цена! Ничего, государство богатое, не разорится.

Степан Иванович выскочил из машины, закричал:

— Что же вы делаете?.. Варвары! Безобразие!

— Где? Что? — изумился кудлатый. — Про чего вы говорите, товарищ начальник?

— Свой же труд губите! Разбазариваете, втаптываете в грязь цемент. Его доставили с другого конца земли, а вы... На вес золота у нас цемент. Варвары!.. Кудлатый парень выругался с лютой ненавистью.

— Пошел ты, дядя!.. Ишь, какой сердобольный! Камень пожалел. Меня, человека, пожалей! Человека! Меня разбазаривают налево и направо: поселили в клопином бараке, на трехэтажных нарах, кормят кое-как, денег дают мало, а вычетов делают много, работать заставляют по-ударному, унывать и жаловаться не позволяют. Одно-разьединственное право

имею — проявлять энтузиазм. Куда денешься? Приходится проявлять.

Он поскреб нечесаную, седую от цементной пыли бороду, спросил с издевкой:

— Ну, чего ты молчишь, дядя? Воспитывай! Или язык втянуло?

Ну и живоглоти! Да я бы за такие слова морду ему набил и к позорному столбу пригвоздил. А Гарбуз молча проглотил бешеную речь разбойника с большой дороги. Действительно, втянуло. Размахался лихо, а как надо было садануть по кумполу, рука отсохла.

Припадая на правую ногу, постукивая палкой о землю, будто слепой, он понуро, как побитый, возвращается в машину.

— Слыхал, Саня?.. Намотал на ус? Грозный голос народа.

— Да какой это народ? Босота сезонная. Рвач первой гильдии. Один из тех, кто живет по принципу «после меня хоть потоп».

— Не спеши приговаривать. Поехали, нагулялись!

С трудом разворачиваюсь на асфальтовом пятачке и беру курс назад, на Березки. Отмалчиваюсь. Избегаю смотреть на Гарбуза. Первый раз вижу его таким беспомощным. Перед кем опустил глаза?.. Перед кем онемел? Что стряслось с моим другом?

Пропало удовольствие рулить. Еле доплелся в Березки. Поставили машину в тень. Вошли в дом.

— Располагайся, Саня, поудобнее и набирайся терпения.

Степан Иванович сел за стол, достал свои доспехи заядлого курильщика и на добрые две или три минуты забыл обо мне.

Вот и хорошо. Передохну. Сажу на диване и с удовольствием в сотый раз оглядываю тесный, в два окна, рабочий кабинет Гарбуза... Сизый ноздреватый ком — самый первый кокс первых батарей Коксохима. Рыже-фиолетовый осколок руды — самая первая добыча горняков Магнит-горы. Массивная чушка с торжественным оттиском — самый первый чугун Магнитки. Образцы мрамора, кварцита, огнеупорных глин, известняка, доломита, порфира, диабаз, серого и розового гранита, черного атакита — все, что содержат горы, окружающие нашу долину реки Урал. Бивни мамонта, рог древнего быка-тура, найденные когда-то в рудных забоях. Кипы американских, английских, немецких журналов, газет, бюллетеней, технических справочников. И книги, книги, книги на всех языках. Уйма всяких книг. Счастливый человек Гарбуз. Протянет руку — и к его услугам любая, самая редкая книга. Давний он книголюб. В его хранилище есть пожелтевшие от времени тома, изданные чуть ли не сто лет назад, прочитанные в тюрьме. Гарбуз вместе с Серго Орджоникидзе сидел в казематах Шлиссельбургской крепости и вместе с ним изучал «Первобытную культуру», «Древний мир», «Древний Восток и эгейскую культуру», «Очерки истории Римской империи», «Средние века», «Историю Европы», «Историю Соединенных Штатов». В неволе, в тюрьме Серго и Гарбуз начали восхождение к вершине мировой культуры. Как же мы должны учиться! Сколько мы зря времени теряем! Коммунистом сможет стать лишь тот, кто освоит все культурное наследие прошлого.

Степан Иванович в последний раз пыхнул дымом, положил трубку в чугунное лошадиное копыто и сурово взглянул на меня. Это его особенность — пристально, пылливо всматриваться в каждого человека: кто ты, откуда, можно ли взять тебя спутником в дальнюю дорогу? Давно знает меня, а все

вглядывается, все не решил окончательно, стоящий я или нестоящий.

— Так вот, Саня... Хочу посоветоваться с тобой по тому самому вопросу, который невзначай поднял на блюминге бетонщик. Опередил!.. Варвар он, конечно, но и мы хороши...

Я с недоумением смотрел на Гарбуза.

— Владимир Ильич говорил и писал, что коммунизм в конечном счете — более высокая производительность труда, чем при капитализме. В этих словах выражена задача целой эпохи. Свободный рабочий человек должен строить новые города, заводы и фабрики дешево, быстро и хорошо. Только так. Иначе он не станет хозяином своей судьбы, не создаст социалистического государства. Государство — это мы. Государство — это ты, твои талантливые мозолистые руки, твоя умная голова, твое горячее сердце. Побеждай не числом, а умением. Там, где Тит Титыч вкладывал рубль, обходишься гривенником, а то и копейкой! Не стыдись быть жестоко экономным. Вешай на фонарном столбе расточителей народного добра как изменников делу революции! Посылай чистить нужники прораба, директора и наркома, если они не бережливы, не умеют накормить, одеть народ, создать для него нормальные условия для труда и жизни. Бей по рукам всякого, кто хвастается за семь дел и ни одного неводит до конца, кто рвется в будущее, задрав наскипидаренный бахвальством хвост, и не видит безобразий вокруг себя... Вот что мне слышится в завещании Ленина!.. И вот чего пока нет в Магнитке. Да не только в Магнитке...

Гарбуз распалился, будто попал на трибуну. А меня гложет мысль о Ленке. Она работает, а я гуляю.

— Саня, ты меня слушаешь?

— Да, Степан Иванович.

— Дорогие, баснословно дорогие мы работники. Если бы мы построили Магнитку в Сахаре и таскали чугун на верблюдах в Россию, даже в этом случае он обходился бы нам дешевле, чем теперь. Одну тонну цемента мы пускаем в дело, а другую — на ветер. Один дом воздвигаем, а другой затаптываем в грязь, в землю, в бездорожье. Отгрохали ударными темпами лучшие в мире домны, мартены, блюминги, но и породили горы битого кирпича, стекла, ржавого железа, изуродованного оборудования, машин и целых агрегатов, оплаченных золотом. Вот тебе и великие строители!.. К черту на рога может завести нас несбереженная советская копейка! Пора взяться за ум, пока не поздно, говорил Владимир Ильич. Делать меньше, да лучше! Надо во весь голос сказать себе правду, уяснить и объяснить, в чем главная сегодняшняя наша беда, посоветоваться с народом, как ее перешагнуть и как двигаться дальше. — Гарбуз остановился, посмотрел на меня. — Вот обо всем этом я написал Серго.

Гарбуз протянул руку к книжной полке, взял темно-красный томик, нашел нужную страницу, медленно и внятно, словно проверяя на слух строки Ленина, прочитал:

— «Надо во-время взяться за ум. Надо проникнуться спасительным недоверием к скоропалительно быстрому движению вперед, ко всякому хвостовству и т. д., надо задуматься над проверкой тех шагов вперед, которые мы ежедневно провозглашаем, ежеминутно делаем и потом ежесекундно доказываем их непрочность, несолидность и непонятность. Вреднее всего здесь было бы спешить. Вред-

¹ Сейчас магнитогорцы и по росту производительности труда и по снижению себестоимости металла занимают одно из первых мест в мире. (Примечание автора.)

нее всего было бы полагаться на то, что мы хоть что-нибудь знаем...»

Поднял очки на лоб и посмотрел на меня, как бы спрашивая: все ли я понял, не следует ли повторить?

Что за человечье — Ленин! На самые трудные вопросы жизни находят люди ответ в его книгах. Источник мудрости. Лучший советчик! Друг!

— Это — последнее завещание Ленина, оставленное партии, народу, нам с тобой, Голота. Ни слова на веру, ни слова против совести!.. С этих позиций я написал письмо Серго. Совесть, что мы дорого строим свое настоящее и будущее. Совесть, что создатели мирового титана до сих пор живут в бараках, работают много, а едят пайковый, тяжелый, как глина, хлеб, плохо обути, плохо одеты. Совесть, что мы не говорим всей правды о наших промахах. Совесть, что выдаем желаемое за действительность, чересчур похваливаемся успехами, настоящими и мнимыми.

Гарбуз говорил о важных государственных делах, а смотрел на меня так пристально, так пылливо, будто речь шла только обо мне, о моей вере, о моей совести. Странно!

Он достал из ящика стола незапечатанный конверт.

— Прочти!

Письмо наркому, народному любимцу Серго!.. Ни единого слова о наших успехах. Только о недостатках твердит. Мне стало не по себе. Хочет или не хочет Гарбуз, но он покушается на авторитет замечательного командира всех нашихстроек, заводов, шахт. Разве нарком не знает, что делается в Магнитке? Разве там, где рубят большой лес, не летят щепки? Разве только одному Степану Ивановичу известны слова Ленина о совести и вере?

— Ну как? — спросил Гарбуз.

Что я могу сказать моему старому другу, моему крестному отцу?.. Наверное, я не так, как надо, понял его. Куда мне поспеть за ним! Я только вступил в партию, только-только начал приобщаться к большевизму, а он еще до революции был членом губернского подпольного комитета, руководил боевыми дружинами в Макеевке, Юзовке, поднимал на забастовку шахтеров, создавал Советскую власть в Донбассе, командовал в гражданскую войну бронепоездом «Донецкий пролетарий», а я был его приемным, красноармейским сыном. Нет, тут и думать нечего: он не может ошибаться.

— Ну, как? — допытывается Гарбуз. — Что не нравится?

— Вроде все правильно, — говорю я неуверенно и смущенно улыбаясь.

— А я думал, ты присоединишься к моим противникам.

— У вас есть противники?

— И немало. Даже и в горьком: Быбочкин и Губарь. Пытался я вместе с ними ополчиться на наши беды — и остался в одиночестве. Не желают видеть бревна в собственном глазу. Принюхались к дурному аромату. Пришлось предупредить, что буду к наркому стучаться. И это не понравилось моим коллегам. Изо всех сил отговаривали. Дерзко, мол, с критиканских позиций насканиваю на великую стройку пятилетки, на весь рабочий класс и на самого Серго, члена Политбюро. Назойливо, дескать, талдычу о том, что всем давно известно. «Притягиваю за уши» ленинские цитаты. В общем, пугали здорово.

— Не может быть! — говорю я, а сам чувствую, краснею. Стыдно мне стало. Невольно и я попал в компанию трусов. Большевики никогда не боялись говорить правды и не гневались на правду.

— Факт! — Гарбуз шумно хлопает ладонью по столу. — Кого пугают? Я не боялся против царя выступать, против всей Российской империи с ее жандармами, тюрьмами, виселицами. Почему же я должен бояться народного комиссара? Это мой долг — поделиться с ним мыслями.

Гарбуз долго еще метался по кабинету, гремел, возмущался...

Много прекрасных слов произнесено и написано людьми от Гомера до Ленина. Более чем достаточно, чтобы человечество поумнело. Если бы все мудрое, что мы слышим, что сами порой изрекаем, западало нам в душу! Коротка, недолговечна, а порой и дырява наша память.

Прямо из Березок я побежал к Ленке. Сидит она в своем железном кресле вольно, с опущенными руками, с расслабленными мускулами. Будто в парке культуры и отдыха. Праздничный рубиновый свет доменного светофора освещает ее. Этот сигнал загорается, когда печь загружена шихтой, а скип не работает, поставлен на предохранительный тормоз.

Ленка вскочила, рванулась мне навстречу, обняла и сейчас же оттолкнула.

— Чего припелся? Сидел бы дома, читал, писал...

Совсем не то говорят ее сияющие глаза.

Расчудесная ты деваха, Ленка! Ослепительно смеешься. Сверкаешь золотой головой! Смотрю и насмотреться не могу. Неужели она любит меня? Не верю своему счастью.

Часть II

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Одна за другой таяли звезды, светлело и алело небо, запели птицы, сначала вразброд, тихо, где-то под ковыльной горой, потом ближе, громко, хором.

Ленка натягивает на колени помятое платье, приглаживает взлохмаченные волосы, шепчет:

— Пора, Саня. Вставай!

Радость ты моя! Сколько дней и ночей смотрю на тебя и все никак не нагляжусь!

Я раскинул руки, схватил Ленку, прижал к себе.

— Не дурачься, Саня! Нема часу. Скоро ахнет гудок. Вставай, замурзанный, причупырьсы!

Она сгребла с травы холодную крупную росу и, смеясь, освежила мне щеки, промыла глаза.

— Вот теперь другое дело. Засиял, как Иван-царевич! — Прохладные, душистые, будто натертые горной мятой, губы ее прикоснулись к моим губам.

Кончилась еще одна наша медовая ночь, одна из тысяч отведенных нам.

Я вскочил, затянул на последнюю дырку ремень, туго перехватил отощавший живот, чмокнул Ленку в щеку.

Попрощался, а не спешу уходить. Пусть она первая исчезнет.

Ленка осторожно переступает по травянистой мокрой круче. Аккуратно поставит ногу на землю, глянет на меня через плечо, вспыхнет и плывет дальше.

Там, где она проходит, трава становится изумрудно-зеленой.

Длинной-предлинной стала тропа, проложенная Ленкой на ковыльной целине горного склона. А я все еще стою, провожаю ее взглядом. Улыбаюсь, а на сердце немилосердная боль, тоска. Ни с того,

ни с сего вспомнились страшные слова, признание Ленки: «Саня, я должна тебе сказать... Любила я одного человека, а он...» Чего не договорила? Обманул он ее? Унизил? Все хочу знать о любимой.

Смотрю вслед Ленке, и мне кажется, что она уходит от меня далеко-далеко, откуда не возвращаются. Ну и ну!

Ненадолго попал под каблук хандры. Не угрызла! Ничем не поживилась. Была и нет. Не верю ни в какие предчувствия! Видали мы всякое!

Нагибаюсь, трогаю темную траву, где прошла Ленка, и прикладываю ладонь к губам. Люблю такую, какая есть. Кто-то унизил, а я возвышаю.

Ленка спустилась с горы. А я, увлекая за собой камешки, траву, капли росы, устремляюсь в другую сторону.

От подножия заводских труб, из мира котлованов, траншей, стальных каркасов, бетонных блоков, машин, паровозов, опорных плит, электрических моторов летят мне навстречу добрые звуки гудка.

А провожает меня веселая пушечная пальба. Идут взрывные работы на Магнитной горе. Шумливый, озорной народ наши горняки. Работают так, что на всю округу видно и слышно. Бах! Бах!! Бах!!! Над ступенчатыми рудными забоями поднимаются коричнево-жемчужные шары динамитного дыма и рудной пыли. Тут же, не успев я перевести дыхание, эти облака, пронзенные лучами утреннего солнца, становятся рыжими, потом золотыми, потом красными.

Мчусь в гам и гул, в марсианское гудение воздухоудки, в голубые сполохи электросварочных молний, в грохот автоматов, склепывающих гигантские кожухи будущей домны, в африканскую жару чужинной плавки.

Кто поверит, глядя на бегущего парня в парусиновых туфлях, мокрых от росы, в сине-красной козбойке, что он в своем уме? Да, обезумел. От молодости, от силы, от радости. Всем умникам желаю такого безумия.

Забрели мы с Ленкой на гору незначай. Думали, погуляем час-другой, полюбуемся огнями и спустимся вниз. Присели на минутку и засиделись.

Ветреные мы люди. Этой зимой, в последний день декабря, мы встали на лыжи, взяли пайковый харч и понеслись в горы, к Уральскому хребту, поближе к небу. Забрели в дебри, где и медведь редко бывает, облюбовали на корню елочку с разлапистыми ветвями, украсили ее церковными свечами, клочьями ваты, разноцветными бумажками, разожгли жаркий костер и славно встретили Новый год.

Медовой юности все по плечу. Бегай, пока бегаешь! Люби, пока любишь! Куй железо, пока оно белым-бело, пока молот в руке кажется легче пушинки.

Гудит гудок. И я на свой язык перевожу его гул. Пора, рабочий человек! Трудись! Мир после трудов твоих станет богаче, а сам ты — красивым и гордым.

И многое другое слышу и угадываю в утреннем гудке Магнитки.

Я был безумно счастлив. Не меньше, чем Василь, созданный кинорежиссером Довженко...

...Шел белой ночью по деревне хлопец не в своем уме. Только-только с любимой расстался. Тишина вокруг. Замерли тополя. В чистом небе стыла луна. Все молчало, а парубок слышал музыку. Улыбнулся, ударил об землю каблуком и пошел... Закружился в хмельном танце первый парень на деревне, тракторист. Задымилась пыль в проулке. Ожила и понеслась веселая луна. Гомонили тополя. И тут плюнул пулю кулацкий обрез. Удивился Василь, упал и навсегда закрыл свои молодые очи.

Хоронили моего ровесника солнечным днем. Бурлило на ветру пшеничное поле. Подсолнухи поворачивали к Василью свои золотые умные головы. Ветви яблонь прощально трогали его лицо, на котором застыло удивление.

Сердце мое разрывалось. Я плакал, когда смотрел фильм «Земля», и ликовал, и не стыдился ни слез, ни радости.

Буду жить, как жил Василь! Хочу, чтобы в мою сторону, как подсолнухи к солнцу, поворачивались люди.

Гудок замер, а я все еще слышу его, он все еще звучит во мне, заставляет бежать, кружиться в танце.

Нескончаем мой хмельной, сумасбродный жизненный танец! Не найдет меня вражья пуля!

Взбираюсь на паровоз. Стоксовался я по нем за сорок восемь часов разлуки. Мы, паровозники, работаем по двенадцать часов в смену. После дневной упряжки отдыхаем всего полсуток, а после ночной — двое.

Двадцатка вибрирует всем своим железом — работает насос, нагнетающий сжатый воздух в тормозные резервуары. Но я воспринимаю это как радость живого существа: пришел наконец, долгожданный, поработаем вволю!

Кладу руку на реверс, как бы успокаивая машину.

Раскрытая толпа пышет белым жаром. Журчит, глотая кубометры воды, инжектор. Ворох обтирочной пакли источает дух конопляных зерен. Черные усики манометра рвутся к опасной красной черте и, приблизившись к ней, теряют ретивость, топчутся на месте: и хочется проникнуть в неведомое и колет. В толстом матовом стекле опускается и поднимается контрольный уровень воды. Блестит рычаг, отполированный ладонями машинистов. Сияют массивная рукоятка тормозного крана и зубья реверса. Желтеет кожа на откидном сиденье машиниста. Пол только что выметен и помыт. Пахнет свежей краской: колеса паровоза обновлены белилами, а червонный поясик на тендере — киноварью. Славно!

— Ну, порядок! — говорю я своему напарнику и крепко жму ему руку. Здравуюсь и прощаюсь одновременно.

Смена принята. Так теперь повелось: не трачу времени на приемку машины. Сразу увижу, если что-нибудь неладное случилось.

Куда сегодня пошлю? Будем таскать строительные грузы? Или вознесемся по крутой спирали на Магнит-гору, станем на время рудовозами?

Помчимся туда, куда дадут маршрут. Но лучше будет все-таки, если останемся здесь. Люблю я вкалывать на горячих. Ничего не поделаешь: наследственность!

— Эй, механик, радуйся! — крикнул составитель.

Я отодвинул окно, выглянул. Около будки стрелочницы стоял развеселый, будто на взводе, мой новый составитель Колька, мшистый сморчок: белые брови, белые ресницы, белый пух на щеках и подбородке, белые шелковые волосы. Везет мне на добрых рабочих спутников.

Неподалеку от него, оголив колено, сидела стрелочница Ася. Рядом с Колькой она выглядела жарптицей. На ней пестрое, красно-черно-зеленое, с пышными оборками платье и платок в радужных разводах.

Расселась на крылечке будки, словно на воскресной завалинке, и мурлычет частушки.

На стрелочницу я взглянул строго, а составителю улыбнулся.

— Здорово, Николай Батькович! Чему я должен радоваться?

— Как же! Всю упряжку будем вышибать длинные рубли на горячих.

— Подумаешь, причина! Меня и короткий обрадует.

— Ну, а я не такой сознательный и передовой, как ты, радуюсь только длинному рублишке.

Подшучиваем друг над другом, но знаем, что есть доля правды в наших словах. Кольке всерьез не нравится, что я не умею воевать с движущимися за выгодную работу. Хочется ему получать побольше: старенькие отец и мать на иждивении.

— Велено нам пока, до плавки, отдыхать, — сообщает Колька. — Вслед за Шестеркой начнем таскать чугуны. Жди. Загорай!

— Поеду на экипировку. Можно?

— Валей! — отмахивается составитель. — Ищи меня под крылышком вот этой крали.

Колька обнял Асю. Она неторопливо сбросила со своего плеча не шибко смелую руку и не сердито, а так, будто между прочим, проговорила:

— Не про вас эта краля. Таким пентюхам она не подвластна. Подавай пару под мою масть! Какого-нибудь Ивана-королевича!

Я засмеялся. Молодец девка, дала сдачу ухажеру.

— А чего ты регочешь? — удивилась Ася.

— Правильно, Ася, — сказал я. — Не сдавайся! Придет он, твой Иван-королевич, жди!

— И дождусь! Но только не тебя. — Она усмехнулась, ударила желтым флажком по ладони. — И такие, как ты, не про нас заготовлены. Хлипкий студент! Интеллигенция! Деликатес! На один зубок, во временное пользование годен. Полюбил, приглубил, червяка заморил — и катись своей дорогой.

— Извиняй, Ася, — проговорил я как можно мягче, — если я чего не так сказал.

— Не за что. Все сказал, как надо.

Я отошел от окна и сейчас же выкинул Асю из головы.

Временный склад, на котором заправляются всем необходимым паровозы, расположен на пустыре. Через несколько лет здесь поднимется седьмая или восьмая домна. Теперь чернеют кучи угля, железные бочки и рундуки со смазочными и обтирочными материалами.

Уголь подавали на паровоз в громадной бадье, подвешенной к железному рычагу, похожему на колесный журавль. Первая бадья попала точно в цель — в угольный люк. Вторая не дотянулась: на секунду раньше сработали запорные шарниры — и тридцать пудов угля, кускового, мелкого ореха и введливой, как порох, летучей пыли, обрушились на Двадцатку. Белоногая, с красным пояском на тендере, свежепокрашенная красавица сразу стала чумазой, старой.

Где ты, моя добрая улыбка? Улетела за тридевять земель. И следа не осталось от хорошего настроения. Черный туман, наверное, бушевал в моем взгляде, когда я соскочил на землю и подбежал к грузчику Тарасу, тому самому, моему бывшему помощнику, беглецу, трусу.

— Что ты наделал, балда? — иступленно закричал я, сжимая кулаки.

Здоровенный хлопец с чубчиком на стриженной крупной голове, преспокойно ухмылялся.

— А что тут особенного? Вылижешь. Язык у тебя длиннющий, аршин с гаком, привычный до лизоблюдного дела.

Ясно! И бадья опрокинулась намеренно, и обидные слова обдуманы на досуге. Не случайно он тогда, во время урагана, дезертировал. Тип! Элемент! Один из тех бешеных карликов, которые пытаются помешать родом Магнитки: поджигают склады с лесоматериалами, подсыпают песок в машины, бросают

костыли в шестерни, замыкают «на себя» генераторы. Надоело действовать втихую, ночью, в глухом углу и теперь замахнулись среди бела дня на Двадцатку. Так вот какой он, классовой враг! До сегодняшнего дня он был для меня в образе хозяина шахты Карла Францевича, кабатчика Оганесова или безликим вредителем, забившимся в барачную щель или обитающим за колючей проволокой.

Тарас!.. Мой бывший рабочий товарищ! Стоит передо мной, куражится, попирает святую землю Магнитки.

— Па-ску-да! — сказал я.

— На себя посмотри, герой! Ты еще хуже.

Стерпеть такую наглость нет сил. Размахнулся и саданул Тараса в ухо. Поднимая руку, я успел, однако, подумать: «Что ты делаешь? Остановись!» Не успела добрая мысль опередить злой кулак.

Тарас упал. Поднял лапы вверх.

— Караул! Помогите!

Сбежались грузчики, кладовщики. Окружили нас. Высокий человек в галифе и сапогах накинудся на меня:

— Безобразие! По какому праву?! Под суд пойдем, хулиган! Все будем свидетелями! Товарищи, видели!..

— А что вы видели? — заорал я. — Посмотрите, что он сделал с моим паровозом!

— «С моим паровозом»!.. Не твой он, а наш, советский, — огрызнулся, поднимаясь с земли, Тарас. — Не нарочно я. Стопорный крюк сорвался. Анатолий Кузьмич, вы же знаете, неисправный он.

— Да, верно, неисправный! И за это ты избил человека?

— Не бил я его. И не человек он вовсе.

— Не бил? — завопил Тарас. — Сам я упал, да? Не человек я, а так, шваль, да? Гаврила, ты видел, как этот князь-ударник двинул меня?

— Видел, не повылазило. С правой шибанул. На кого поднял руку? Человек от наркома личную благодарность имеет за отличие в боях на китайской границе, а ты его по кумполу!

— Ну, держись, самосудчик! — говорит этот самый Анатолий Кузьмич. — Составим акт, пошлем в милицию. И в дирекцию завода сообщим, в горсовет.

Победу празднуют. Рано! В дирекции меня хорошо знают. Сам Губарь за руку здоровается. Вместе с ним заседаем в завкоме, в горсовете. Поверят мне, а не вам. Я уже сто раз доказал, чего стою. А вы?

Тарас неторопливо стряхивал со своей спецовки угольные крошки.

— Ударная шишка! Про него чуть ли не каждый день редакция прокламации выпускает. «Берите пример с Александра Голоты! Краса и гордость горячих путей. Горячая голова! Горячее сердце!» Догорачился!..

Тарас подошел к Двадцатке и смачно плюнул в яркую надпись на кабине машиниста: «Ударный молодежный».

— Тьфу на тебя, паршивая!

Гаврила бережно отодвинул Тараса в сторону, ласково упрекнул:

— Не туды стреляешь! Тебе в душу харкнули, а ты — в железо.

Я отвернулся и, ожидая, что меня бухнут в спину увесистым куском угля, побрел к паровозу. Пусть! Не хочу разговаривать с завистниками. Могут и в самом деле заплевать душу.

До чего же я обессилел за эти страшные минуты! Ноги пудовые, вот-вот споткнусь. Плюхнулся я на свое креслице, двинул регулятор и отчалил. Противно дышать одним воздухом с этими...



Веселая пушечная пальба не умолкала на Магнит-горе. Облака, пронзенные лучами солнца, возникали и таяли над рудными забоями. Праздник продолжался. Не для вас он, слепые и глухие людишки! Живете в Магнитке и не видите, как рождается новый мир. Такой город! Самое расчудесное на земле место. Был землекопом, стал бетонщиком. Через год сталь будешь варить, прокатывать рельсы, плавить чугун, командовать электричеством. Все люди, кто хочет, возносятся.

А Тарасы плюют на все, что сияет, горит.

Верно это, но я не должен был давать волю рукам. Вместе с Тарасом шлепнулся в лужу. Нехорошо! Ужасно! Что скажет Лена? Случись такое в коммуне, Антонич беспощадно осудил бы меня.

Не хочу быть плохим, не хочу обижать ни темных, ни светлых дураков, и все-таки... Ох, тяжела ты, шапка нового человека! Снаружи блестящая, а внутри... И нам, ударникам, надо скрести себя и скрести, строгать и строгать, снимать стружку.

И так я думаю и этак, самоуничтожаюсь и оправдываюсь. А что, собственно, случилось? Утихомирься, Санька! Хватит! Не разводи мировую скорбь. Сам себя осудил — и баста. Выведенного яйца не стоит эта драчка.

С такими мыслями я прикатил на горячие пути. Спрыгнул на землю с чистой совестью. Могу и дурака повалять с Колькой и Асей.

Белобрысый составитель сидел все там же, где я его оставил, — на ступеньке будки стрелочницы. Настырливый ухажер!

— Снабдился? — спросил Николай. — Сразу видно, что побывал на именинах: и нос в табаке и губы в помаде, по усам текло и в рот попало. Отдохни, Александр Немакедонский, пока плавка поспеет. Снизойди! — Он похлопал рукавицей по деревянной ступеньке. — Садись рядом да потолкуем торчком.

Колька весной попал в переplet: вклинился между буферами паровоза и чугунного ковша. Стальные тарелки поцеловали составителя одна в спину, другая в грудь. Так клюкнули, что кости затрещали. Еле очухался. И опять шастает под вагонами: выныривает в последний момент из-под колес, висит на подножке. Передвигается бочком, зигзагом, но по-прежнему шустро. Славный парень. Люблю таких.

Ася хлопает дверью. Появляется на крылечке, как на сцене. Шуршат платок и каленый цыганский ситец платья. Поскрипывают полуботинки с черной резиной. Пахнет рисовой пудрой и конфетными духами. Позванивают на смуглой шее разноцветные бусы. Чем не артистка!

— Ну, как дела в твоём таборе, краля? — спросил я.

— Смотри, Колька, на это чудо-юдо! — Стрелочница прыснула. — Я с ним утром поздороваюсь, а

он мне вечером ответил! Спасибо и на том, валет!

— Может, споешь, артистка? Хороши твои частушки. Давай!

— Мало просишь, Шурка! Проси больше! Я богатая и не жадная.

— А я не зарюсь на чужое, своего хватает. Спой, Ася!

— Ладно, слушай! — Она тихонько пропела:

Приходите меня сватать,
Я теперь богатая —
Скрыня полная добра.
И башка лохматая.

Смотрит на меня чистыми глазами, смеется. И я посмеиваюсь.

А Николай осуждающе взглянул на Асю и отошел. Я посмотрел на разнесчастного составителя, потом — на веселую стрелочницу. Она сейчас же вспыхнула. Хватило ей холодной искры.

— Ну, что прикажешь, Шурка? Все сделаю!

Наверное, все-таки правда, что говорят о ней, дыма без огня не бывает: гулящая девка.

Я поднялся с крылечка, сказал:

— Не в ту сторону, Асенька, карусель свою кружишь. Мимо счастья проносишься. Развернись побыстрее да крути в сторону Кольки.

— А я сама знаю, куда вертится моя карусель. Воротит от вас, чистеньких и правильных. Ясно, ваше сиятельство?

Прямо в мои глаза смотрит, хладнокровно печатает всякую муть. Так мне и надо, дураку! Не лезь куда не следует.

Беру ведро, напускаю из крана тендера воды и окатываю бок Двадцатки, измазюканный Тарасом. В один прием смыл угольную порошу. Только на колесах чернь въелась в сырую краску. Невелика беда, а я кулаками размахался.

Не туда, кажется, вертится и моя веселая, разукрашенная, в звонких бубенчиках карусель. Думаю правильно, еще лучше чувствую, а делаю... Голлова умная, а рука — дура. Часто теперь говорят о тех, кто плохо проявляет себя: «Сознание отстаёт от революционного бытия». Мое сознание вроде на должной высоте, однако тело барахтается в луже.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Рядом с Двадцаткой остановилась Шестерка. Резвоногая, с серебряными, ходкими подковами. Бока вороненые, с шелковым отливом. Кольца на защитном кожухе котла горят, как золотые перстни на руке невесты. Кулисы выкрашены в белое, с красной окантовкой. Колеса тоже белые, а бандажки светло-вишневые. Дышла зеркальные. Поручни надраены. Хороша, любо глядеть на нее и непаровознику.

И на Алешу я жадно смотрю, будто впервые вижу. Ладный парень. Строгий. Но чуть улыбнется — и в глазах его сразу заблестят роднички, согретые жарким солнцем. Теперь-то я все про него знаю. Говорят, рыл первую землянку, первый котлован, был грабарем, бетонщиком, электриком, кочегаром. Говорят, здорово поет, играет на гармошке, на гитаре. Не знаю, насколько все это верно насчет гитары и прочего, а машинист он первоклассный. Вернулся в Магнитку с вышних энкапээсовских курсов. За короткое время догоняет меня по всем показателям. Держись, Санька! Не уступай первого места!

И Алешка потихоньку косится в мою сторону. Ин-

тересуемся друг другом, но почему-то отмалчиваемся. Ладно, я первый заговорю!

Постой! Вспомни разговорчики про него и Ленку!..

Атака не состоялась. Возвращаюсь на исходные позиции.

Раздался насмешливый голос Алеши:

— Ну, долго мы еще будем играть в молчанку?

Я засмеялся. Радость перенесла меня на своих крыльях с Двадцатки на землю. И он спрыгнул. Закурили. Разговорились. Оказалось, нам и после работы по дороге. Искупаемся вместе, пообедаем, поиграем в волейбол. В общем, прикрепились друг к другу на весь вечер. Ленка будет работать, а мы гулять.

Ася выскакивает из будки, суматошно кричит:

— Эй, Шурка, пошел за чугуном, живо!

На большом клапане хотелось мне помчаться к домнам. До конца месяца надо вывезти пять тысяч тонн чугуна. Выполнить и перевыполнить. Каждая ездка важна: быть или не быть во главе передовиков. Трудно удержаться на месте. Но я все-таки пересилил себя. Повернулся к Алешке.

— Иди! Твоя очередь.

— Меня не приглашают, — сказал он.

— Так что ж, давай!

— Чего валандаешься, Шурка? — надрывалась стрелочница. — Доменщики называют, спрашивают, где Двадцатка.

— А почему Двадцатка? Не моя очередь.

— Отлыниваешь? Вот так ударник!

— Шестерка должна работать. Давай ты, Алеша.

Я уже ничем не рисковал. Был уверен, что Алексей, как бы я ни отнекивался, уступит свою очередь.

Алеша взял меня за плечи, подтолкнул к паровозу.

— Иди, Саня! Таскать тебе и не перетаскать.

Все понял, что творилось в моей душе, но и виду не подал. Не обиделся и не обидел. Не побоялся показаться простоватее, чем был на самом деле. Славный парень!

С Магнит-горы донеслась бесшабашная, веселая пальба. Гремят динамитчики...

Я поднялся на Двадцатку. Вася Непоцелуев встретил меня брезгливой ухмылкой. Никогда раньше так не косоротился. Чем я ему не угодил? Ладно, не время выяснять отношения. Я взглянул на водомерное стекло, на манометр. Пара, воды и огня достаточно. Можно с ветерком вкалывать.

Двадцатка мягко катится по рельсам. Тигр больше наделает шума, чем моя ладная, отрегулированная до последнего винтика машина.

У подножия домны под желобами стоят пустые ковши. Ждут чугуна. На литейном дворе разгуливают в своих широченных войлочных шляпах, с пиками и резакими наши мушкетеры-горновые.

— Давай, давай! — поторапливает меня мастер.

Хорошее слово. Давай, Голота, вали в котел пятитетки свой труд! Давай, Голота, пять — в четыре! Давай, ты очень нужен людям! Давай!.. На тебя все надеются. Давай!.. Вперед, друг, без страха и сомнения. Трудись в поте лица своего. Давай двигай в будущее! Ударяй и возвышайся! Давай!

Жестко щелкнула автосцепка. Паровоз и ковши вклинились друг в друга, стали поездом.

Ну, теперь ты, чугуна, давай!

И хлынула огненная река. Густая, способная железом испепелить, разбрасывая во все стороны искры, она бесшумно несется по руслу канавы, срывается с обрыва и падает в ковши.

Чугунный жар. Бетонный потолок литейного двора, черные кауперы, стальные конструкции, рельсы, шпалы и все вокруг становится оранжевым, вот-вот вспыхнет.

— Поехали! — Составитель вскакивает на подножку.

Я осторожно толкаю регулятор. На одно деление. На другое. На третье. Труба выдыхает кудрявое, круто сбитое, сливочного цвета облако дыма.

Двадцатка идет натужно, но чувствуется в ее движении мощный запас энергии.

Катится поезд, полный огня. По горячим путям. Мимо кауперов и доменных башен. Мимо небоскрежной воздухоудки. Податливо прогибается земля. Позади нас огнедышащее пекло, а впереди свежая, встречная волна воздуха. Хорошо! Сто раз на день произношу: «Хорошо!»

Еще на одно деление передвигаю регулятор. Поезд убыстряет ход. Прокладываю себе безопасную дорогу и свистком и автоматическим колоколом. Колокольный гул и разбойничий свист!..

Расступись, честной народ, да полюбуись солнечным добром!

И расступаются, провожают взглядами, улыбаются — рабочие, ремонтирующие пути, горновые, землекопы, девочки.

Первый рейс с чугуном завершился благополучно. А второй, со шлаком... До сих пор не пойму, что случилось. Зазевался? Не рассчитал силу паровоза, ход поезда и подъем пути?

Выехал с одной станции и не доехал до другой. Застрял на перегоне. Растянулся!

Оскандалился в самом людном месте, рядом с экипировочным складом.

Грузчики смеются, тычут в мою сторону лопатами, кулаками, дерут горло.

— Вот так ударник! Ударял, ударял и напоролся ж... на ежа!

— По океан-мору шагал, а в луже растянулся!

— Цоб-цобе, безрогие! Тпрру, кобыла!

— Эй, ваше сиятельство, подвезите!

— Братцы, поможем передовику пропихнуться в рай! Раз-два, взяли!..

Я спрятался в кабине. А куда от себя спрячешься? Стыдно, реветь хочется. Пара и огня в избытке, шлаковый поезд легче чугунного, а с места сдвинуться не могу. Колеса бешено вхолостую вертятся, над трубой бушует метель искр и угольной мелочи. Еще одна такая пробуксовка, и скаты станут гранеными. Захромает паровоз, попадет на канаву в депо — перековываться. Не в одну тысячу рубликов обойдется ремонт.

Закрываю регулятор, продуваю краны и рукавом спецовки вытираю умытое позорным потом лицо. Так мне и надо, хвастуну! Раскукарекался, распетушился, вообразил, что сам, без курицы, способен нести яйца.

Звякнули буфера заднего ковша. Неужели толкач? Я похолодел и бросился к окну. Так и есть — незваный и неожиданный буксир, толкач! В окне Шестерки торчит Алешка.

И надо же! Именно тот, с кем я тайно соревнуюсь, стал моим спасителем, толкачом. Откуда взялся? Будто за ближайшим углом стоял наготове.

— Давай, Саня, двинем двойной тягой! На этом самом месте и я растягивался. Невезучая дистанция! Пошел!

Алешка дал свисток и, открыв краны, продул паровые машины, чтобы не пробуксовать, двинул в цилиндры добрую порцию пара.

А я?.. Раздумывать некогда. Вместе с Шестеркой

вытягивай поезд или поверни тормозной кран, застопори и ругайся: куда, Атаманычев, суешь свой нос, кто тебя просил толкать?

Я не сделал ни того, ни другого. Пришлось Алешке одному попытаться. Он надрылся, а я сидел в своем кресле и, царапая железо ногтями, молил бога, чтобы Атаманычеву не удалось вытянуть поезд. Вытянул.

Вот теперь в самый раз включиться в работу и Двадцатке. Не помогал я Атаманычеву, а лизал ему пятки, оправдывался: мы, мол, тоже пахали.

Доставили шлаковозы на откос, скантовали.

Раскаленная лава ползет по склону горы, стекает в озеро. Смердящий дым. Удушливый запах серы. Лопаются ядовито-желтые пузыри. Вода клокочет, шипит, превращается в пар. Бегемотские всхлипы, чавканье, адские испарения... Прямо-таки геенна огненная. Сгореть бы в ней, растаять пшиком!

Атаманычев взбирается на Двадцатку. Мнет в ладонях паклю, спрашивает:

— Покурим, Саня?

Ничего плохого не хочет видеть хороший-прехороший Алеша. Ослеп от доброты. Бьют его по левой щеке, а он подставляет правую. Откуда ты взялся, такой праведник?

Красное, синее, белое!..

Еле держусь на краю обрыва. Опять плюхнусь в лужу, если не откликнусь Алеше хотя бы никудышной улыбкой. Давай! Ну! Не можешь быть искренним — притворись! Сойдет и кривая ухмылка. Победитель не требует контрибуций.

Не могу ничего выдать из себя. Кровь хлынула в голову, загудела в ушах. Перелетел я в бредовую эпоху сыпняка, коросты, хвастовства, брехни и ругани. Будто и не было ни бронепоезда, ни коммуны, ни Антоныча, ни Лены.

— Радуюсь? Думаешь, хвост Двадцатке прищепил и солью посыпал? Тоже мне, толкач! Кто тебя просил? Сам бы я выехал!

Я куражился, изливал всякую муть, а он внимательно, пронзительно-печально смотрел на меня.

Я кулаком ударил Тараса, а меня Алеша — взглядом. И еще словами.

— Понимаю! Сам себя чистишь. Давай! Своя рука владыка, все темные углы выскребет.

Кивнул, незлобиво улыбнулся, ушел на Шестерку. Васька захлопывает за ним дверь и дурашливо палится на меня.

— Мало ты ему всыпал, жених! Ишь какой дружок нашелся! Похлестче репейника вцепился. Знает, шкура, чье сало съел! Ослабил девку. А ты терпишь, тюфяк! Да я бы ему все ребра пересчитал, а потом и в зубы заглянул! Гляжу на тебя, Ляксандр, и жалею...

Я не стал дальше слушать. Закричал:

— Ты... жалобщик, мотай отсюда! Теперь не ужиться нам с тобой!

— Не имеешь права. Не твоя собственность Двадцатка, и не твою личность я обслуживаю. — Васька поудобнее развалился в кресле.

— Уходи по-доброму!

— Угрожаешь?.. Пожалста, будь ласка, бей! — Он рванул на груди спецовку, разнес ее до пупа. — Давай колоти! Набил руку, не промахнешься.

— Проваливай! Что хочешь, то и ври начальству. Брысь!

Васька поднялся, застегнул спецовку.

— И поиду! Смотри, задавака, будет и на моей улице праздник.

— Не желаю тебе, Вася, такого праздника, какой ты устроил.

— А чего особенного я сказал? Все про это звонит. Да разве ты первый раз слышишь?

— В последний! Никому не позволю!

— На каждый роток не накинешь платок. Больно серьезный ты, Ляксандр. Пошел я. Будь здоров.

Побежал в депо жаловаться. Придется и мне ходить по кабинетам, выслушивать нотации, оправдываться. Все стерплю, но Ленку в обиду не дам.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Схлестнулись, вздыбились ветры, азиатский и европейский. Повечерела дневная Магнитка. Сизые, черные, серые, рыжие смерчи закружились вокруг пыльно-красного солнца. Свист, грохот, вой, стон, ливинный рык и плач бурана перекрыли гул воздухоудвки.

И в такую распрекрасную погоду я один вкалываю: и паровозом управляю, и в топке огонь подерживаю, и воду качаю в котел, и за сигналами в обе стороны слежу.

Губы мои обметаны горьким порошком. На зубах скрипит песок. Глаза прикрыты огромными, в толстой резине очками. Взглянул в зеркальце и ахнул. Ну и морда! Человек в маске! Марсианин! Демоническая личность. Себялюб, напавший рабочую робу. Выть хочется. Распсиховался.

Что там ни говори, а все-таки есть прямая связь между тем, что делается на земле, в небе, в океанах и в сердце человека. Черная буря давит на чувства и мысли.

Рухнули все подпорки моей правоты. Виноват я перед вами, ребята. Озверел. Поглупел. Всех обидел. Чванливый бузотер, мордобоец!

Разлюбил Ленка такого, если узнает.

Не успел подумать о ней, а она тут как тут. Появилась! Откуда? Как? На крыльях бури прилетела, не иначе. Всегда распливаюсь в улыбке при виде Ленки, провозглашаю вслух или мысленно: «Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты...» Теперь молчу. Испугала она меня. Грязная, растрепанная, еле на ногах стоит. Дышит тяжело. Бросаюсь к ней, втаскиваю на паровоз.

— Куда тебя понесло, дуреха? Зачем?

— К тебе спешила.

— Не могла переждать бурю?

— Не могла, телеграмма тебе!..

— От кого?.. Все мои родные здесь, в Магнитке.

— Все ли? — На чумазом лице Ленки блеснули белые зубы. — Читай вслух!

Я развернул твердый от клейстера и наклеенных буковок телеграфный бланк, прочитал:

«Получил официальную отставку мотивам разжиженности мозгов тчк Сижу разбитого корыта думаю веселую думу тчк Неполноценную голову стукнула дурацкая мысль приехать Магнитогорск повидать тебя тчк Готовь хоромы встречу тчк День выезда собою дополнительно».

Подписи не было. Я рассмеялся.

— Узнаю коней ретивых! Спасибо! Правильно сделала, что примчалась. Не напрасно пострадала. — Я поцеловал ее в губы, единственное чистое место на ее лице.

— Антоныч? — спросила Ленка.

— А кто же еще! Только он может веселиться в тяжкую минуту. Плохо, видно, старику. Постой!.. Как попала к тебе телеграмма? Ты была на Пионерской?

— Почтальоншу встретила...

— Вот, дожили!.. Первый встречный-поперечный уже знает, что я и ты... одна сатана, муж и жена. Ленка оглянулась вокруг себя.

— Где твой помощник?

Я молчу. Делаю вид, что не слышу. Распахиваю дверцы, ковыряюсь в топке. Минуты три кочегарил, но Ленка не забыла про Ваську. Опять пристаёт:

— Саня, почему ты один?

— Что?

— Я спрашиваю, где твой Васька?

— Соскучилась?

— А как же! Смешливый парень. Повезло тебе на помощника.

— Да. А вот ему не повезло. Разонравился механик. Даже сурьезный. Сбежал Васька.

— Правда?

— Чего ты пристала? Оставь смехача в покое. Пусть себе бегают. Садись на его место и вкалывай.

— А что ты думаешь? Могу! Раньше тебя с паровозом подружилась. Смотри!

И она, как заправский кочегар, ловко, черным веером, метнула уголь на белый огонь.

Разбежались в разные стороны буранные ветры, азиатский и европейский. Небо прояснилось. Улеглась пыль. Снова стала видна Магнит-гора, окутанная шоколадными, рыжими, белыми дымами.

Трубит рожок стрелочницы, зовет Двдцатку вперед. И составитель машет флажком, кричит:

— Давай под домны!

Даю!

На левом крыле законно, по-хозяйски сидит Ленка. Умылась. Причесалась. Красавица! Как можно плохо думать о такой? Сочиняют небылицы. Всегда на красивых наговаривают. И сама она на себя наговаривает. Не любила она никого.

Смотрю на любимую и вижу себя, как в волшебном зеркале. Преобразился. Куда девалась лобастая, широконосая рожа. Вижу парня-сокола. Море ему по колено! Горы Уральские способен свернуть.

Ну и Ленка, ну и чудо! Действует на меня, как огонь из молитвы Антоныча. Очищает, сжигает в своем светлом священном пламени всякую скверну и даже самый зачумленный воздух. Где Ленка, там и свежесть, правда, красота, сила.

Двдцатка медленно толкает ковши к желобам. На обрыве литейного двора стоит парень в войлочной шляпе и тарашит завидующие глаза на Ленку и меня. Больше на нее. Он кричит:

— Эй, земляк, здорово!

— Здорово! — откликнулся я.

— Это кто же за ребро твое держится? Новый помощник?

— Жена!

— Губа не дура.

Ленка спряталась. Не стесняйся, красна девица. Пусть завидуют. Против такой зависти ничего не имею.

Расставил ковши под желоба. Ждем чугун. Перекур.

Ленка примостилась на откидном креслице, поглядывает на меня, хочет что-то сказать, но почему-то не решается.

— Говори! Давай! — смеюсь я. — Выстрели!

Не поддержала мой смех. Сказала серьезно:

— Целый день к тебе порывалась. Сердце болело. Все хорошо у тебя, Саня?

— Ну и правильно, — перебил я. — Так и должно быть. Железо к магниту тянется, Ленка к Саньке, а Санька к Ленке.

Сказал одно, а подумал о другом: «Милая! Ничего с нами не случится до самого социализма!»

Обнять ее хотел, но не посмел: много глазастых вокруг.

— Саня, а что он любит? — спрашивает Ленка.

— Кто?

— Антоныч. Чем будем угощать?

— Рано хлопочешь. Еще неизвестно, когда придет. Подождем второй телеграммы!

— А как ты думаешь, я понравлюсь ему?

— Ты?! А разве есть люди, которым ты не нравишься?

— Есть! — засмеялась Ленка. — Я сама себе не нравлюсь. Побежала я, Саня. До вечера!

На этом и закончилось наше нежданное, незапланированное свидание.

Долго ее ладная фигурка двигалась по кромке обрыва, впечатываясь в край закатного неба.

Как ни в чем ни бывало выныривает на поверхность мой Вася. Ухмыляется. Подмигивает.

— Прогулялся изгнанный Адам. Выветрил всю дурь. Можно приступать к своим райским обязанностям?

— Приступай, черт с тобой! — говорю я и смеюсь. — Шуруй да обмозговывай каждое слово, прежде чем болтать.

— Ладно, виноват! Больше не буду искрить. И тебе бы надо свой порох почаще поливать сырой водичкой.

— Уже отсырел, Васёк. Надолго. Разве не видишь?

— Вижу. Не слепой. Размягчился ты.

Верно, друг! Такой я теперь мягкий, что голыми руками бери. Покаяться перед Тарасом? Пожалуй-ста, хоть сейчас! Поговорить с Алешей, распатронить себя так и этак? Могу! Только мертвец достигает полного совершенства. Все, что живет, все, что развивается, несовершенно. В общем, готов пройти любое чистилище.

На Двадцатку поднимается еще один нежданный гость. Ну и день! Приперся Гаврила, грузчик. Чего ради? Приметный мужичишко. Вместо носа торчит красная барабуля. Больше ничего не видно на лице.

Гаврила сразу, не тратя понапрасну слов, козырнул тузом:

— Гражданин драчун, давай замнем кампфлит. Пожалели мы твою молодую жизнь. Поставь ведро белой да горькой на артельное рыло — и все пойдем ол райт, гуд, а по-нашему — концы в водку. Ей-богу! Перекреститься могу. Вот!

Гаврила и в самом деле приложился пальцами, сложенными щепоткой, ко лбу, животу и плечу.

Ну что такому скажешь!

— Тебя Тарас послал? — спрашиваю я.

— А как же! Доверил вести дикламатические переговоры!

Вася хохочет, а я не поддаюсь, всерьез принимаю посла. Еще раз готов садануть Тараса.

— Хорошо, согласен! — говорю я. — Дам на водку, но при одном условии...

— Голуба, что за речи?.. Раскошеливайся без этого самого... натошак.

— Ну раз не хочешь, разойдемся.

— Ладно, выкладывай, послушаем!

— Мою водку вы должны пить не из кружек, не из бутылок, не из стаканов...

— Ладно! — радостно осклабился Гаврила. — Горькую сподручно пить и лежа, и стоя, и вприсядку, и на карачках.

— На карачках и пейте. Из лохани свинячей. Согласен?

— Согласен! — Гаврила снял картуз. — Сыпь сюда свои ударные червонцы.

Я швырнул Гавриле тридцатку. Посол нахлобучил картуз вместе с деньгами на лысую голову.

— Отрыгнутся, голуба, тебе свинские червонцы! — сказал он и загремел вниз.

— Что ты наделал? Тюфяк! — заорал на меня Вася. Он бросился вслед за Гаврилой. Сорвал картуз, забрал тридцатку. Вернулся на паровоз, распахнул шуровочную дверцу. Раскаленный воздух втянул бумажку в огонь.

— Чуешь, Санька, какой дух пошел? Перегарный, Чистая блевотина.

Скрипит, фыркает чернилами, рвет бумагу перо. Самописка, а сопротивляется. Трудно писать о себе такое. Трудно, а надо.

Самая прочная сталь рождается из жидкого чугуна, сереньких флюсов, воздуха, огня, газа и покоробленного, битого-перебитого ржавого скрапа.

Что ж, старым железом, ломом придется войти в новый стальной брусок, в рельсы, в броневую плиту, в блюминг, в крыло самолета, в перо ученого, в скальпель хирурга.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Иду в редакцию. Ваня Гущин вскакивает, бросается навстречу.

— Добро пожаловать, старик! С чем хорошим прибежал?

— Посоветоваться пришел, — говорю я.

— Отставим на часок твои личные хлопоты. Ты, старик, вот как мне нужен! — Ваня бережно ударил себя по кадыку ребром ладони и вдохновенно взглянул на пухлый комплект «Правды». — Читал сводку с трудового фронта? Стальной Донбасс топчется на месте!.. Прорыв на днепровских заводах!.. Позорное отставание уральских доменщиков!.. Затухает костер соревнования. Надо подбросить сухих дровишек. Ты в этом деле меткий застрельщик. Пульни и трахни в самое яблоко прорыва. Розжував?.. Вызывай кого-нибудь на соревнование. Кто достоин твоей храбрости? Диктуй!

— Какая там храбрость! Сам в прорыв попал.

— Опять приbedняешься, старик. Надоело! Диктуй: кого вызываешь?

— Постой, Ваня. Не застрельщик я. Оскарданился. На черепахе мое место, а не на аэроплане.

— Брось трепаться! Диктуй!

— Послушай, Ваня! Неприятности у меня. Личного порядка.

— Заткнись, говорю. Общественное выше личного.

— А разве общественность не из личностей состоит?

— Не разводи философскую антимонию! Некогда! Давай дело будем делать. Темпы, старик, темпы! Время, вперед! Отсталых быют. С кем хочешь соревноваться? Диктуй, живо!

А может быть, и прав Ваня? Может быть, действительно приbedняюсь, антимонии развожу? Чем же, если не трудом, я искуплю свою промашку? Только труд делает человека человеком, приближает его к истине. Только трудом совершенствуются люди, мир, земля, реки и моря. Горе, тоска, печаль, сомнения, угрызения совести, отвращение к себе и даже черное отчаяние — все сгорает в священном пламени труда... Так вразумлял нас, одичавших пацанов, Антоныч.

— Эй, старик, куда тебя унесло? Вернись на землю. Диктуй!

— Алексей Атаманычев! — сказал я. — Трудно с ним соревноваться, но...

— Атаманычев?.. Не пойдет! — категорически заявил Ваня и лихо рубанул воздух ребром ладони, будто сносил кому-то голову. — Сектантский сынок. Отродье. Есть у тебя на примете человек с чистыми руками?

— Алешкины руки, если на то пошло, чище моих.

— Ого! Не советую, старик, чужой картой козырять, прокозыряешь собственную. Переварил? Давай другую кандидатуру.

— Лучшей не найдешь! В прошлом месяце он больше меня вывез чугуна, меньше сжег угля. И вообще — замечательный машинист. И парень хороший.

— Да? — усомнился Ваня.

— Можешь проверить. Вот!.. — Я бросил на стол свой рабочий дневник. В нем были показатели всех паровозов.

Ваня внимательно их изучил. Крякнул, почесал затылок.

— Це дило треба розжувати. Розжував! Хай живе! Рискнем. На безрыбье и рак — рыба.

Ударил кулаком по столу, словно вбил большой гвоздь.

— Заштопано и заматано! Завтра тиснем договор! Переходим к личному вопросу. Что стряслось, старик?

Я рассказал о происшествии на угольном складе, как опростоволохился на перегоне, осмеян грузчиками, как выручил меня из беды Атаманычев и как я отблагодарил его за это. Всю правду выложил. Ничего не утаил.

Ваня внимательно выслушал и рассердился.

— Мало каешься, старик! Поднатужься! Вспомни вдову, которая сама себя высекла! Эх ты! Губошлеп, а не застрельщик социалистического соревнования! Ты это или не ты, старик? — Ваня потыкал меня карандашом в грудь. — Оболочка твоя, а содержание... либеральная трухлятина вместо стального ядра. Где, когда растерял себя? Кто вытряхнул из тебя живую душу?

С недоумением слушаю его.

— Не розжував? — Он хлопнул меня карандашом по голове. — Сырые у тебя мозги, старик. В чем каешься, дуралей? В том, что пресек классово-враждебный выпад? В том, что не позволил выродку измываться над социалистическим соревнованием?

— Постой, не тараторь! Я тоже так вгорячах подумал. Не подходит Тарас под выродка. Трус он, бузотер, разгильдяй, горлопан, только и всего.

— Допустим!.. А горлопаны разве не заклятые наши враги? Явление есть явление. Забудь, старик, как ты буксовал и растянулся, как Тараса саданул. Чепуха это на постном масле. Весь корень в том, что облит классовыми помоями молодежный паровоз, премированный скакун, а заодно и лихой наездник, ударник, рабочая гордость Магнитки, историческая личность.

— Перебор, Ваня!

— Недобираю даже, успокойся. Совершенно покушение не на паровоз, не на Голоту, а на святая святых нашей жизни — на социалистическое соревнование. Розжував? Так и запишем! — Ваня стал покрывать размашистыми чернильными каракулями чистый лист бумаги.

Как он разберет свою писанину? Все буквы похожи одна на другую, из каждой торчат во все стороны примусные иголки. Сплошное «ж». Не буквы, а ежи.

— Именно на такую политическую высоту надо поднять это низкое происшествие на угольном складе! — продолжал греметь Ваня. — Быть или не быть! Или мы одолеем разнокалиберных тарасов, или они нас! Словом, выступаем со статьей. Назовем ее так: «О тех, кто затаптывает костер соревнования». Статейка будет во!.. Столичные газеты перепечатают!

Он расстегнул косоворотку. Жарко ему стало. Щеки и лоб пунцовые, губы сочные, глаза сверкают. Красив Ваня, будто в бане попарился. Вот боец!

И на этот раз он оказался прав.

— Переварил, старик? Заткнись со своими угрызениями так называемой чистой совести. Гнилой либерализм! И наша совесть должна быть красной. Эх, Санька, скребли тебя, мыли в сорока водах — и не отмыли докрасна! Серо-буро-малиновый до сих пор.

Под конец нашей беседы Ваня смиростивился. Сел рядом, обнял, сказал:

— Молодец, старик! Люблю! Горжусь! Мировой ты парень! Далеко соображаешь. Продрал я тебя крупнозернистым рашилем, да еще с песочком, а ты ничуть не обиделся. Так и держи! Критика и самокритика — великая сила и нашего общества и каждого человека в отдельности. С неба звезды будешь хватать, если всегда и везде сумеешь управлять своими страстями и поддаваться управлению свыше.

Вот, оказывается, какой я хороший! Из проруби в парилку попал.

Сладко слушать хвалебные речи. Ругань, если она и справедлива, ожесточает нас, а похвала, даже преувеличенная, без мыла в душу лезет.

На работу бежал, а с работы плетусь шагом. Устал. Мысли одолевают. Хандра печет.

Восемь вечера, а еще светло. Домой не тянет. Пойду к Гарбузу.

На полпути в Березки я неожиданно решил заглянуть к Алеше Атаманычеву.

Горный поселок в стороне от моей дороги. Ничего, придется прошагать лишних два-три километра. Надо по душам покалякать с Алешкой.

Дом Атаманычева в три окна, под железной крышей, обнесен забором. Во дворе мычит корова. Похрюкивает свинья. Кудачнут куры. Чудно! Работают Атаманычевы здорово, самого бога бьют, а свиньи не брезгают.

Особое это место в Магнитке — Горный поселок. Бросили якорь здесь в основном раскулаченные, проштрафившиеся сектанты и прочие. Среди них вкраплены и рабочая братва: монтажники, слесари, движенцы, доменщики. Кто по случаю купил подворье, кто построился на свободном участке, кто женился на хохлушке или казачке из куркульской породы.

Как только я вошел во двор, увидел Асю. Утром цыганским платьем да шелковым платком похвально, а сейчас...

Стоит в сарайчике на охапке сена в чем мать родила и льет на себя воду из лейки.

Не смуглая она, оказывается, а белая-белая, совсем не похожа на цыганку. Видит меня, прямо в глаза смотрит — и не убегает, не прячется! Ну и ну! Пришлось мне опустить голову, шархнуться к дому.

— Не туды, Шурик, пошел! Там никого нет. Сюда прямую, живо! Посчитаешь ребра, все ли целы.

И смеется, будто обыкновенные слова произнесла.

Ни туда, ни сюда не решаюсь шагнуть — ни в дом, ни к калитке. Насчет сарая ничего такого и в мыслях не было. Провались он вместе с Аськой!

— Иди! Дверь захлопнем, ночь сотворим.
Бежать хочу со двора, а сам ни с места. Люто ненавижу я эту балабошку. Но отмалчиваюсь. Плещется вода, похрустывает солома, и ладони звонко избивают мокрое тело.

— Боишься?.. Разрешения не получил?.. Иди, никому не скажу!

Все стало просто после таких ее слов.

Я круто развернулся и стремительно пошел. Не к дому, не к калитке, а к сараю. Припечатал каблуком высокий порог, презрительно сказал:

— Плевал я на таких, как ты!

И бросился назад, к воротам.

Ася долдонит мне вслед:

— Не плюй, Шурик, в такой добрый колодец — пригодится воды напиться!

Непробивная девка. Непостижимо это: она и Алеша!

Распахнул калитку и столкнулся лицом к лицу с тетей Машей. А ее каким ветром прибило сюда? Зачем ей, малахольной, понадобились умные Атаманычевы?

Стоим и с откровенным удивлением рассматриваем друг друга. Она на улице, а я во дворе.

— Здравствуй, Саня! Куда же ты? Хозяйка в хату, а гость из хаты. Непорядок! Вертайся!

Хозяйка? Еще одно диво дивное. Не успел прийти в себя после одного потрясения и на другое напоролся.

— А... а разве вы здесь живете?

— Не веришь? Могу домовую книгу представить.

— Жена?

— Давнешняя. Еще до революции обвенчались с Родионом Ильичом.

— Мать Алеша?

— Две матери у Алешки: одна породила и богу душу отдала, а другая вынянчила и выкохала. Вот и считай, яка мамка ему ближе, роднее. И Аську не я рожала. Ну чего ж ты стоишь, як пень-колода? Поворачивай, иди! Гостем будешь.

— Спасибо. К Алеше приходил. Передайте ему. До свидания!

Хочу уйти, но тетя Маша стоит в калитке и не собирается уступать дорогу.

— С тобой здороваются, а ты прощаешься. Нехорошо!

— Тащи его сюда, маманя, — насмешливо советует Ася. — Хватит ему на воле разгуливать. Аркан по его холке давно сучает.

Накинула ситцевое платье прямо на мокрое тело и, развевая сырой гривой, подбежала к нам.

Тетя Маша махнула на балабошку рукой.

— Не вмешивайся, сама управлюсь. — Обнимает меня, разворачивает на сто восемьдесят, лицом во двор. — Иди, Саня, не упирайся.

— Не могу, Марья Игнатьевна. Тороплюсь.

— Иди! Теперь я не страшная. Добрая и смиренная. Як же не раздобреть, глядя на тебя? Герой с небес спустился на грешную землю и нами, никудышными, не побрезговал. Большое-пребольшое тебе спасибо.

Старая погудка на новый лад. Подпеваает Тарасу, Кваше, Гавриле. Ладно! Не обижаюсь. Какой спрос с тихопомешанной!

— Так ты, значит, с Алешей подружился? Добре! Давно пора вам по-братски жить. С одного ребра вы сделаны.

— Ну, а ваш братик как поживает, Мария Игнатьевна?

— Появился и пропал. Ничего, не горюю! Он замену себе оставил. Сказал, что ты займешь его место. Не откажешься?

Пусть сумасбродничает. Ничем она уже не удивит и не испугает. Улыбаюсь. Кизаю.

— Вот и хорошо. Договорились! Здравствуй, братик! Всю жизнь шукаю тебя, родненький!

И она обнимает меня, целует, будто и в самом деле только что встретила с братом после долгой разлуки.

Ася стоит посреди двора, расчесывает деревянной гребенкой свои волосы и во все глаза смотрит на мачеху и на меня. Удивляется. До сих пор не привыкла к малахольной бабе. Пора мне все-таки удирать. Бог с ними, с сумасбродными!

Марья Игнатьевна не удерживает. Посторонилась, пропустила на улицу.

Ася что-то кричит мне вслед, но я не оглядываюсь.

Повечерело. Зажигались огни на строительной площадке и в действующих цехах. Потянуло прохладой. Сильнее стали слышны голоса кургузых локомотивов, бегающих по спиральям Магнит-горы. Гудела воздуходувка, как майский жук, увеличенный в миллиард раз. Красноватым дымком курились контрольные свечи домен.

Засмотрелся я на вечернюю Магнитку, разогрел себя быстрой ходьбой, но голову не остудил. Думаю и думаю. И как только я расскажу Лене о том, что случилось во дворе Атаманычевых? Особенно о бесстыжей Асе. Лучше не рассказывать. Сколько уже тайн накопилось у меня!..

И в доме Гарбуза ожидал меня сюрприз. Степан Иванович, только я открыл дверь, налетел на меня: — Что ты наделал, барбос? Размахался!.. Твой дед на хозяина руку поднимал, а ты — на своего брата!.. Ничегошеньки ты, оказывается, не понял. Даже Ленина. Бессовестный!

— Выслушайте, Степан Иванович!

— Оправдывайся там, где провинился, бессовестный!

Он выталкивает меня на улицу, а я упираюсь.

Не ждал я такой выходки от Степана Ивановича. несогласен с ним. Говорю:

— И дед Никанор поднял бы руку на Тараса. И я имею право дать ему по зубам. Ненавижу захребетников. Читаешь «Правду»? Летуны и лодыри загнали Донбасс в прорыв! Разгильдяи опозорили черную металлургию! Подкулачники саботируют хлебозаготовки!

— Вот такая высокоидейная подкладка у твоего рукоприкладства! Кто зарядил тебя, Саня?

— Сам понимаю! Рабочий я человек, коммунист, совесть имею. Да не какую-нибудь, не бесцветную, а красную. А вы? Забыли, что писали наркомун?

Он с печальным изумлением вглядывается в меня, а я скороговоркой выкладываю все, что обмозговал после разговора с Ваней. Не ударяем по разгильдяям — вот и в прорыв попадаем. Их много, а нас, ударников, мало. Никита Изотов — краса и гордость нашей эпохи, а мы не роимся вокруг него, не размножаемся. Не во всю силу вкалываем. Стыдимся блеснуть трудовой доблестью. Зависти боимся, насмешек. Вылетим в трубу, если будем потакать разнокалиберным тарасам, извиняться перед ними за свои тумачи и подзатыльники. И пятилетку съедим с потрохами, если не научимся собирать урожай без потерь, добывать уголь и варить сталь без прорывов.

Не понял меня Степан Иванович. Столкнул с крылечка, захлопнул дверь. Такое письмо написал Серго — и не понял. Ладно, не на целый век рассорились. Дойдет до него моя правота.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Ну и денек выпал на мою долю! Вернулся на Пионерскую еле живой и завалился спать. И во сне чувствовал, как ныла душа. Проснулся оттого, что стало жарко и тесно в моем продавленном ложе. Протираю глаза и соображаю, что произошло.

Рядом со мной кто-то тихонько дышит. Кто же еще, как не Лена! Примчалась! Сняла с души камень. Вот так всегда. Стоит ей прикоснуться ко мне, взглянуть ласково, сказать что-нибудь, и я сразу веселею. Тихонько прикасаюсь губами к ее губам, горячим и влажным.

Удивительно! Живут люди в разных концах земли, не знают о существовании друг друга, ни единой ниточкой не связаны. Но вот встретились, полюбили и срослись. Не при нас это началось и не после нас кончится. Человек рождается для любви. Для любви живет. Через страдания и надежды, через труд и борьбу — к любви!

Сказать ей все это или не сказать? Не надо. Все знает.

Все ли? А мое столкновение с Алешей, Тарасом, Гаврилой? И то, что было с Асей, с Марьей Игнатьевной? И последний разговор с Гарбузом?

Тесна моя койка для двоих.

Я перетащил Ленку вместе с тюфяком и подушкой на пол. Вот где приволье, как на траве-муравушке.

— Постой! — Ленка хохочет. — Давай поужинаем. Притащила я шмат сала. У казаков на старинную шаль выменяли.

— Спасибо, кормилица!

— Не меня благодари, а мачеху. Не позволила идти к коханому с пустыми руками. Возьми, говори, харч, накорми моим приданым своего бугая.

— Так и сказала? Ну и ведьма!

— А за что ей любить тебя? Она всех мужиков обманщиками считает. Одному Богатырю верит. — Несчастливая баба!

Вибрирует оконное стекло и чашечка будильника. Жужжат обеспокоенные мухи. Гудок!.. Люди спешат на работу, а я с милой прохлаждаюсь.

Окно раскрыто в теплую ночь. Небо густо забрызгано звездами. Каждая хочет упасть на землю и не падает. Посреди звезд катится белая, свежееоткованная лунная лепешка.

Сидим с Ленкой на подоконнике, ужинаем и смотрим на расцвеченную Магнитную землю. Огни, огни, огни. Вон там, где громадное зарево, домны. И коксовые печи выдают свой огненный пирог — сквозь тучу пепельно-желтого дыма просвечивает пламя. Справа от озера великан-сеятель вкривь и вкось наугад сыпал добрую жменю светлячков — целый миллион. Это мартены, прокатные, блюминг, чугунолитейный и прочие, прочие.

Смотрю на все на это и чувствую себя на вершине жизни. Отсюда, с высот моей всемогущей юности, вижу весь мир, его прошлое, настоящее и будущее. Все мне подвластно. Все могу сделать, на что способны люди. Безгранично уважаю себя. Мечтаю безбрежно. Как в песне: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью».

Ленка отошла от окна, положила на обшарпанный стол недоеденный кусок, взглянула на меня.

— Ну, Саня, рассказывай, что у тебя нового.

Она еще страдает, чего-то боится, а я уже забыл все свои дневные приключения. Только Ленкой люблюсь.

— У меня всегда одна новость — ты!

Хороша она в лунном свете в своем коротеньком платьице, с узкими полосками материи на плечах. Тонкая шея белеет, как ствол березки. Почему я не поэт? Ладно, она и чужими стихами не побрезгует.

— «Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты. Как мимолетное виденье. Как гений чистой красоты...»

— Дальше! — просит Ленка.

— Дальше не про нас с тобой.

Она громко рассмеялась. Забыла, что может всполошить соседей. Спихватилась. Прикрыла рот ладошкой.

Я осторожно подхожу к мимолетному видению. Гляжу и наглядеться не могу.

— Не смотри на меня так, Саня, сглазишь!

— До чего же ты красивая, Ленка!

— Не выдумывай! Самая обыкновенная.

— Красивее всех! Не было еще таких! И не будет!

Она поцеловала меня в губы, потом чмокнула в глаза, в один, другой.

— Всегда так смотри, всегда так говори!

Коротки летние зауральские ночи. Засерело. Лена напилась багровой ржавчиной, упала с высоты и разрубила своим каленым ребром горный хребет. Выцветали заводские огни. Поваяло росным утrenom.

Там, за хребтом, ночи, зори, туманные рассветы, а у нас начался трудовой день, тысяча сто сорок восьмой со дня рождения Магнитки.

Ленка причесывается перед осколком моего зеркала. Пристально вглядывается в свое побледневшее, с запавшими глазами личико. Сдвигает брови. Облизывает выпитые губы. Не бойся! Все равно красивая!

Она чисто женским делом занята, а я — мужским. Просматриваю газеты и тоже хмурюсь. Всерьез, не так, как Ленка. Страшен потусторонний заграничный мир.

«Геббельс и Штрассер во время парада германских фашистов повторили свои угрозы кровавого террора: «Скоро каждый, кто станет даже мысленно приветствовать Москву, будет повешен».

«Еще одно кровавое воскресенье в Берлине».

«Вооруженные силы фашистов насчитывают уже более пятисот тысяч человек».

«Улицы Нью-Йорка поражают приезжих иностранцев огромным количеством нищих, толпами голодных безработных и рядами пустых магазинов, брошенных арендаторами. «Эмпайр стейт билдинг» пустует на 70 процентов. Американцы, любители мрачных шуток, называют стоэтажный небоскреб домом призраков. Фермеры молят бога, чтобы урожай этого года не оказался слишком хорошим, в противном случае миллионы бушелей пшеницы придется вывезти на бездонную свалку — в море».

Ленка все еще причесывается, все пытается себя: красивая или некрасивая? А я откладываю «Правду», беру «Магнитогорский рабочий».

— Подлец! — во весь голос кричу я.

— Кто? — испуганно спрашивает Лена.

— Ванька Гушин. Договорились, что сам напишет статью, а он от моего имени настроил... «Несмотря на лютые происки таких типов, как Тарас Омельченко, моя Двдцатка на большом клапане носится по горячим путям... Темпы, темпы решают все! Отсталых бьют. Вперед, мое время! С сегодняшнего дня моя машина будет работать лучше... Я вызываю Шестерку Атаманычева на соревнование. Держись, друг! В этом квартале ни ты и никто другой меня

не догонит. Поручкой тому моя...» Боже!.. Мое! Моя! Мои! Я! Подлог! Ничего я не писал.

Ленка прочла газету и молча положила на стол. Смотрит в окно, и глаза ее темнеют, набухают. Милая, да при чем же здесь я?

Проводил Ленку домой и побежал к Гущину. Встречаю его в коридоре. Он хватает меня под руку, увлекает за собой в самое непривлекательное заведение редакции.

— Ну как?

— Разве мы так договаривались? Подлог! Очко-вирательство!

— Тише, старик, не кипятись! Объясни, чем ты недоволен?

— Не мог я написать такой галиматии! Не сам хвал же я! Не петух на заборе!

— Розжувая! Зря страдаешь. Хорошая получилась статья. На красную доску вырезку поместили. Звонок был из горкома — похвалили!..

Ваня похлопал меня по плечу.

— Все в порядке, старик. Комар носа не подточит. Железное дело. Половодье на мельницу социалистического соревнования. А кто писал, — это чепуха. Будь здоров. Нет, постой!.. Срочно нуждаемся в гневных откликах на события в Германии. Притулись где-нибудь и накатай строчек двадцать.

— Пойдем к редактору! — говорю я.

— Зачем?

— Поговорить о твоём «железном деле». Опровержения требую.

— Уехал редактор в Свердловск. Так!.. Со мной, значит, не договорился? Пренебрегаешь? В самостоятельное плавание отправляешься? Не ожидал. Вот так благодарность! Тебя в люди вывели, а ты...

— Много на себя берешь, Ваня!

Я выскакиваю в коридор. Гушин бежит за мной.

— Куда же ты? Не хочешь откликнуться на такие события?

Пусть гроыхает.

Вернулся домой и завалился в кровать. Нет сильнее лекарственного дурмана, чем сон.

И в сон припелся Ваня Гушин. Осканился, заикой стал. «Не тронь, старик, мою гордость, не буди во мне хвостатых предков! С-страшен я во гневе!»

А я ему, страшному, кукиш показал.

И приснится же такое!..

Задолго до гудка отправляюсь на работу. Проплыл стороной базарный холм, утыканный приземистыми лавками. Осталось позади скопище барачков. Надвинулся кирпично-красный кинотеатр «Магнит». Бежал всегда на Двадцатку, а сейчас притормаживаю.

Как покажусь я на горячих путях? Засмеют Голоту и паровозники, и доменщики, и движенцы. Теперь не только Тарас плюнет вслед хвосту. Не буду же я оправдываться перед каждым!

Ох и надавали бы мне ребята, случись такое в коммуне! Втихую, в темном куточке мы образумливали хвостунов. Антоныч в такие дела не вмешивался. Делал вид, что ничего не знает.

Шагаю по шпалам с опаской. Осторожно зыркаю по сторонам. Перехватываю взгляды встречных и поперечных: добрые они или злые, насмешливые или презрительные?

В каждом цехе есть укромное место, где братва перед сменой или в перерыве судачит о том и сем, устраивает перекур, перебивает белы косточки начальству, проводит бурные и мирные беседы, беспротокольные совещания, самостоятельные митинги. Та-

кое местечко есть и у нас — около вагона, снятого с колес и вросшего в землю. Это временная станция, одна из многих, разбросанных по заводу. На бумаге именуется «Домны», а на разговорном языке паровозников и движенцев сиделками, завалинкой, трепплощадкой, брехаловкой — как кому нравится.

Сегодня на трепплощадке людно. Машинисты, помощники, стрелочники, составители, путейцы дымят сигарками, ожесточенно спорят, хохочут. Развеселый уголок. Зря я, пожалуй, паникую. И думать, наверное, перестали о «моем» вызове.

Как только я подошел к ребятам, гвалт оборвался как по команде. Все уgomонились, потеряли интерес друг к другу. На одного меня смотрят. Отчужденно. С угрюмым любопытством.

Провалиться бы мне сквозь землю!

На этом, вероятно, и закончились бы сегодняшние посиделки, но приперся Быбочкин. Он подкатил к станции на моей Двадцатке. Стоял на правом крыле рядом с Андриюшкой Борисовым и размахивал газетой. Совсем я приуныл. Быбочкин ни одного слова не успел сказать, а я уже понял, что возносить будет хвостуна. Остановись! Посмотри вокруг! Скудные, хмурые лица. Злые глаза. Губы ругательные.

Быбочкин спустился на землю, поднял над головой газету, потряс ею, как флагом.

— Читали, братцы?!

Хромовые его сапожки зеркально сияют, скрипят кожаной подошвой. Лицо тоже сияет.

Ткнул в мою сторону газетой, припечатал шикар-ный ярлык:

— Вот он, виновник торжества! Здорово ты написал, Голота! В самую точку угодил. Высказал вслух то, о чем все думают. Вот так и рождается высоко-сознательный передовой рабочий, дорогие товарищи. Не с неба он падает, а вами же выдвигается в вожаки.

Трепплощадка не трибуна, тут нельзя шпарить по шпиргалке, не положено выбрасывать на кон заигранные карты, надо все время козырять, удивлять, иначе никто слушать не станет. Не обязаны. Не умеешь болтать — рта не раскрывай.

Кто-то остановил оратора:

— Эй, закругляйся! Скоро гудок.

Быбочкин взглядом разыскал наглеца, посмеявшегося испортить песню. Остановился на машинисте Кваше. Как не подумаешь плохо о таком? Морда опухшая, будто пчелами покусанная. Глазки заплывшие.

— Что вы сказали?

— Я пока ничего не говорил. В рот воды набрал. Но могу и брякнуть кой-чего. Как насчет этого самого... грузчика Тараса? Есть слух, что ему наш герой рыло расквасил. Правда это или кривда?

Быбочкин побагровел.

— Тень на плетень наводите! Не позволим!

И пошел и пошел громить.

Кваша терпеливо переждал бурю и опять за свое:

— А как все-таки насчет мордобития!? Было или не было?

Все засмеялись. И мой помощник Непоцелуев не постеснялся хохотать.

Быбочкин гремел своим басом на самой высокой ноте:

— Можно и по рукам ударить тех, кто мешает нам строить великое будущее! Вот так, друзья! Будьте здоровы!

Взглянул на часы и суетливо зашагал по шпалам. Только теперь, когда Быбочкин ушел, разгорелись страсти.

Кваша смерил меня с ног до головы взглядом, покачал головой.

— Недотрога! Правый и чистый. Ток высокого на-

пряжения! Череп и кости! Берегитесь, голые руки! С сильным не борись, с богачом не судись, с Голотой не гневись...

Один распекает меня, а все остальные смеются. Лучше бы избивали. Хуже кулаков это — быть посмешищем в глазах своих товарищей.

Порываюсь уйти, но удерживают неожиданные слова Алешки.

— Над чем смеешься, Виктор Афанасьевич? — спрашивает он у Кваши. — Хорошая статья Голоты. Я принимаю его вызов. Поборемся! И тебе не мешает включиться в соревнование.

— Заткнись, Лексей! Не об газетке гутарим. Фулигана обсуждаем. Что же это получается? Шиворот-навыворот. По нашим порядкам драчуна положено тащить в народный суд, а его в герои выпихивают.

Трепплощадка уже не смеется. Посерьезнели и паровозники и движеньцы. Все вглядываются в меня, все казнят. Бррр!.. Слава богу, гудок заревел.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Рано утром к одиннадцатому корпусу подкатил трехколесный бордовый мотоцикл. Спицы ровненькие, сияют. Руль никелированный, широкий, как воловь рога. Мотор работает мягко. Цепь не гремит. Выхлопная труба приглушенно, без копоти выбрасывает отработанный газ. Завидная машинка. На таком рысике можно доскакать не только до Уральского хребта, но и дальше, до самого Златоуста. Договорились мы с Алешкой махнуть в лес по ягоды.

На водительском троне Алеша. В коляске примостилась женщина в темном платье. А это кто?

Захлопываю окно, хватаю рюкзак с харчишками и бегу вниз, напевая: «Будем, как солнце! Будем, как солнце!»

Не будем!.. В мотоциклетной коляске расселась сумасбродная мачеха Алешки. Ну и компания!

Я приуныл и растерялся так, что еле поздоровался. Все мои чувства и думы выступили жирной кляксой на лице, как на промокашке.

— Что это с тобой, Саня? — удивился Алешка. — Не выпался? Зубы ноют?

Я не успеваю ничего сказать. Тетя Маша заговорила:

— Скривился, як середя на пятницу. Як же ему не кривиться? Уговорился с другом путешествовать, а тут баба увязалась.

— Что вы, Марья Игнатьевна! Я рад.

— Нехай буде гречка! Садись швидче, а то медведь все ягоды языком слижет.

Взобрался я на заднее седло, обхватил Алешку, и мы поехали. Близкими кажутся горы, если смотреть на них на ясной зорьке. Но добираться к ним по пыльной и ухабистой дороге нелегко. Только через час, исхлестанные встречным ветром, измотанные тряской, попали мы на горное озеро. Синее оно среди молодого ельника, карликовых березок, старых елей и древних, с раскидистыми ветвями сосен.

Мы с Алешкой сразу кинулись на травяное раздолье. Кувыркамся, дубасим друг друга кулаками, захлебываемся смехом и все ближе к воде подбираемся. Хорошо! Не верю, что мы когда-то ссорились.

Марья Игнатьевна засмотрелась на нас. Сидит, как богородица, скрестив на груди руки.

Мы разделись и побежали в озеро, а она выбралась из коляски, начала разгружать свое добро: сырую картошку в ременной авоське, молочный би-

дон, черную буханку, берестовые туюски, корзину с припасами.

Одним махом выплываем на середину озера, на глубину, осветленную солнцем до самого дна.

Алешка, будто на перине, разлегся на воде. И я закидываю руки за голову, вытягиваюсь в струнку, становлюсь невесомым. Лежим блаженствуем.

— Хорошо! Дальше некуда!

— Посмотрим, что скажешь, когда увидишь поляны, засыпанные ягодой, когда маманя испечет картохи!

— Чересчур молода твоя маманя.

— Не такая она молодая, как тебе кажется. Скоро сорок стукнет.

— Ладишь ты с ней?

— А чего нам ссориться? Хорошая она. Если бы все такие были!

Вот тебе и раз! А как же быть с ее сумасбродством? Осторожно забрасываю удочку.

— А почему она, хорошая, людей пугает?

— На такие дела она мастерица, — засмеялся Алешка. — А чем тебя она напугала?

— Так... одной выдумкой. Приперла к стенке, заплакала: «Пропал мой братик. Придется тебе, Санька, стать его заместителем».

— Странно. Не так она пугает. Правду-матку режет. На несправедливость бешено кидается. Не перепутал ты чего-нибудь? Первый раз слышу о братике. Сирота она! Вся ее семья благополучно скончалась. Не понимаю. Может, опять припадок? У нее с головой что-то было лет пять назад. Не шумела, тихо плакала и лимон из рук не выпускала.

— Лимон? Почему лимон?

— А кто ж ее знает... Папаша принес лимон, а она схватила его и разревелась. Ни на какие вопросы не отвечала... Не скоро пришла в себя. Тогда, как с ней это случилось, папаша долго болел сердцем.

Алешка ударил ладонью по воде и поплыл к берегу.

Минуты через три он бежал по солнечной лужайке, что-то кричал мамане. А я все еще был на середине озера. Отяжелел. Зуб на зуб не попадал. Еле выбрался.

Лежу на берегу, трясусь в ознобе. Собственных мыслей боюсь. Что же это такое? Не может этого быть. Примстилось лунатику, как говорят коренные уральцы.

А может, и не показалось. Всякое на земле случается. Народы гуртом пропадали. Целые континенты обнаруживались вдруг. Отец через сорок лет находил свою дочь. Брат обнаруживал сестру на дне преисподней.

— Санька, что это ты вздумал загорать? — кричит Алеша. — Пошли ягоды огребать! Поднимайся!

Нет, чудес не бывает. Выбрось чушь из головы!

— Санька, ты слышишь?

Слышу, друг, а подняться не могу. Такое навалилось...

Подбежал Алешка, заглянул в мое лицо, испугался.

— Да что с тобой сегодня, парень?

— Чуть не утонул. Бррр! Ледяная вода!.. Оскандалился.

Бравой походкой, с приклеенной улыбкой на морде, направляюсь к мотоциклу, к тете Маше. Голос ее хочу услышать.

— Ну, Марья Игнатьевна, где ваши хваленые ягоды?

— Везде, куда ни пойдешь, краснеют.

Восемнадцать лет прошло с тех пор, как я видел и слышал Варьку. Здорово изменился ее голос. Была девочкой, а теперь маманя.

Опасна преждевременная радость. Что буду делать, если не она? Как перенесу разочарование?

— Ну, ягодники, получайте орудия производства! — объявляет Алешка.

Его я хорошо вижу, а на нее боюсь взглянуть.

— Не собирать будем ягоды, а грабить. — Алешка достает из корзины деревянный совок с густо нарезанными длинными зубьями. — Грабилка! Сделана из белой ивы. Древний инструмент. Тыщу лет назад изобретен. Берите сию штукуну, молодой человек, сын двадцатого века, герой социалистической эпохи, пользуйтесь да благодарите предков за то, что они голову на плечах имели, хотя и не было у них Магнитки.

Он балагурит, а мне жутко. Вот оно, прямо передо мною, рукой можно тронуть то, что разлучило Варю со мной, отцом и матерью: гнилоошрабский кабак, шелковый платок, брошенный на пол, и лимон. Варька прижимает его к груди и плачет. Столько отдала за эту драгоценность, а оказалась ненужной. Умер дедушка Никанор.

— Ну, пошли! — говорит Алеша. — Кто куда! Враспынную. Охота, ягоды и грибы не любят артельной толкотни. Маманя, Саня, пока! Не увлекайтесь, почаще сотрясайтесь воздухом! Собираемся к полудню.

Он пошел в одну сторону, она — в другую, я — в третью.

Так и не осмелился я взглянуть на нее.

Иду себе и иду, по лужайкам и просекам, продираюсь сквозь кустарник, машинально нагибаюсь, машинально останавливаюсь, машинально гребу ягоды. Варя из головы не выходит. Где столько лет пропадала? Почему не давала о себе знать, когда еще и отец, и мать, и все были живы? Боялась мокрой веревки? Измазанных дегтем ворот? Или так возненавидела веревку, что знать ничего не хотела о Собачеевке? И даже имя свое возненавидела. Маша Сытникова! Знает или не знает ее историю Родион Ильич? Нет, такое нельзя доверить мужу.

Какое же я имею право раскрывать ее тайну?

Вот и все, вот и докопался до сути. Не она! Если даже и она, все равно не она. Тетя Маша! Марья Игнатьевна Сытникова. Всеми уважаемая жена Родиона Ильича Атаманычева, верная подруга Побейбога. Маманя. Так и зарубим на носу.

И я с утробной радостью, вдруг нахлынувшей на меня, закричал:

— А-а-а-а-у-у-у!

И там и сям — в горах, на озере, в ельнике, среди сосен, на полянах и в логах — загудело, завывало.

Затрещали кусты, и на лужайку выскочила маманя. Тяжело дышала. В огромных глазницах застыл ужас.

— Ой, какой же ты крикливый! Божевишна душа! Думала, медведь на тебя напал. Бодай тоби, дурню! Разве можно так лякать?

— Виноват, Марья Игнатьевна.

Она, чистая она! Такой же, как у отца нос, чуть курносый. Такие же, как у матери, волосы, густые, подсвеченные сединой. И глаза нашей породы. У бабушки были такие же очи, большие, темные, молодые. Она! Здравствуй, Варя! Здравствуй, пропащая! И до свидания! Не узнаю тебя, сестрица, до тех пор, пока сама не захочешь признать своего брата. Вот так и будем жить. Вместе и порознь. Открыто и закрыто.

— Ну, нагреб? — Маша заглядывает в мой туесок и шумно хлопает в ладоши. — Молодчина!

Вижу, чувствую, не ягоды ее радуют. Любуется братом. Светится вся, дрожит.

— Ну пошли дальше! — приглашает меня Варя.

Полянки и кустарник. Теплый свет и сумрак про-

лады. Острые камни и топкие тропы. Из одного мира в другой переходим, и всюду нам хорошо.

В сырой и темноватой ложбинке она остановилась, достала из корзины маленькую, чуть пошире стамески, стальную лопаточку и начала ловко выкорчевывать пышное растение с длинными и узкими, похожими на перья листьями. Вырыла, отряхнула от земли, отправила добычу в корзину.

— Страусник! На него теперь большой спрос. Отваром корневища клопов травим. И против всяких глистов верное средство.

Не унесла с собой в могилу бабушка Груша своих знахарских тайн. И когда только успела Варька перенять ее опыт?

Каких только чудес нет на земле! Человек — это вся вселенная.

Вот о чем надо писать ударнику, призванному в литературу, а не высасывать из пальца художочные мыслишки о «рыхлом» и «главном жителе планеты»!

Маманя вдруг останавливается, поворачивается ко мне.

— Саня, ты на меня сердисься?

— На вас?.. Что вы! Уважаю и люблю.

— Да? А за что? Почему? За яки таки доблести?

— Хорошая вы.

— Яка я там хороша! Так себе. Поматросить да забросить надо! Шутковала с тобой плохо. Дразнила. Науськивала сама на себя. Братика приплела. Значит, не сердисься?

— Нет.

— Ну и хорошо! А я грешным делом думала, ты совсем протух, с черными жабрами живешь среди людей.

Стоим на поляне, залитой солнцем, вглядываемся друг в друга и разговариваем на опасную тему. Вокруг нас, как и тогда, в Батмановском лесу, некошенная, по грудь трава, темные кружева теней от деревьев, белые островки ромашек. Перекликаются птицы. Порхают бабочки. Пахнет земляникой, разогретой хвоей, заматерелой грибной сыростью.

Тишина звенит, как стрекозиные крылья.

Извечный лесной покой раскинул над нами свою паутину.

Сколько лет, да еще каких, прошло, пролетело! Сколько мы лиха хлебнули! Собачеевка. Мировая война, война гражданская. Разруха, голод, тиф, скитания. Нэп.

— Чем я вам не понравился, Марья Игнатьевна?

— А кому нравятся червивые шишки на ровном месте? Каждому глаза мозолят. И больно от них. И срамно. Настоящий пан — Санька Голота! Прямотаки валет бубновый: с одной, верхней стороны — герой, историческая личность, а с другой, нижней — оторви да брось. Газета печатает одно, а молва другое разносит. Не знаешь, кому верить. Слава богу, своими глазами увидела, какой ты на самом деле, музейный или живой.

Нельзя мне сейчас выть от боли или хмуро отмалчиваться. Должен улыбаться.

— Марья Игнатьевна, чужой я вам, а вы так близко ко сердцу принимаете. Почему?

Не отвечает. Губы ее затвердели. Чувствую, колеблется, сказать правду или не сказать. Скажи, Варя, скажи, сестрица!

— Ну и ляпнул! Чужих людей не бывает. Есть чужие нелюди с руками и ногами.

Издали доносится звонкое, смачное чиханье Алешки. Одно, другое, третье. Ему и аукать не надо.

Мы с Варькой смеемся и откликаемся в два голоса:

— А-а-а-а-у-у-у!..

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Заскрипели, завывали тормоза у встречного «лин-кольна». Темным дымком закурились скаты, намертво прижатые к асфальту. Задняя дверца директорской машины распахнулась, и послышался мягкий, веселый говорок Губаря:

— На сыщика и разбойник бежит! Садись, земляк, рядком, да поболтаем ладком.

Яков Семенович втянул меня в машину.

— Погоняй, Петя!

Шофер с превеликим интересом, как на ярмарочное чудо, посмотрел на меня, поехал дальше. Не впервые видит, а удивляется. Вот так теперь все поглядывают на меня. Под стеклянным колпаком живу. Прошли времена, когда можно было без всякого ущерба для своего авторитета и на паровозе дурака повалить, и на базарной барахолке потолкаться, и потрепаться с ребятами в забегаловке за кружкой пива, и в очереди за воблой или еще за чем постоять. Персона!

Раньше рад-радехонек был, когда на велосипеде ехал, а сейчас без всякого смущения на заморской гончей собаке раскатываю. Да еще с самим Губарем на кожаных подушках восседаю. Привык запросто с начальством общаться.

— Ну, земляк, как поживаешь?

— Хорошо, Яков Семенович. А вы?

— Мое дело десятое. Не обо мне сейчас речь. Значит, хорошо? Оно и видно. Сияешь. Так и дальше держи, земляк. Хозяин! Владыка рабоче-крестьянской державы. Пуп земли советской.

До стычки с Тарасом и Квашей такие слова услуждали мой слух. Теперь не перевариваю. Не считаю себя ни замухрышкой, ни пятым колесом телеги, ни тем страшилищем, о котором говорил Кваша на трепплощадке. Но и не владыка, не пуп. Просто рабочий человек.

— Почему хмуришься? Чем я тебе не угодил?

— Мало похвалили. Больше заслуживаю. Будь ласка, нахваливайте еще!

Губарь расхохотался.

— Тебе, оказывается, нельзя палец в рот класть, кусаешься. Недооценил. Забыл, что ты не просто ударник. Призвался! Читал я твой рассказ и радовался. Ну, а как дальше? Продвигаешься в литературу или на месте топчешься?

Я пожал плечами, ничего не сказал.

— Имей в виду, земляк, я кровно заинтересован в твоём сочинительстве. Особенно в тех художествах, какие ты втихомолку тайно намалевал.

— Какие художества? — Я с недоумением посмотрел на Губаря. — Какая тайна?

— Не темни! Все я видел.

— Что вы видели?

— Ты гений, земляк! — Губарь подмигнул. — Так искренне притворяться!.. Bravo! Но и это не поможет. Сейчас уличим малярных дел мастера.

Петя прислушивался к нашему разговору и ухмылялся. Очевидно, он был в курсе того, что замыслил Губарь.

— Яков Семенович, куда мы едем?

— На закудыкину гору, на место твоего преступления.

Ну и Губарь! Вот о ком можно написать не только рассказ, но и повесть и целую книгу. Был клепальщиком, а теперь голова Магнитки, всему миру виден. Тратит в месяц миллионы и миллионы долларов и рублей. Прямой проводом связан с Кремлем. Отчитывается по телефону перед наркомом и самим Сталиным. Член ВЦИКа. И развеселая, всем доступ-

ная личность. Недавно писатель Ефим Зозуля напечатал о нем громадную статью в «Правде». Хороший портрет волевого начальника вылепил. А Губарь, слышал я, посмеивался над своим изображением. Интересно, чем недоволен? Спрашиваю:

— Яков Семенович, почему вам не понравилось сочинение про знаменитого директора?

— Откуда ты взял? Кому не нравится, когда его нахваливают! Еще больше себя любишь. Забываешь про свой маленький рост. Богатырем себя видишь.

— Нет, правда, Яков Семенович!

Губарь перестал смеяться.

— Не завидуй Зозуле, Сашко! Не про нас, директоров, тебе надо писать. Не я отгрохал эти дома, мартены. Не на моих плечах держится Магнитка. Ищи героев в котлованах, у домны, на верхопуре, где вкалывают монтажники Атаманчука. В своей душе получишь поройся, ударник, призванный в литературу! Вот тебе и вся правда.

Так я ему и поверил! Скромничаю.

Губарь смотрит на меня опять с лукавинкой, себе на уме, и дальше отнекивается.

— А насчет своего портрета я вот тебе что скажу... Слушай да на ус наматывай. Не волевой я начальник, а канатоходец. С утра до вечера туда и сюда по туго натянутой проволоке мотаюсь, балансирую над пропастью. Эквилибрист. Не схитришь — не победишь. Ловчу с землекопами, бетонщиками, монтажниками, горячими рабочими и даже с самим наркомом. А что делать? Денег и материалов дают в обреш, а требуют... Губарь, кровь из носа, к Первому мая забетонируй фундамент блюминга!.. Губарь, не оскандайся, к сроку задуй мартеновскую печь!.. Губарь, не прозевай и то, и это, пятое и десятое!.. Тысячи людей пишут, хватают за грудки на всех перекрестках: Губарь, дай квартиру, живу в затопленной землянке!.. Губарь, почему скудный паек?.. Губарь, где Дворец культуры, асфальтированные дороги, водопровод?.. Почему мало бань и прачечных?.. Губарь, у Магнит-горы появились ковчеги, и начались грабежи, убийства!.. Губарь, почему мертвых тащишь за тридевять земель? Стыдишься кладбища?.. Губарь, и родильные дома, и стадионы, и больницы, и столовые поднимай скоростными методами!.. Горы неотложных проблем наваливаются на беднягу Губаря! И не решишь их подписью. Грубая материя требуется. Вот и приходится изворачиваться: там недодашь, там недоговоришь, в другом месте стороной обойдешь опасный вопрос, в четвертом прикинешься Иванушкой-дурачком, в пятом наобещаешь три короба, в шестом вместо разноса вынужден хвалить, премировать... Нехорошо! А что делать? Живем без иностранных займов, на подножном корму, в сложное переходное время, в капиталистическом окружении, на подступах к великому будущему. Но на подступах! При социализме будем богатыми и правильными до самого дна, а пока... издержки производства.

Все запомнил, что говорил Губарь. Потом раскумеаю, что всерьез, а что шуточки ради сказано.

Мы промчались по главной дороге, разрезавшей Магнитку надвое, свернули на пыльный проселок. Слева остался завод, справа Магнит-гора со всем своим семейством. Выскочили на дальнюю окраину и остановились по ту сторону железнодорожного переезда. Вышли из машины и вглядываемся в «место моего преступления». У шлагбаума в землю вколочена железная пика со щитком. На белом поле алеют аккуратно выписанные буквы:

«Шапку долой, товарищ! Ты въезжаешь на глав-

ную строительную площадку Пятилетки, в будущую столицу советской металлургии!»

Губарь, лукаво ухмыляясь, смотрит на меня.

— Здорово! — говорю я.

— Ну и хвастун же ты, земляк. Сам себя нахваливаешь.

— Почему себя? Не понимаю.

— Отказываешься? Не ты сочинял?

— Не я. Честное слово.

— Кто же, если не ты? — Губарь всерьез озабочен. — Почему не знаю автора? Кто такой? Где проживает? Что делает? — Постучал ногтем по железному щитку. — Настоящее художество! Звенит. Здорово, чертяка, придумал. До земли поклонюсь, когда разоблачу. А может быть, все-таки ты, Голота? Сознаться! Чистосердечное признание смягчает вину.

— И рад бы, Яков Семенович, в рай, да грехи не пускают.

— Ладно, задавака, поехали дальше!

На шоссейной дороге, ведущей на Магнит-гору, мы увидели еще одну железную пику с приваренной к ней стальной белой плахой. Алыми красивыми буквами написано:

«Земля как бы чувствует, что родился на ней законный, настоящий, умный хозяин и, открывая недра свои, разворачивает перед ним сокровища. МАКСИМ ГОРЬКИЙ».

— И это не последнее художество таинственного автора, — говорит Губарь. — Погоняй, Петя!

Разворачиваемся, едем дальше, вниз, на другой конец города, откуда можно попасть в степи Казахстана. И тут, перед южными воротами Магнитки, на ровном, голом месте торчит щиток с надписью:

«Вот настоящая, но временная граница Азии и Европы. Временная! Придет час, и мы поднимем целину, отодвинем азиатскую границу в самое пекло пустыни».

— Погоняй, Петя! — командует Губарь.

На бетонной плотине озера мы задержались, расшифровывая мудреную надпись:

«Наше море, море Магнитки, — наш жаркий трудовой пот, наши горькие слезы, пролитые в морозные и вьюжные дни и ночи тридцать первого года».

— Н-да! — Губарь подчеркнул карандашом слово «слезы» и спросил: — По твоим силам такая работенка?

— Не понял, Яков Семенович.

— Я говорю: потянешь этот воз дальше?

— Опять не понял.

— Смотри какой бестолковый! Стоящее, говорю, дело. Политическая поэзия. Мобилизует массы. Такие вот призывы должны появиться около домен, у блюминга, перед электростанцией, у ворот соцгорода, на аэродроме. Вдохновись! Теперь понял?

— Понял, но... Пусть тот, кто начал, и продолжает эту работу.

— Так он же, барбос, прячется. И кроме того, медленно, кустарно работает. А если ты возьмешься за это дело, мы поставим его на поток, механизуем, двинем вперед, как говорится, семимильными шагами. Ну, согласен?

— Не справлюсь.

— Поможем! В механическом сварят что надо, откуют, покрасят. Твое дело — чистая поэзия.

— Нет, Яков Семенович! Надо найти автора.

— Следы заметаешь, земляк. От Быбы не уйдешь. Он уже пронюхал о твоей анархистской затее. Самостоятельное художество! Без благословения председателя. Всякое может состряпать своевольный поэт и маляр!.. Берегись, Голота! Быбочкин живьем с тебя шкуру снимет. Боится он такой поэзии.

Шутит Губарь или всерьез? Не пойму.

Если и снимет Быба шкуру, то не с меня. Догадываюсь я, чьих рук это дело. Алешка постарался. Маляр он известный. Свою Шестерку лихо разукрасил, любо глянуть.

Возвращаемся домой сумерками. На косогоре Золотой балки столкнулись с длинным обозом золотарей. Глаза лошадей дико горели в свете автомобильных фар. Ямщики чертыхались, не уступали дороге. Петя заставил бешено гавкать гончую — все равно не посторонились. Боялись обозники перевернуть свои бочки с добром. Пришлось «линкольну» взять правее, притормозить. Стоим с выключенным мотором, ждем, пока освободится дорога. Губарь внимательно присматривается к людям, сидящим на облучках, тяжело вздыхает:

— Вот, Голота, ты нос воротишь, а для меня это самая насущная проблема! Двести тысяч человек живет в Магнитке, а канализации нет и пока не предвидится. По старинке, как и тыщи лет назад, на двор бегаем нужду справлять. А в золотари теперь никто не желает идти. Все хотят быть сталеварами, горновыми, прокатчиками, электриками. Добровольцев приходится скликать и мобилизовать. Но все равно не справляемся с очисткой. Беда! Серго на днях звонил специально по этому вопросу, мылил мне голову.

Показался хвост обоза. Петя включил фары. Последняя пароконная бочка на рысках прогремела мимо нас. Две или три секунды была она в полосе света, но я успел заметить, кто правил лошадьми. На облучке, как на мягком диване, барственно развалились Алешка и Хмель. Курили, о чем-то разговаривали, смеялись. На роскошный автомобиль даже не взглянули. Хорошо, что не заметили меня.

Ну и ну! Чуть не сгорел со стыда.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На Тополевой улице грузовики свободно разъезжаются, а нам с Тарасом Омельченко и на раздолье среди бела дня не разойтись.

Я с работы иду, а он с гулянки возвращается. Визжит гармошка в его руках. Хмельные девки виснут по бокам, выкрикивают страдания. Не дай бог столкнуться! Перехожу на другую сторону. Но и Тарас с девками шарахается туда же.

Увидел! Жаждет скандала. Пришлось мне поступиться гордостью и достоинством. Прижимаюсь спиной к барaku, даю дорогу. Тарас пошел прямо на меня и так саданул локтем между ребрами, что дыхание сперло.

— Здравия желаем, ваше благородие! Не узнали? Ваш бывший друг и помощник. Учили меня умному, в машинисты готовили, а потом... каблуком в душу. — Тарас сжал расписные мехи гармошки и глянул на хихикающих девок. — Не желает гавкать, собака! Придется разозлить... Держите! — Он отдал гармошку девкам и стал засучивать рукава рубахи. — Ну, ваше сиятельство, приготовьте румяную мордочку: дубасить буду, перекраивать на рыло.

Не верил я все-таки, что он полезет в драку.

Он размахнулся и бабахнул меня кулаком в висок. Я не успел отклониться. Искры посыпались из глаз. Загудела, зазвенела моя голова, как железная бочка, по которой ударили кувалдой. А Тарас еще прицеливается.

А я? Тряпка! Мямля! Кукла, а не мужик.

— Смотри, какой устойчивый. Бьют его по сопат-

ке, а он еще и харю подставляет. А может, ты баптист? Отвечай!

— Он глухонемой! — хихикает одна из девок.

Красное, синее, белое, зеленое!.. Не поднимай руку, Голота! Защищайся молчалим и презрением!

Наше свидание происходило под окнами барака. Люди видели, как мы любезничали. Смотрели, смотрели и не вытерпели. Полдюжины здоровенных мужиков выскочили на улицу. Обступили нас с Тарасом.

— В чем дело, коршун? За что клюешь голую птаху?

Удалой гармонист разжал кулаки, обмяк и растянул свой губошлепый рот в угодливой улыбке.

— Дурака мы валяем, цацкаемся. Это мой закадычный дружок. Подтверди, Голота, пусть люди не думают!.. — И он обнял меня.

Я брезгливо снял его руку с плеча.

— Бешеное отродье, а не дружок!

— Правильно. Все мы видели. Кто такой? Документы!

— А вы кто такие? — огрызнулся Тарас. — Есть у вас право документы проверять?

— Вот оно, понюхай! — Громадный дядя ткнул в нос Тарасу пудовым кулаком.

— Ну, ты, не очени! — пригрозил Тарас. — За такие дела тюрьму схватить.

— Ах ты!.. Ребята, вправим ему шарики?

— Не стоит руки марать... Догуляется!

И мы отпустили его.

А через неделю он заставил говорить о себе всю Магнитку. Глухой ночью поджег музейный барак. Был застигнут на месте преступления. На этом и кончились его похождения. Приговорен! Вот и все. Собаке собачья доля! Ну, Гарбуз, что ты теперь скажешь?

На суде я выступал в качестве свидетеля, а Ваня Гуцин был общественным обвинителем. Домой мы возвращались грустные, уставшие от долгого и тяжелого разбирательства дела. Молча шагали по вечерней улице, раздумывая над тем, что произошло. Есть над чем задуматься! Ну и простофиля я! Раскаивался когда-то, что громишу щелкнул по носу. Собирался ему в ноги поклониться.

Молча добрались мы до соцгорода, до моей Пионерской. Дальше нам не по дороге.

— Ну, будь здоров, старик!

Я долго не выпускаю его вялую руку. Всегда Ваня горячий, твердый, а теперь выжат до последней капли. Наговорился. Хочется мне сказать что-нибудь необыкновенно сильное, подбодрить Ваню, а подходящих слов подобрать не могу.

— Чего ты жмешься, старик? Рожай!

— Люблю я тебя, Ваня! Уважаю!

— Да?.. Смотрите, пожалуйста, какие телячьи нежности.

— Брось!..

— Бросаю... Ну что ж, старик, я очень рад. Наконец ты розжувал азбуку классовой борьбы. Если гад клацает зубами и шебаршит жалом, ему надо размозжить голову серпом и молотом. Вот и вся наука.

— Да, теперь ясно, но тогда... Ведь он, гад, прикрывался добрым именем Тараса, трудовой книжкой грузчика, пролетарским происхождением.

— Прикрываются они не только этой личиной. Твоими друзьями становятся. В крестные отцы пролазят. Высокое членство приобретают.

Переусердствовал Ваня. Хватил через край. На Гарбуза намекает. Вот тебе и свежая голова! В истории с Тарасом он, Степан Иванович, конечно, ма-

лость ошибся. Но кто не ошибается? Алешка тоже считал меня виноватым. И даже Лена, хотя она прямо ничего не говорила, была не на моей стороне.

— Ты чего, старик, надулся?

— Зря ты, Ваня, делаешь тонкие намеки на толстые обстоятельства.

— О чем ты?

— О том самом...

— Ну знаешь, старик!.. На воре шапка горит. Не приписывай своих неблагоприятных мыслей другим. — Ваня засмеялся. — Все-таки недотепа! Опасно тебя одного оставлять. Пойдем!

И он потащил меня дальше по Пионерской, мимо моего дома. К себе приволок. Выставил водку, пиво, закуски. Сначала я угощался неохотно, через силу, а потом... До поздней ночи пили и ели. Разгулялись.

На работу я пошел с тяжелой головой.

Перед гудком на трепплощадке я очутился рядом с Квашей. Чего он жмет ко мне?

Принюхивается и фыркает:

— Трактором воняете, ваше героическое сиятельство. Здорово, видно, хватили. Не меньше ведра.

— Завидуешь?

— Вурдалаки тебе завидуют. Я водку пью, а ты... чужими слезами и кровью не брезгуешь! Знаю, по какому случаю ты пьянствовал. Победу праздновал. Отыргнуты тебе эти поминки!

Это я-то радуюсь чужим слезам, пью кровь? Я, влюбленный в жизнь, в людей, во все хорошее?! Вот до чего доводит человека зависть. Виктор Афанасьевич — такой же машинист, как и я, мой товарищ по работе, вкалывает, творец пятилетки, а так подпевает классовому выродку.

Он злится на меня, а я не даю себе воли. Спокойно вразумляю его:

— Да, Виктор Афанасьевич, праздновал. Но не свою личную победу, а общую. Не светит Тарасам испортить праздник на нашей улице.

На сонном лице Кваши ни понимания, ни возражения, ничего живого.

Ладно, черт с тобой, пропадай! Обойдемся и без таких товарищей. Невелика потеря. Есть у меня целая ватага друзей: Ленка, Алеша, Гарбуз, — всех не перечтешь. Вот если бы они отвернулись от меня... Нет! На всю жизнь прикованы ко мне. И я к ним приварен.

Алешка подкатил к моей Двадцатке, мягко притормозил и остановился окном к окну: можем свободно протянуть друг другу руки.

— Вот и мы! Давно не видались... целых пятнадцать минут!

И смеется. Рот растянут до ушей. Морщина на переносице разгладилась. Вспыхнула смуглая кожа на щеках. Славный парень! Померкла трепплощадка, забыт Кваша со своими мстительными нападками, провалились в тартарары пожар, суд, все плохое, мелкое. Вижу и чувствую только одно хорошее: домны, принимающие в свое чрево ураганный ветер, и Алешку. Такой он мне дорогой! Рабочий человек! Оратор! Поэт! Побейбога! И даже золотарь! И ничем не хвастается. Все доблести прячет под серыми соловьиными перышками. Ждет своей весны, чтоб запеть. Надо и мне уважать его скромность.

Не проболтаюсь, не выдам даже тебе свои тайны!

— Прыгай, Алексей, сюда, — говорю я, — побала-

каем, обсудим, почем фунт лиха.

Сидим на правом крыле моей Двадцатки, прохлаждаемся, пока на домнах нет жаркого огня. Одно кресло на двоих. Одна мысль на двоих. Я только хочу сказать «Давай закурим», как Алеша достает папиросы. Лады!

В окне Шестерки показался помощник машиниста, тот самый белорусский паренек, бывший дезертир, Хмель. Растерянно докладывает механику, что воздушный насос дымит, дает утечку. Мы с Алешей засмеялись. Не может такое случиться с воздушным насосом. Перепутал Хмель пар с дымом. Ничего, со временем поймет, где грешное и где праведное.

Взбираемся на Шестерку, выясняем неполадку: ослабли, подгорели и пропускают пар сальники. Алешка достает ключи, принимается за работу. Я навязываюсь в подручные.

— Давай, Алеша, вместе! Вдвоем и батяка веселее бить.

«Бьем батяка», и вдруг мокрый пар, смешанный с осколками стекла, с ревом и свистом под давлением десяти атмосфер загремел, заклокотал на паровозе, окутал его от колес до трубы.

— Лопнуло водомерное стекло! — крикнул я и бросился к котлу. На ходу сорвал с себя куртку, нахлобучил на голову. Перекрыл краники, через которые выбивался пар. Буря сразу затихла.

Радоваться надо, что все благополучно обошлось, а я смущен. Опередел Алешу. На чужом паровозе похозяйничал. Нехорошо.

Жду, что он обидится, как я в тот раз, когда растянулся между домнами и разливочной машиной. Самолюбие есть и у поэтов и у гербовых дел мастеров.

— Ишь, махонькая штучка, а звону на всю Магнитку, — говорит Алеша. — Добре, что гнезда краников не заросли накипью, легко провернулись, а то бы ошпарился.

Он, оказывается, даже не заметил, что я опередил его, взял на буксир. Достал запасной рифленый брусочек водомерного стекла, приложил внутренней стороной к щек: хорошо ли отшлифован, плотно ли, без зазоров станет на свое место? Лады!

В четыре руки мы соединяем верхний и нижний контрольные краники прозрачным каналом. Р-раз — и готово, прибор работает! Теперь можно и воздушный насос доделать.

Две рабочие руки — хорошо. А четыре, да еще дружеские, — совсем хорошо. Скрещенные руки — вот наш незримый герб, мой и Алешин. В любую бурю бросимся, если надо. Любимый пожар потушим, всякого поджигателя за горло схватим.

Эй, Кваша! Разве такие они, кровопийцы, как я? Ищи их в другом месте! И на себя посмотри: кого защищаешь и на кого нападаешь!

Верю я, Кваша, рано или поздно, поймешь ты, что не такой Голота, каким ты его намалевал. Имею много недостатков, но все же не кровопийца.

Насос собран, опробован. Порядок!

Вымыли керосином руки, ополоснули в теплой воде, вытерли ветошью.

— Пора обедать! — говорит Алеша.

Идем в столовую на литейный двор, к доменщикам. Оба рослые, молодые, кровь с молоком. Уральская земля гудит, выгибается под нами, словно под чугуновозами. Горячая волна остается позади, а прохладная бежит впереди. Глядя на нас, улыбаются лаборантки, хронометражистки, подавальщицы. Да так улыбаются, что Лена, будь она здесь, пообеднела бы от ревности.

И не только девушки провожают нас взглядом. И мужики смотрят. Радуются люди, что мы не поссорились из-за дивчины.

Сплетни разные об Алеше и Лене плетут, а меня они не трогают. Если даже это правда, все равно

ничего. Люблю Ленку. Ничуть меня не касается то, что было.

Шли мы с Алешей и ликовали, гордились, что мы не какие-нибудь старорежимные замухрышки, готовые перегрызть друг другу горло, а магнитные люди.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Сажу на подоконнике, выглядываю Ленку и Алешку. Вместо них появился Степан Иванович. Первый раз с тех пор, как столкнулись лбами, пожаловал. Вышел из машины и, увидев меня в окне, закричал:

— Давай сюда, живо!

Я оделся, сбежал вниз.

Гарбуз сует мне свою твердую, с мозолями, как у горнового, руку, застенчиво улыбается.

— Приехал... Сменил гнев на милость. Разобрался в твоём деле с Тарасом. Пуд соли пришлось съесть. Извиняй, брат!

— Не за что. Нельзя было поднимать руку даже на выродка. Правильно вы тогда отбили драчуна.

— Ладно, хватит! Садись, поедим!

— Куда?

— Чего испугался? Не на работу приглашаю. Рыбачить едем с Губарем и Быбой. Составишь компанию?

Разве откажешься? Больше трех недель моталась между нами черная кошка. Истосковался я по Степану Ивановичу.

— Что ж, могу составить... Подождите, я нацарапаю Лёне цыдульку.

— Давай царапай! — И Гарбуз подставил свою спину, обтянутую потрёпанной кожаной курткой, передал через плечо американский блокнот с золотым пером.

Я быстренько настроил: «Еду рыбачить с Гарбузом и Губарем. Примчусь к ночи. И буду в сто раз нежнее». Вторую записку написал Алеше...

Бегом поднялся к себе, подсунул две бумажки под дверь так, чтобы края их были видны, и скатился вниз.

Двигатель машины Гарбуза высокооборотистый, мистер «форд», 1932 год. Оставляя позади себя тучи пыли, мы вырвались из пределов строительной площадки. Семьдесят квадратных километров! Невсемся к Уральскому хребту, к знаменитому Банному озеру. Лимузин Губаря с серебряной гончей собакой на радиаторе и «газик» Быбочкина мы обогнали на полдороге. Гарбуз любит лихую езду. И мне хочется порулить, но я так быстро не умею.

Надвигались, теряли свою таинственную синеву горы. Стали видны купы деревьев, увалы и лога.

Гарбуз сейчас же, как прибыли на Банное, сбросил рубаху и пошел в лес собирать сушняк для костра. Родился около огня, вырос около огня, всю жизнь пробыл около огня и теперь, на отдыхе, не может обойтись без огня...

Серебряная гончая «линкольна» уперлась в склон горы. Губарь выскочил из машины и, гремя кожей светло-коричневого, припудренного пылью, известного всей Магнитке реглана, шагнул ко мне, протянул загорелую ладную руку.

— Доброго здоровья, раскоряка!

Трясет мою лапу, смотрит на меня и Быбочкина хитрым глазом.

Я смущенно улыбнулся, а Быбочкин расхохотался.

— Почему раскоряка, Яков Семенович? Лучший машинист Магнитки, ударник среди ударников, де-

путат горсовета, член комитета комсомола, студент, молодой писатель — и раскоряка? Я бы за такое оскорбление вызвал на дуэль и наповал уложил.

— Раскоряка! — повторил Губарь и подмигнул. — Да вы разве сами не видите? Одна нога тут, в Азии, в Магнитке, а другая черт знает где: за горами и степями, в Европе, в Донбассе, на бывшей Собачевке. — Толкает меня плечом. — Так или не так, Голота?

О гербах он почему-то ничего не спрашивает. Забыл? Разочаровался?

Мне хочется, чтобы не отходил от меня этот человек, хитроватый, улыбчивый, коренастый, ладный, с певучим голосом южанина.

— Так!.. — говорю я. — А вас разве не тянет в Донбасс?

Губарь подмигивает мне, и губы его легко, как у мальчишки, расплываются в улыбке.

— Тянет и меня чумазый Донбасс! Брякну когда-нибудь директорским жезлом и скажу: товарищ нарком, дорогой Серго, хватит, отрубил я свое на Урале, хочу в Мариуполь, на Азовсталь або на завод Ильича. Хоть мастером, хоть бригадиром, только бы дома вкалывать!

Нет, не брякнет. Магнитка для него и для всех дороже родного дома.

— Несчастные мы с тобой, Голота, люди, — продолжает Губарь. — Сейчас по родной земле тоскуем и после смерти будем не устроены. Расправятся со мной и с тобой, как того и заслуживают раскоряки: сердце захвалят в Донбассе, под курганом либо под террикоником, а ребра закопают у Магнит-горы.

— Неплохо, — подает свой голос Быба. — Кутузовская доля ждет вас. Сердце его осталось в Бунцлау, глаз похоронен в Крыму, а тело в Петербурге, в Казанском соборе.

— Спасибо за точную справку.

Губарь смеется, пожимает руку Быбе. И тот смеется. Доволен.

Гарбуз разжигал с шофером костер, готовил картошку. Губарь ушел в лес. А мы с Быбочкиным забросили в озеро крючки, уныло ждем удачи. Нет и нет ее. Слишком прозрачна вода — все видит рыба.

— Ну как, потомок, чувствуешь себя после покушения? — шепотом спрашивает меня Быба и почему-то оглядывается.

Вот они какие, хранители государственных тайн! Где надо и где не надо темнят, секретничают.

Я сильно шлепнул удилицем по воде.

— Давно и думать перестал. Был Тарас и нет Тараса, один пшик остался. Перековывается.

— Оптимист ты, Голота! Корешков Тараса не увидел.

— Ключет!.. — оборвал я Быбу.

Он выдернул из воды голый крючок, выругался:

— Сорвалась!..

Достал из банки свежего червя, ловко нанизал на крючок, швырнул подальше.

— Что у тебя случилось вчера?

— Вчера?.. Ничего.

— А взрыв?

— Какой взрыв? Где?

— Ну этот... когда тебя кипятком ошпарило.

— Да это просто лопнуло водомерное стекло.

— А почему оно лопнуло в тот самый момент, когда ты оказался на паровозе недруга?

— Атаманычев — недруг? Мы с ним друзья.

— И давно?

Самое подходящее место и время для вопросов и ответов! Чего он привязался?

— Карасей пугаешь, рыбак! Помолчите трошки.

— Слушай, потомок, а ты не можешь со мной

разговаривать без раздражения? Вроде нет причин. Уважать должен, а ты...

— Есть причина! — перебиваю я Быбу. — Друга записываете в недруги, покушение приписываете.

— С кем подружился, потомок? Известна тебе сердцевина Атаманычева? Знаешь, чем он занимался до тридцатого? Каким духом пропитан? Куда нацелился?

— Какой же он все-таки? Что натворил?

Быба многозначительно молчит и внушительно смотрит на меня мутными, набитыми дымом глазами. А я своего добиваюсь:

— Преступление Алешки секретное, да?

Он хмурится, долго выбирает в банке подходящего, на свой вкус, червя. Любовно нанизывает его на крючок и отвечает на мой вопрос вопросом:

— Видел ты на бетонной плотине клеветническую вывеску: «Слезы и пот народа»?

— Видел. Нашли виновника? Кто он, этот маляр? Быба метнул в озеро грозно засвистевший крючок с наживкой.

— Будущий строитель Беломорско-Балтийского канала. ЗК, статья пятьдесят восемь тире семь, пункт «б»!

Он засмеялся. Без меня веселится. Я спрашиваю: — Что ж преступного в этих надписях?

— Все! Видел самостоятельную мазню и не понял, куда нацелился выдумщик? Вот так историческая личность! Энтузиазм народа, его трудовую волю пытается подорвать этот писака.

— Да разве такое под силу одному человеку?

— Моська верит в свои силы, когда лает на слона. Если у маляра добрые намерения, чего он прячется? Белыми нитками шита красивая отсечетина. Пресечем! И кто же он, этот кандидат в лагерники?.. Твой друг Атаманычев. Есть экспертиза почерка! Есть вещественные доказательства!.. Раскумекал? Его песенка спета.

Вот оно, настоящее покушение. Смотрю на поплавок и ясно вижу в зеркале воды Алешу. Зарос бородой. На плечах лагерный бушлат. Смертная тоска в глазах...

Я ударил по воде удилицем, разбил зеркало.

Быба оглянулся, нет ли кого поблизости. Доверительно прижался ко мне и приглушил свой мощный бас:

— Я, потомок, знаю толк в такого рода выдумках. Всяких субчиков пришлось повидать. Были чистенькие снаружи, пригожие, и такие, что молились на красную звезду, и такие, что наши серпасто-молоткастые гербы против своего сердца припиливали.

Быба хлопнул себя по лбу, прикончил комара. Внимательно посмотрел на окровавленную ладонь, ополоснул ее в озере.

— Известно тебе, защитничек, что Атаманычевы подкармливают молочком да сметанкой малолетних наследников осужденного Тараса Омельченко? И деньжатами и барахлишком снабжают. Вот оно как! Советская власть карает поджигателя, а хуторяне Атаманычевы... Только за одно это надо их хватать за шкуру.

Не по душе мне все, что изрекает Быба. Раздражает и словами, и каждым своим движением.

— А почему нельзя пожалеть детей? — говорю я. — Да еще жене Атаманычева. Сколько она пертерпела в жизни!..

— Сколько?.. Что ты о ней знаешь?

— Знаю!

— Мы второй месяц разрабатываем эту святую семейку и никак до корней не можем докопаться, а ты все, оказывается, знаешь. Давай расскажывай!



— Ничего я вам рассказывать не буду.
Я выдернул из воды крючок, бросил на берег удочку и пошел к огню, к Гарбузу.

Степан Иванович удивленно смотрит на меня.

— Чего дрожишь? Замерз? Грейся!

До чего же хорошо слышать человеческий голос! До чего приятно смотреть в чистые теплые глаза. Быстро согрелся я около Гарбуза.

Уезжали мы с Банного сумерками, синими-синими, как вода в озере. Дотлевал костер, присыпанный землей. В лесу начала свою ночную песню какая-то птица: свист попеременно с визгливым хохотом. Улетучились комары. Одежда стала чуть влажной от вечерней росы.

Машины заняли свои привычные места: впереди «форд», потом гончая собака Губаря, в хвосте — козлик. Неказист на вид, но для меня милее «линкольна». Наша машина. Сделана в годы пятилетки. И на мои деньги построен автозавод на Волге. Скоро и у меня будет «газик». Плавится для него металл. Обтачиваются детали. «Автообязательство» приобрел. Отвалил аванс, остальную сумму выплачу в рассрочку. Научился рулить. Пока своей машины нет, я с завистью поглядываю на чужие, выклиниваю у шоферов баранку. Дают, не скупятся. И шофер Быбы расщедрился:

— Эй, Голота, хочешь порулить?..

Хватаюсь за переднюю дверцу и с диким воплем отдергиваю руку.

Водитель и Быба расхохотались.

Шофер проделал известный фокус с высоковольтным проводом: насытил корпус машины электричеством.

— За такие фокусы морду бьют, — сказал я шоферу. — Считай, я саданул тебя в ухо.

Подошел, громыхая кожаным пальто, Губарь. Лицо серьезное, глаза строгие.

— Надо бить не исполнителя, а вдохновителя. — Яков Семенович презрительно посмотрел на Быбу. Тот раскатывал в ладонях папиросу, напряженно ухмылялся.

— Шутки вы не понимаете, байбаки! Раньше Голота шутил, теперь я. Вот мы и квиты. Правда, Саня?

— Ничего себе шуточки! В американской тюрьме, в камере пыток так изволят шутить.

Быба почему-то не обиделся на слова Губаря. Смущенно смолк.

Мы конфликтует, а Гарбуз как ни в чем не бывало дымит в сторонке трубкой. Наконец не вытерпел, решил вмешаться.

— Тю на вас, божевильные люди! Из-за непойманной рыбы перегрызлись. Шкуру неубитого медведя не поделили. Закругляйтесь, лыцари! По коням!

Ну и ну! Удивил меня Степан Иванович своей примиренческой позицией. Не жалуется он Быбу, и все-таки... Что на него нашло?

Примчался в Магнитку. Я попросил Степана Ивановича подбросить меня в Горный поселок.

— Кто там у тебя?

— Друга надо повидать. Вы его знаете. На горячих работает. Атаманычев.

— Сын Побейбога? Славный хлопец. Хорошо, что вы сдружились.

— А Быба считает его будущим лагерником.

— На то он и Быба. Всех и каждого подозревает. Прибыльное дело. Бизнес! Он всякую анкету с увеличительным стеклом изучает. И такую темную лошадку выдвигают в отцы нашего города!..

— Председатель горсовета?! — изумился я. — Почему не возражали, Степан Иванович?

— Не помогло. Кто-то тянет его за уши. И сам изо всех сил лезет.

Гарбуз пренебрежительно махнул рукой.

— Пусть лезет, окажется на виду у Магнитки со всеми своими потрохами. Место это святое, не потерпит проходимца.

— Не понимаю, Степан Иванович. Презираете Быбу, и все-таки...

— А ты думаешь, я что-нибудь понимаю? Сто раз спрашиваю себя, как Быба попал в нашу партию. Почему и я и он члены бюро горкома? Ладно! На чистке все вылезет наружу.

— Но зачем же вы на рыбалку вместе поехали?

— А хотя бы для того, чтобы ты попробовал, пока на зубок, что это за фрукт. Сегодня набил оскомину, а завтра, гляди, раскусишь. Мало? Неясно? Могу кое-что прибавить...

Степан Иванович замолчал. Раскуривая трубку, он внимательно прислушивался к далекому гулу воздушной. Всмотривался в зарево доменных печей, впечатанное в темное небо. Там он сейчас, на горячих. Шурует с горновыми.

Зарево потускнело. Степан Иванович повернулся ко мне.

— Ты знаешь, Саня, я пришел в партийный контроль еще при Ленине. Нам, тогдашним работникам ЦКК, Владимир Ильич настоятельно советовал охотиться на красных сверху деляя осторожно, с подготовленных позиций. Хитро и умно. Гуртом и в одиночку. Не гнушаться обходным маневром, засадой, ребузом и даже какой-нибудь веселой проделкой. Вот я, по доброй старой привычке, немного и вольничал с Быбой. Крепкий он орешек. Я расшиб себе лоб, когда пытался атаковать его вруклопашную. Пришлось спрятать таран! И ты не лезь на рожон. Присматривайся! Накапливай факты! Готовь позицию!

Вот так разъяснил! Еще больше запутал. Презирай тихонько, а улыбайся вслух. Тебя трясет лихорадка, а ты веселись. Перед тобой обезьяна, а ты делай вид, что на льва смотришь. Чересчур горяч я для такого хладнокровного дела. Не умею сдерживать ни злости, ни радости. Все сразу выдаю людям, что заработали. Переучиваться поздно. Двадцать пять скоро стукнет.

Яркие автомобильные лучи уперлись в беленые мазанки и хаты с писаными ставнями. Гарбуз суетливо погасил свет, высадил меня в Горном поселке и укатил в свои Березки. Красные сигнальные огоньки «форда» медленно, раскачиваясь на ухабах, таяли в темноте. Я смотрел вслед машине и вспоминал, как Быба вторгся ко мне. Одной рукой обдирал липку, а другой наклеивал шикарные музейные ярлыки: «Потомок! Историческая личность!» А я, развесив лопухи, во все глаза смотрел на него. Не мудрено. Сам Гарбуз не сразу разгадал Быбу. А те, кто выдвигает его, и теперь не видят в нем ничего плохого. Чем он берет? Прошлыми заслугами? Внушительным басом? Вспышпопункательством? Напускной бдительностью? Речами, произнесенными в подходящее время? Трудное это дело — заглянуть в душу Быбы. Да и есть ли она у бессовестного? Что-то начали входить в моду и дорого цениться оборотистые работники вроде Быбочкина. Его на пушечный выстрел нельзя подпускать к ударникам, а он щеголяет в наших жоках. Быба — и рабочие!.. Возмутительно. Опасно.

Вхожу во двор Атаманычевых, иду на свет в сарае. Там светло, как днем. На длинном шнуре свисает большая яркая груша. Будущий строитель канала малярничает. Обнагел подпольщик, уже не таясь делает свое черное дело.

— Здорово, браконьер!

Преступник, застигнутый на месте преступления,

не вздрогнул, не выронил кисть. Ни страха, ни удивления, ни беспокойства.

— Здорово, рыболов. Как рыбачил?

— Плохо. Не клевала. Ну, а ты?.. Дорожные укатели нанялся красить? Или иконы малюешь?..

— Мечтаю.

— Хорошее дело. Ну, и какую мечту изобразишь на этой беленой железяке?

— Самую распрекрасную.

— А попроще можешь сказать?

— Попробую. Тот самый счастливый человек, кто больше людей сделал счастливыми... Ну как? Чьи слова?

— У Христа позаимствовал?

— Эх ты! Историческая личность! Карла Маркса читать надо!

— Смотри какой марксист!.. Твоя это работа — таинственные щитки с лозунгами?

— Общая. Маркс и Горький вдохновили. Отец сварганил железо, я намаляриничал. Мамуля удерживала нас за руки и ноги: как бы чего не вышло! Ася частушками улаживала, пока мы вкалывали.

— И на плотине вы нашкодили? «Слезы и пот народа»!.. Почему слезы?

— А потому... Строилась зимой, в пургу. Надо было задержать весенние воды... Руки прилипали к железу. Бетон замешивали кипятком, обогревали кострами. Бетонщики и плакали и потели всю упряжку. Холодно было, голодно, жарко.

— Вот так бы и написал, а то — «Слезы и пот народа». Попахивает клеветой.

Алеша вытер руки, испачканные белилами, бросил тряпку.

— Саня, не бери на пушку, не из пугливых!

— Меня ты, конечно, не боишься, а у начальства прощения попросишь: «Дяденька, я больше не буду!» Самостийничаешь! Почему не посоветовался в завкоме, в заводууправлении или еще где-нибудь? Зачем отсебятина?

Алеша оттолкнул меня и засмеялся.

— Не валяй дурака!.. Молока хочешь? Холодненько! Густое, как мед. Вершок в два пальца.

— Давай!

Он притаил запотевший кувшин, краюху серого, домашней выпечки хлеба, две большущих кружки, и мы здорово поужинали, а потом взялись за папирсы.

Курим и друг на друга поглядываем: Алеша — весело, беспечно, а я с беспокойством. Он это почувствовал, встревожился.

— Правда, Саня?

— Правда! С утра иди к Губарю, скажи: я тот самый, кого вы ищете. Не бойся. Ему понравилась твоя выдумка.

— Не ходок я по начальству. Могу поскользнуться на паркете.

— Ты должен пойти к Губарю, рассказать ему!

— Что рассказывать? Почему такой переполох?

— Быба приписывает тебе подпольную подрывную деятельность. Не краской, мол, ты расписался на плотине, а бешеной слюной.

Щеки Алеши стали цвета белил, но губы кривятся в улыбку.

— Какую голову надо иметь, чтобы так сказать?..

— Голова Быбочкина застрахована, не покушайся на нее. Иди к Губарю — и все будет в порядке. Вместе сбегает. Лады?

Вот и все, что я нашел нужным рассказать Алеше в тот вечер.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Вася Непоцелуев обычно являлся на работу с какой-нибудь присказкой, шумно требовал от меня справку, как живу-поживаю, сколько пудов счастья прибавил. Сегодня еле-еле поздоровался. Распахнул топку и начал резать, выковыривать шлак.

— Вася-Василек, какая муха тебя укусила?

— Напрасно подначиваешь, механик: не до смешек и брешек.

Так я и поверил! Без хлеба и воды он способен трое суток прожить, а вот без того чтобы почесать язык болтовней, и часа не стерпит. Помолчит, разыгрывая из себя пришибленного тоской и отчаянием человека, а потом и отколет развеселую штуковину.

Проходит минут пять, а он сопит носом, кусает губы. Нет, вроде не притворяется.

— Да что с тобой, друг?

Отворачивается, роняет голову на подоконник и плачет. Несовместимо это — Вася и слезы. Допекло, значит, мужика. Обнимаю Васю.

— Давай вместе поплачем. Рассказывай!

Вася сбросил мои руки со своих плеч.

— Не плакать нам вместе! Не знаешь ты, почему фунт колхозного лиха. Вы, рабочие, святым духом питаетесь, высокими идеями, а мы, твари хрестьянские, норовим хлеб и сало жрать.

— Скажешь толком, что случилось?

— Письмо получил из деревни. Брата оговорили, в тюрьму бросили, а жену его с дочками выдворили из хаты как вредный элемент. А за что с братом расправились? Не оставил людей без хлеба. Не дал забрать семенной и кормовой фонд. На хлебный аванс осмелился расщедриться. Вот и опозорили, оплевали: подкулачник, саботажник, вражий агент! Брежня! Андрюха чужое поле пахал, за чужим столом ел. Потому народ и выбрал его головой колхоза. Теперь за свои труды награду получил. Тюрьма! Конфискация имущества! Поражение прав! А кто судил? Чистенькие и золоченые, вроде тебя, Голота.

Слушаю и не перебиваю. Пусто и холодно в груди. Испарилось сочувствие. Думал, у человека настоящего горе, а у него... Свой колхоз жалеет, а Москва, Ленинград, Свердловск, Магнитка, заводы, фабрики и шахты пусть подышают с голода. Мы для деревни Челябинский, Сталинградский, Харьковский тракторные отгрохали, а деревня...

Вот каким оказался Вася Непоцелуев. Магнитку строит, рабочим потом потеет, рабочий паек жрет, а сам в мужицкий лес поглядывает.

По всей стране клокочет океан классовой борьбы. Докатилась и сюда буря, обрушилась на Тараса, на Квашу, на Непоцелуева. И до меня донесли ее соленые и горькие брызги.

— Ты уверен, Вася, что Андрюха твой прав?

— Да как же я могу разувериться? — истонно вопит он. — Не кулак он. Не подкулачник. Не белогвардейский офицер. Печенками и селезенками предан колхозу. А Советская власть его осудила.

Теперь и я кричу:

— Что несешь? Советская власть зря не накажет. Не знаешь ты, что на свете делается! Читал Сталина о боях на хлебном фронте?

— Моя деревня далеко от Москвы. Не знают там, как брехуны и самоуправщики расправляются с честными колхозниками.

— Все он знает!

Я пересказываю Непоцелуеву содержание речи И. В. Сталина на объединенном Пленуме ЦК



и ЦКК о работе в деревне. С беспощадной прямотой он вскрыл наши недостатки и промахи. Потому и не выполнены хлебозаготовки на сотни миллионов пудов, что классовый враг пролез в наши колхозы. Враг ловко перестроился, перешел от прямой атаки против колхозов к работе тихой сапой, а деревенские коммунисты продолжали вести старую тактику борьбы с кулачеством. Ищут классового врага вне колхозов, ищут его в виде людей со зверской физиономией, громадными зубами, с толстой шеей, с обрезом в руках. Ищут кулака таким, каким мы видим его на плакатах. Но таких кулаков давно уже нет на поверхности. Нынешние кулаки и подкулачники, нынешний антисоветский элемент в деревне — это большей частью люди тихие, сладенькие, почти святые. Их не нужно искать далеко от колхозов, они сидят в самом колхозе и ведут тактику саботажничества и вредительскую работу. Они никогда не скажут «долгой хлебозаготовки». Они только пускаются в демагогию и требуют, чтобы колхоз организовал резерв для животноводства втрое больший по размерам, чем это требуется, чтобы колхоз выдавал на общественное питание от шести до десяти фунтов в день на работника.

Подавленно молчит Васька. Нечем возразить. Дошло, слава богу, куда докатился его братец. Был батраком, а стал шляпой с партийным билетом в кармане. Он, конечно, не стреляет коммунистов, не

поджигает колхозные амбары с хлебом, не калечит втихомолку лошадей. Он, видите ли, только грудью прикрывает колхозный хлеб, он только создает дутые резервы хлеба для коров и овец, он только позволяет колхозникам жрать от шести до десяти фунтов хлеба в день.

— Ну, понял, кандидат партии, где раки зимуют?.. Сегодня пойди в комиссию по чистке, поставь в известность...

В рот воды набрал говорун. На меня не смотрит. Землю глазами сверлит. Еле шевелится. Допускает в толпе прогар. Не работает, а словно принудилровку отбывает.

— Чего ж ты молчишь? Неужели так и не понял ничего?

— Понял!.. Оклеветали брата, навесили восемь лет. Так и скажу.

Не о чем больше говорить. Если уж великое слово не доходит до сознания, то мне и подавно не воздействовать.

— Не устраивает? — шипит Васька. — Хочешь, чтобы я отрекся от брата, назвал саботажником? Язык не повернется. Хороший был председатель Андрей Непочелуев. Не по его вине люди пухнут с голода.

Слушаю его сумасбродные речи и ужасаюсь. Такие типы и баламутят ясную воду в нашей кринице. Сезонники, вчерашние крестьяне, посочувствуют слезам крокодила.

Пришел мой сменщик. Наконец-то! Еле дотянул я до конца упряжки. На горячих путях работал, а так осточертело вкалывать, будто на сортировочной туда-сюда болтался. И злость на Ваську, как изжога, печет душу. Хрестынянин! Тошно смотреть на такого, а не то что работать с ним рядом. Придется на берег списать с моего корабля. Пусть ищет себе другого напарника.

Сегодня даже мой сменщик Борисов, славный парень, бесит меня. Рыщет вокруг паровоза, подозрительно вглядывается в ходовую часть, что-то ищет, вынюхивает, проверяет. Тоже мне ревизор! Да разве я могу скрыть дефект или неполадку? Хватит строить из себя придиру. В порядке наша Двадцатка. Гоняй себе на здоровье.

Он неторопливо взбирается на паровоз. Глаза набрякли, еле видны. Губы блестят, пахнут салом. Переспал, переел, перепил. Той же он породы, как и Васька, крестьянской. Заряжает больше брюхо, чем голову. Сытость бескрыла, бездумна, хрюкает, как свинья под дубом вековым. Сытость и роскошь погубили владык мира — древних римлян. Маленькая, суровая Спарта оставалась непобедимой до тех пор, пока не знала излишеств. Спартанцы ни на что не жаловались, ели и пили мало. Ничего и ни у кого не просили. Были терпеливы. Страдали скрытно. И поныне человечество помнит одного спартанского паренюшка с лисенком за пазухой. Свирепый от голода звереныш грыз ему живот, а он не подавал вида, что терпит пытку.

Что по сравнению с этой мукой временное наше недоедание и нехватки? И что такое Спарта по сравнению с Магниткой, с нашей эпохой! В свете Октября, в свете коллективизации, индустриализации, в свете наступающего бесклассового общества померкнут самые славные, самые героические страницы истории всех времен и народов.

— Ну, чумак, як наш воз поживает? — спрашивает сменщик. — Со скрипом чи як сыр в масле катается?

Голодной куме хлеб на уме. Не отвык от веза, быков, борозды, чумацкой дороги, сыра и масла. Сколько терся о рабочее плечо, но так и не набрался ума-разума. Деревня оказалась сильнее. До чего же крепко сидит в человеке мужик! Дед Никанор лет сорок шахтерил, до требухи пропитался угольной пылью, но скулил и выл, оплакивая крестьянскую вольность. Батрачил в деревне, а все-таки оглядывался на нее с тоской.

— Порядок! — пропускаю я сквозь зубы. — Машина смазана, подтянута, заправлена водой и углем. Огня и пару вдвоём.

Все это я проговорил нарочито строго. Пусть не панибратствует, пусть почувствует пропасть, разделяющую рабочего и собственника.

— Что это ты, Саня, такой сердитый сегодня? Борщом обделили? Мало заработал? Не налюбезничался с Аленкой?

— Ладно, принимай смену!

— Выходит, ты еще и гордый! Ишь, как раскукарекался! А я, дурак, не верил слухам. Дыма без огня, выходит, не бывает. Горишь, выходит, на работе, геройствуешь.

— Ну, принял? — обрываю я болтливого чумака.

— Выходит, принял, раз ты такой сурьезный. Все. Наше вам с кисточкой!

Я освобождаю кресло машиниста. Борисов, прежде чем сесть, рукавом своей чумацкой спецовки смахивает с кожаной подушки какие-то пылинки или соринки, будто оставленные мною. Вот какие они, бывшие мужики! В своем глазу бревна не видит, а в чужом... Ладно, черт с ними, с этими чистюлями!

Солнце зашло, заря отгорела, по небу ползут набухшие дождем тучи, но все еще жарко и душно, как и в полдень. Предгрозовое время. Искушаться бы сейчас!.. Плотные, хоть ножом режь, сумерки легли на землю. Далеко-далеко, у предгорьев Уральского хребта, полыхают глухие зарницы. Заводские дымы стелются над трубами. В самый дождь и грозу придется нам с Ленкой топать домой. Два часа еще ждать ее гудка. Ничего! Сбегаю пока на озеро, остужусь. В обычных реках вода перед грозой бывает теплая, а в нашей, в угрюмой реке, в седом Урале, прохладная, родниковая.

Спускаюсь с Двадцатки. О Ваське я давно и думать перестал, но он навязался в попутчики и в собеседники. Шагает рядом и свое талдычит. Спрашивает, не могу ли я вместе с ним, прямо вот сейчас, смотаться к Гарбузу. Зачем? Видите ли, ему кажется, Степан Иванович иначе посмотрит на скандальную историю с его братцем. Защитит «сладенького» и «тихонького» председателя.

Не полезу я к Гарбузу с Васькиной блудливой бедой. Так ему и сказал.

— Ну и черт с тобой! — вопит Васька. — Обойдусь и без тебя, пряник медовый! Подожди, дай срок, и на тебя нападет сырость!

Ругается, оскорбляет, но оглобли назад не поворачивает. Хочет злобу до конца излить.

— Слушай, герой, известно тебе, что бывает с человеком, если его связать да медом с ног до головы намазать и кинуть на муравейник?

Вот так любезно разговаривает мой дружок Васька Непочелуев.

Что ж, кто своим копытом топчет то, что для тебя свято, такому можно и по зубам дать.

Вдрызг разругались, пока дошли до озера. Раздеваемся, в воду идем и кроем друг друга.

Прибежали Алешка с Хмелем. Они тоже захотели окунуться.

— Шуму много, а драки нету, — смеется Хмель. — Язык — дура, а кулак — молодец. Ну, кто первый? Начинай, Вася! Доказывай. Режь правду...

Алешка остановил Хмеля.

— Брось!.. В нем дело, ребята? Что вы, такие дружные и ладные, могли не поделить?

Я молчу, а Васька разгребает вокруг себя воду, фыркает, колотит, как вальком, по искусственной волне, зубоскальничает. Никуда от себя не денешься!

— Любовный капитал никак не можем поровну разделить. Помогите!

— Что?

— Он хочет уважать меня больше, чем я его. Ну, а я свое старшинство отстаиваю.

— Есть деловое предложение, Алеша! — говорю я. — Бери себе в помощники Ваську, а мне давай Хмеля.

Хмель сейчас же поднял над головой кулак.

— Желаю протестовать! Обознался ты, Голота! Я не вещь какая-нибудь, не замухрышка, а Кондрат Петрович Хмель. Уважаю себя. Как не уважать? Где я, там и жизнь. Где жизнь, там и я.

Произнесет несколько слов и оглянется на Атаманычева и Непочелуева: одобряют, смеются или нет?

— Да, рабочий! Потому не желаю идти в пришлепки. Вот так, ваше сиятельство!

— Что у вас случилось, Саня? — серьезно допытывается Алешка.

— Пусть он расскажет. — Я кивнул на Ваську.

— И расскажу! Не боюсь! — огрызнулся Непочелуев.

Коротко, в двух словах он выпалил, какая беда

навалилась на его брата, как я принял ее и почему мы разругались.

Хмель сейчас же вскинул над головой кулак.

— Желая вынести приговор!.. Избави боже от такого друга, а от недругов я сам спасусь!

Алешка молчит, поливает грудь и плечи. Вода в его ладонях сверкает расплавленным металлом.

Огни электростанции проложили по озеру дорожки от берега до берега. Дальние молнии приблизились. В тревожном свете зарницы лицо Алешки показалось мне отлитым из чугуна. Ни единой живой искорки. Ясно! Ваське поверил, его сторону взял, а меня, даже не выслушав, презирал. Быстр на расправу. Ну и легковес! Совсем не похож на того парня, которого я знаю. Не сын Побейбога, а подпевала.

Так и не сказав ничего, он вышел на берег, стал торопливо одеваться. Вслед за ним высочили Хмель и Васька. Все смеялись, болтали. Сроднились!

Выбрался и я из воды.

Алешка зажег спичку и, не прикуривая папиросу, пристально вглядывался в меня. Вот навязался!

— Чего ты ищешь? — закричал я и бабахнул по спичечному огарку, а заодно и по руке.

Сорвалась с предохранителя вспыльчивость. Не опередила добрая мысль худой поступок. Так берег ушибленное место, и не уберег.

Почему мы не можем погасить гнев даже в том случае, если этого хочет голова? Что же это такое? Инстинкт? Дух противоречия? Взбаламученная душа? Обиженное самолюбие? Как бы это ни называлось, ненавижу! Темная, неподвластная сила поселилась в моей груди. Как искоренить ее?

Рассмейся для начала, скажи что-нибудь себе в утробу. Ну!

Не могу. Выше себя не прыгнешь.

Бешено летит с горы, вырастая и набирая скорость, снежный ком.

Алешку, кажется, не обидел, не разозлил мой удар. Он зажег вторую спичку, прикурив и спросил:

— Правду, значит, сказал Василий?

— Да, это правда! — опять заорал я. Нарочито тихий, прямо-таки ангельский голос Алешки окончательно вывел меня из себя. Праведника корчит, богомаз!

— Не ожидал, Саня! — еще тише, почти шепотом проговорил он.

— А чего ты ждал?.. Не буду оплакивать саботажника. Не променяю свое рабочее нутро на мужицкую шкуру.

— Я думал, ты уже человеком стал.

Вот, договорились до ручки! И не человек я даже. Пошел ты со своими думками!..

— Многогранная ты натура, Саня! Смотрю на тебя и никак не могу разгадать, какой же ты на самом деле.

Отвернулся и пошел.

Катись!

Он ничего не сказал Ваське и Хмелю. Но те пристроились к нему, зашагали в ногу. «Хрестьянской» цепью сквавы. Ладно, гремите! Далеко не уйдете в таком виде по нашей рабочей земле. Жил я без вас, без вашей правды припеваючи, и дальше так будет.

Я еще долго торчал на берегу, бросая в озеро камни и отплываясь, будто хины наглотался. А в самом глухом уголке души шевелилась раскаленная заноза. Счастье — мать, счастье — мачеха, счастье — бешеный волк.

Эх, потомок! Великий принцип нарушаешь: «Все за одного, один — за всех!» Доморощенный себе подсовываешь: «Один против всех!» Вспомни, что

говорил коммунарам Антоныч! Люди взаимно действуют друг на друга. Каждый человек развивает собой только одну сторону сознания и только до известного предела. Одному нельзя достигнуть полного и совершенного развития своего сознания. Всеобщее сознание доступно лишь для целого человечества, как результат соединенных трудов, вековой жизни и исторического развития духа. Все мы являемся частью великого целого, все мы толкаем, двигаем вперед это целое, а вместе с ним и себя... Замечательные слова! Знаешь их, а поступаешь... Пустозвон!

Самого себя распекаешь охотно. Тайное остается тайным. Другое дело, когда на тебя набрасывается кто-то другой. Ни друг, ни брат, ни сват не имеет права занять твою критическую позицию. Пусть они слово в слово повторяют твою речь, все равно ты ошестиниваешься, даешь отпор. Неправ, а кипятишься. Градусы падают со временем, но обидные слова разлетелись во все стороны, не вернешь их.

От великого до смешного, утверждают мудрецы, один шаг. Еще меньше расстояние, как убедился я сегодня, от темного отчаяния до победной гордости.

Вспыхнула заноза, обожгла и пропала бесследно. Туда ей и дорога! Я подфутболил подвернувшийся под ногу камень и побежал к Ленке.

На домны примчался налегке, с чистой совестью. Схватил Ленку и потащил к автобусу. И грозы не боялся.

Гремит гром — и слышатся в нем не гневные раскаты, а радость победы. Льет дождь — и на землю падает не вода, а самоцветные камни. Полыхают молнии — и шелестят свежим шелком флаги.

Несколько минут назад был в преисподней, а сейчас разгуливаю на поднебесных кряжах. Дух захватывает. Действительно, нет хуже без добра. Никто не знает, что к худшему, что к лучшему. Счастье — бешеный волк, счастье — мачеха, счастье — мать.

Эх, Алеша! Если бы ты увидел меня сейчас!..

Горы и пропасти, моря и океаны успели образоваться между нами. Еле-еле вижу тебя. Еле-еле помню, что ты говорил. Все затмила, смяла, заглушила гроза и Ленкина любовь.

Ой, какая же ты праздничная, озаренная, Магнитка! Над свечами домен курится рыжий дым. На Магнит-горе бухают взрывы. Ленка сжимает мою руку, заглядывает в глаза и смеется.

Полюбуйся, Алешка! Ты не считаешь меня человеком, а Лена...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

А декламирую торжественно, как бы под Маяковского:

Прибыл!..

Он!

Уважаемый.

Добрый и строгий.

Умный и талантливый.

Вечно юный.

Седой коммунар.

Великий Антоныч.

Дую в воображаемую оркестровую штукину и трезвою ладонями, как медными тарелками.

— Бум, бум, бум!.. Трам-тарам-тарарам!..

На славу прогремел невидимый оркестр в честь гося.

Антоныч стоит на подножке вагона, смотрит на меня, улыбается. Доволен. Любит он шутку.

Давно я не видел нашего батька. Постарел. Лицо изрезано глубокими морщинами. Печальные глаза прикрыты очками. На сутулых плечах старая, с обтрепанными обшлагами, синего сукна гимнастерка, на ногах стоптанные сапоги, а на голове — выцветший картуз военного образца.

Чуть не заплакал я от жалости. Сдержался. Нельзя Антонычу увидеть себя в моих глазах.

Несколько лет назад он был молодежлив, подтянутым, грозным. Львом был, а позволял стриженным коммунарам трепать свою косматую гриву. Но когти на всякий случай были наготове и ухо держал востро.

Он сходит на землю, выбрасывает прямую руку: жми, мол, разрешаю, а обниматься, целоваться — ни в коем случае!

Подхватываю фанерный легкий баул и какой-то маленький, но тяжелый картонный коробок, веду гостя к машине. Выглянул в директорском гараже. Важно распаиваю лакированную дверцу. Смотри, батько, как встречает тебя Санька!.. Все пассажиры на телегах, тарантасах, грабарках, на своих двоих будут добираться до жилых гнезд Магнитки, а ты — на «линкольне».

— А где же Лена? — Антоныч с недоумением смотрит на меня сквозь выпуклые стекла очков. — Мне казалось, когда я читал твои последние письма, ты с ней не фразлуцаешься ни на минуту.

— Разлучился!

— Почему?

— «Не хочу мешать друзьям...» Она у меня умная.

— А может быть, и не очень? Какие мы с тобой друзья? Ты на лакированной карете разъезжаешь, а я — на разбитом корыте.

— Эта карета только для вас, дорогой гость!

— Не дорогой я, а дешевый. — Он поправляет очки, откашливается. — Униженный и оскорбленный всецело полагается на твою милость и щедрость. Надеюсь, ты хорошо прочитал телеграмму? Да, сняли с работы. Это третья коммуна, откуда вышвыривают меня. Лишонец! Юридически все в порядке, а фактически не имею права заниматься воспитанием безродных. Даже как школьный учитель опасен. Перехожу на иждивение своих воспитанников. У одного поживу неделю, у другого месяц, у третьего переночую, у четвертого прихвачу малость деньжат — вот и дотяну собачий век до заката. Слыхал? Так что, Александр, рад ты или не рад, а расплачивайся за все, что я зложил в тебя когда-то.

Говорил он серьезно. В глазах, увеличенных стеклами, ни единой веселой искорки, а на губах — и намека на улыбку. Так я и поверил! Подтрунивает над собой, преувеличивает свою беду. Привык скромничать. Потом разберемся, какой дозой неправды разбавлена истина.

— Добро пожаловать, батько!

На центральном полигоне пятилетки побывали многие знаменитые люди: наркомы, ученые, актеры, писатели. Московские газеты присылали сюда своих прославленных корреспондентов и выездные редакции. Здесь, в Магнитке, пишут даже иностранные газеты, партия доказывает правильность своей генеральной линии в борьбе с оппортунистами всех мастей.

Жить в эпоху чудодейственной пятилетки и не видеть, как Магнитострой выходит из пеленок, как поднимает свою великанью голову!.. Антоныч правильно сделал, что приехал сюда.

Едем неторопливо, с резиновым шорохом, почти

непрерывно сигнала — дорога забита грабарями, пешеходами.

Смотри, Антоныч, любуйся! Вот где живет Санька, коммунары. Начал с плохонького станка — и до чего дошел!.. Магнитострой!

Железо, железо, всюду железо. Тяжелые рельсы, балки. Мульды и ковши. Чугунные чушки и стальные слитки. Железо, призванное рождать железо — конструкции мартеновских печей и прокатных станов. Железо, сваренное и склепанное, покрытое защитной коркой сурика и тронутое ржавчиной. Американское, английское, немецкое, французское, донецкое, уральское, днепропетровское, московское... Гигантские трубы, по которым потечет доменный и коксовый газ. Освинцованные удавы кабелей. Мостовые краны, уже вознесенные на опоры, изящные и легкие, и еще лежащие на монтажных площадках, тяжелые и неуклюжие. Железо рвется в небо циклопическими кауперами, башнями доменных печей, баками газогидролизаторов, коксовыми батареями. Железо, выкрашенное в черные, алые, белые цвета. Железо отполированное, хромированное. Воодушевленное железом: оно катится по рельсам, по дорогам, гудит, шумит, свистит, пылит, тащит на своих горбах цемент, землю, кирпич, раствор, камни, свежераспиленные бруссы, проволоку, арматуру, части машин, станки.

Железный город! Железная столица железной пятилетки! Железная земля! Железный перекресток мира! Железное время!

Магнитка!.. Железом венчана, железом зачата, в железной купели рождена.

Железо вызывает у меня такую же радость, как у садовника цветок или краснобокое яблоко, как звезда у астронома, как добрый конь у кавалериста, как самолет у летчика, как рояль у музыканта.

— Да, многовато наворотили! — обыкновенным будничным голосом произносит Антоныч. — Немало раскидали машин. Вселенский масштаб! — Снял очки, протер их желтой мягкой тряпочкой. — Раскидать механизмы не так уж трудно, а вот собрать... Помнишь наши мастерские? Всегда при сборке станков какую-нибудь важную гайку или винтик теряли. Приходилось искать, доделывать, тратить время и силы попусту.

Сравнил букашку с мамонтом!

Шофер резко затормозил. Впереди, спиной к «линкольну», стояли грабари в лаптях и пропотевших драных рубахах навыпуск. Дымили цигарками и не желали уступать серебряной собаке дорогу, несмотря на ее утробный настойчивый лай.

— Эй вы, лапти, раздвину!.. — смеясь, заорал Петя. Он известный зубоскал. Себе в масть подобрали шофера директор Губарь.

Грабари медленно повернулись к нам. Грязные лица, косматые нечесанные головы. Не поняли шутки.

— Эй, вы, сапоги-хлявы! Не больно задирайте хвост. Пропадете пропадом без нас, лаптей! — огрызнулся бородатый мужик. Отошел на пыльную обочину, злобно взглянул на машину, добавил: — На нашем хлебушке раскатываете.

Плюнул и отвернулся, а мы поехали дальше.

Я виновато взглянул на Антоныча, сказал:

— Раскулаченный тип, наверное.

— А может быть, и несправедливо обиженный, — возразил Антоныч. — Таких теперь немало. Домны, мартены!.. Хорошее дело. Но они есть и в Америке и в Германии. А вот люди... Не должно быть у нас несчастных, несправедливо обиженных людей.

Глубоко пашешь, Антоныч! Зряшний труд. Я не забыл, какие слова сияли на гербе нашей коммуны: «Человек — это звучит гордо». Ради счастья человека и расправляемся с захребетниками, с тарасами



всех мастей. Ничего страшного, что кулак загрязнил в драке,— отмылся.

Победителя не судят.

Насквозь проехали стройку и выбрались на большую дорогу. Едем в соцгород. Антоныч обратил внимание на холм, кишачий покупателями и продавцами.

— Толкучка! — говорю я и вздыхаю. — Магнитострой — и это... подворотня старого мира!

— Подворотня? — Антоныч смотрит на меня с недоумением, усмехается. — Ты стал чистюлей, Александр. Стыдишься правды? К сожалению, это наш повседневный быт. Бедность! Богатеет пока Магнитками, а «Трехгорки» и «Скороходы» размножаются медленно. Как только рабочий люд сможет купить в магазине вдоволь ситца, башмаков, махорки и сахара, сама собой исчезнет толкучка.

Молчу, улыбаюсь. Возразить нечего.

Поднялись в соцгород, остановились на Пионерской, около моего кирпичного дома.

Антоныч выходит из машины, смотрит на розовую громаду и опять непонятно, с подвохом ухмыляется.

— Александр, это и есть твои хоромы?

— Верхний этаж. Крайнее окно.

— Не может быть! Судя по твоим восторженным письмам, ты роскошествуешь в небоскробном дворце с видом на райские кущи. Какой же это небоскроб? Настоящая казарма! — Антоныч оглянулся вокруг. — И такие же казармы-близнецы всюду. А хвастался!.. Плохое, брат, у тебя представление о социализме. Унылое казарменное поселение называется социалистическим городом.

Что он говорит? Да еще вслух? Не видел ты в Собачеевке настоящей казармы. Спальный зал с двойными нарами на двести мужчин, женщин и детей. Пол земляной. Две двери: «Здравствуй» и «Прощай».

Я украдкой озираюсь: не слышал ли кто-нибудь речей моего гостя? Тот, кто не знает характера Антоныча, может всякое подумать.

С тяжелым коробком в одной руке, другой подерживая Антоныча, поднимаюсь по лестнице и внимательно оглядываюсь. А ведь и в самом деле неказист наш новенький домина. Стены выкрашены грязной краской. Лестничные площадки заставлены помойными ведрами, ящиками, захлаплены. Железные перила погнуты, ржавеют, Мраморная крошка

на ступенях осыпается, лестницы в черных ухабах и зазубринах. Штукатурка со стен обваливается. Двери зияют сквозными трещинами, в них посвистывает ветерок.

Я стараюсь побыстрее прошмыгнуть через темную прихожую нашей квартиры и распахнуть дверь в мою светлую, с праздничным столом комнатушку.

Антонич останавливается. Качает головой, смеется.

— Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!..

Действительно, на свежую голову наша коммунальная атмосфера производит удручающее впечатление. Тянет обезвоженным санузлом. Прошлогодня картошка, сваленная в углу прихожей, проросла, воняет. В комнате соседей дымит жестяная печурка, и на ней клокочет кастрюля с капустным варевом.

В нашем городе еще нет вдоволь ни воды, ни электроэнергии, ни тепла в радиаторах, ни огня в очагах. Но мы рады и тому, что имеем. У многих тысяч и такого жилья нет — ютятся в бараках и землянках.

— Эх, «авось да небось»!.. Революцию совершили, четырнадцать держав перебороли, Магнитку воздвигаем, Днепрогэс отгрохали, а это «авось да небось» сокрушить не можем.

С такими ласковыми да приветливыми словами и вошел Антонич в мою светелку с праздничным столом.

Постарался ради гостя. Не пожалел ни труда, ни денег. Раздобыл всякие разносолы по блату. И на базар заглянул. На толкучке из-под полы продают что хочешь: вино, московскую водку, астраханскую икру, сухую колбасу, консервы, сало и копчености. Занимаются этим не только приезжие и местные мародеры. Нередко можно встретить в толпе американцев и немцев. Напяливают на себя одежонку попроще и, стараясь говорить поменьше, а то и вовсе молчком, промышляют. Продают заморское барахлишко и то, что получают в специальных магазинах, доступных только иностранным специалистам.

Ворчит Антонич и перед скатертью-самобранкой:

— Ого, размахнулся! По-купецки. Откуда столько добра, Александр?

Не угодил ему ни Магниткой, ни соцгородом, ни торсиновской жратвой.

— С неба! — говорю я и улыбаюсь, хотя самому плакать хочется. Кровно заработанные червонцы оторвал от свадьбы, а он насмехается.

Что с тобой, Антонич? Доверием когда-то завоевал мое дремучее сердце. Доверием был силен. Где же оно? Вышибли недруги? Может быть, ты и не преувеличиваешь свою беду? Может быть, и в самом деле стал таким, как в былые времена?

Антонич, кажется, понял, что огорчил меня. Бьет отбой: потирает руки, подмигивает, разглядывает закуски.

— Красотища!.. Глаза разбегаются. Сытно живешь в голодное время. Все съем, что выставил. Отощал я в дороге и грошей, поскольку безработный, не имею. И загнать на барахолке нечего. Вот разве только это — старорежимное золотишко... — Антонич небрежно щелкнул ногтем большого пальца по сияющим золотом зубам. — Оптом предлагал челюсть, а покупатели норовили по клыку тащить. Не торговались... Ну, Александр, начнем пир!

— Начнем!..

Я сел на ребро койки, стул подвинул Антоничу. Раскупорил бутылку, налил вино в граненые стаканы. Выпили. Закусили. Потом только я спросил:

— Ну, батко, значит, в беду попал?

— Попал!

— Горькому написал?

— Нет. И не собирался.

— Почему?

— Не до меня сейчас ему. Вживается в обстановку, акклиматизируется. Читал в газетах, как его встречали в Одессе, когда теплоход прибыл из Неаполя, и потом, по дороге в Москву?.. Такая честь выпадала не многим писателям нашей земли. Пожалуй, одному Льву Толстому.

— Написал бы ему, батко, рассказал, как держиморды расправились с тобой.

— Жалуются слабаки и страдалыцы, а я неисправимый оптимист. Наперекор всем чертям, вопреки так называемому здравому смыслу. Да и Горький не терпит плакальщиц. Все будет хорошо, Александр, вот увидишь. Чем хуже сейчас, тем лучше потом. Нет худа без добра.

— Не верю, батко, в твою беду.

— Ну и правильно, что не веришь. Это я так, пугал тебя. Интересно было знать, откажешься от хлебника или приютишь по старой дружбе. Порядок, Саня! Дела мои хороши. Тебя повидал — хорошо! В Магнитку приехал корреспондентом журнала «Наши достижения» — хорошо! Книгу написал, Горький согласился ее прочитать — хорошо!

— Целую книгу?

— Да, Саня, да! Шестьсот страниц на машинке. Собственноручно отстучал.

— О чем же она?

— Все о том же... о коммуне, о ее радостях и печалях. О себе, о тебе, о таких, как ты!

Не любит Антонич телячьих нежностей, но я все-таки рискнул — обнял его.

— Ура! Да здравствует воспитатель, призванный в литературу!

Антонич строго смотрит на меня и вдруг озорно подмигивает и скалится чистым золотом.

— Бессовестные мы с тобой люди, Саня! Мало нам того, что мы ударники, педагоги, воспитатели, почетом и уважением пользуемся, письма от Горького получаем. Подавай нам еще и писательское звание, славу и гонорары. Ну и нахалы!

Он хлопает себя по коленкам и оглушительно, так, что в окнах стекла дрожат, хохочет.

Веселый человек! Самый веселый из всех важных и серьезных дядей. Вот чего мне не хватает! «Если бы ты, Саня, умел веселиться, тебе бы вовсе цены не было», — говорил когда-то, еще в коммуне, Антонич.

Поднимаю стакан с вином, улыбаюсь во весь рот.

— Помолимся, батко, как, бывало, в коммуне?

— Помолимся, сынок!

— ...«Действуй, пока еще день, придет ночь, и никто уже не сможет работать...» — начинаю я.

— «...Всякий истинный труд священен, — подхватывает Антонич. — Он пот лица твоего, пот мозга и сердца; сюда относятся и вычисления Кеплера, размышления Ньютона, все науки, все прозвучавшие когда-либо героические песни, всякий героический подвиг, всякое проявление мученичества, вплоть до той «агонии кровавого пота», которую все люди прозвали божественной».

Антонич умолк, а я продолжал:

— «Если это не культ, то к черту всякий культ! Кто ты, жалующийся на свою жизнь, полную горького труда? Не жалуйся, пусть небо и строго к тебе, но ты не можешь назвать его неблагоприятным; оно как благодарная мать, как та спартанская мать, которая, подавая своему сыну щит, сказала: со щитом или на щите! Не жалуйся, спартанцы тоже не жаловались...» Выпьем, батко, за тех, кто не жалуется на свою судьбу!

Не привержен я ни к пиву, ни к водке, а сейчас пью с превеликим удовольствием.

После третьего стакана Антоныч разрезал веревку на картонной коробке, вытряхнул на газету стружку и достал маленькую копию знаменитой Венеры Милосской, высеченную из старого мрамора. Торжественно водрузил ее на этажерку поверх томов Толстого, сказал:

— Это тебе вроде свадебного подарка. Избавился! Босоножка порядком обрыдла мне. Старик! Не там, где вы, молодые, красоту ищете. Смотри, изучай, размышляй — и «выпрямляйся»! Читал Глеба Успенского «Выпрямила»?

Хорошо помню эту безрукую, голопузую, с открытой грудью босоножку. Изрядно она смущала нас, подростков, когда мы приходили в холостяцкую келью Антоныча.

— Спасибо, батько!

Неожиданно появляется Лена. Не вынесла одиночества.

Стоит, смотрит на Антоныча серьезными, внимательными глазами, а губы веселые, улыбаются.

— Она, ей-богу, она! — воскликнул Антоныч. — Встал, протянул Ленке обе руки. — Здравствуйте! Вот вы какая! Лучше, чем представлял вас по письмам Александра. А уж он так вас расписывал! Здравствуйте, Босоножка!

Я засмеялся. Антоныч — мастер придумывать новые имена. Всех коммунаров по-своему окрестил.

Он посмотрел на дымчато-белую мраморную фигуру.

— Оказывается, зря я привез тебе в подарок эту мертвую красавицу. Увезу. «Выпрямляйся», глядя на живую.

Всякая женщина зарделась бы от таких слов. Смущалась и Лена. Улыбнулась, встала рядом со мной.

— Ему не надо «выпрямляться», он такой правильный, что дальше некуда.

Антоныч шумно захлопал ладонью о ладонь. Доволен словами Лены.

Наконец угодили дорогому гостю!

Интересно, что скажут о нашем времени лет через двадцать — тридцать? Неужели будут судить о нас только по внешнему виду, довольно-таки неказистому? Неужели не сумеют заглянуть нам в душу?

Друзья из прекрасного далека! Перелистывая пожелтевшие хрупкие газеты и журналы времен первой пятилетки, внимательнее всмотритесь в наши грубоватые черты, вслушайтесь и сердцем в наши песни и заклинания!..

Трудная и прекрасная доля выпала моему поколению. Вкалываем до седьмого пота, а едим скудный пайковый хлеб. Сооружаем самые мощные в мире дома, чудо двадцатого века, а живем в бараках и землянках, в каких обитали люди и тысячу лет назад. Одеты и обуты кое-как — черная застиранная косоворотка с белыми пуговицами, грубошерстный, плохо скроенный и уродливо сшитый пид-

жакишко, парусиновые туфли на резиновом ходу или калоши на босу ногу, армейские заскорузлые ботинки, а то и вообще лапти, — а чувствуем себя владыками мира. Как же нам не чувствовать себя любимцами истории, владыками, если мы, бывшие холопы Российской империи, одним махом срубили, выкорчевали с корнем трехсотлетнее царское дерево, прогнали в тартарары князей, жандармов и помещиков, дали по зубам иностранным дворянам и купцам, сэрам и мистерам, французам и японцам-санам, которые пытались выручить из беды своих классовых родственников?! Как же нам не гордиться своими мозолистыми, когда они подняли из праха заводы, шахты, фабрики, нефтяные вышки? Как же нам не чувствовать себя богатырями, первопроходчиками, когда мы проложили железную дорогу через пустыню, соединили Туркестан и Сибирь, отгрохали на днепровских порогах индустриальную крепость — Днепрогэс, выполнили великий план Ильича ГОЭЛРО, строим Магнитку? Один наш завод будет давать металла больше, чем вся Россия. На пустом месте, невиданными темпами мы создали тракторную, автомобильную, авиационную, комбайновую, машиностроительную, алюминиевую промышленность! По выплавке чугуна и стали мы уже обогнали все европейские страны.

Не единым хлебом жив человек. Себялюбивый и недалекосидный проедает свое будущее. После меня, мол, хоть потоп. Умный и сильный не хочет существовать как однодневный мотылек. Он рвется в небо и проникает корнями глубоко в землю. Добрый его след остается всюду, где он ни проходит, где ни работает, к чему ни прикладывает руку. После меня весна красна! После меня — поднятая целина и первые всходы! После меня — песни и сказки! После меня — стремительный рывок вперед! После меня будет больше хлеба, молока, сахара, мяса, одежды, веселого смеха, меньше нужды, слез, бюрократизма, своеволия и транжирства! После меня останутся созвездия Днепрогэсов, Магниток, Уралмашей! После меня полностью освободится энергия всех людей. После меня — честь труду и уму, беспощадная война дуракам и хапугам! И после меня пусть светится вся красота человечества в облике каждого рабочего!

Чем труднее сейчас нам, первопроходцам, тем легче будет сыновьям и внукам, новым поколениям советских рабочих. Вам, наследникам, суждено проложить дорогу к звездам, на Луну. Вы будете жить во дворцах, полных солнца, раскатывать по земле в электропоездах, в роскошных лимузинах, есть и пить без всякой нормы, щеголять в костюмах, сделанных по самой последней моде, из невиданных в наше время тканей. Люди будущего! Не забывайте, как мы в прошлом добывали ваше настоящее, повседневное, как мы обрекали себя на бедность, чтобы обеспечить вам богатство!

(Окончание следует)



ЛИТЕРА- ТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Полвека шествует по земле Октябрь. Полвека идеалы революции и мира несет людям культура, рожденная Октябрем.

Есть имена, в которых как бы воплотился путь нашей культуры. Имена современников, зачинателей и творцов советского искусства и литературы. «Юность» недавно рассказывала о Сергее Эйзенштейне, Николае Тихонове, Валентине Катаеве. В этом номере публикуется литературный портрет Константина Федина.

«Юность» продолжит цикл портретов выдающихся мастеров советской культуры.

Мария Прилежаева

ДАР ВЫСОКИЙ

К семидесятипятилетию К. А. ФЕДИНА

Читатели «Юности»! Вспомним, как начиналась наша советская литература. Ровесница Октября, она рождалась полвека назад. Первые шаги ее были неожиданны, странны и дерзки, как неожиданно, необычайно и дерзко было движение самой новой жизни, создаваемой революцией. «Ветер, ветер — на всем божьем свете».

Изумленно слушающий музыку революции Блок, громогремящий Маяковский, простой и вместе необыкновенный Демьян Бедный, Либединский, со своей пронзительной, обжигающей поэмой в прозе «Неделя», беспокойный, пестрый, цветной Всеволод Иванов, ясный и сильный Фадеев и много-много других, разных талантов первых лет революции. Среди них — Федин.

Может быть, начало литературной жизни Константина Александровича Федина было причудливее и сложнее, чем у многих его сверстников. Родившись и до юности прожив в старом русском Саратове, на берегах полноводной и могучей в тех краях Волги, весной 1914 года двадцатидвухлетний Федин очутился в Германии. Думалось, ненадолго: усовершенствоваться в немецком языке, — а вышло почти на пять лет. Началась война, и пятьдесят месяцев, до восемнадцатого года, Федин был осужден жить на чужбине на положении гражданского пленного, зарабатывать хлеб уроками, пением в хоре, актерством в провинциальных театрах, тосковать о России, надеяться, ждать и упорно, тайно писать первые свои, еще наивные и несмелые произведения, которые сам

без пощады рвал, не привезя ни одного домой, когда возвратился на Родину.

Чтобы стать писателем, тем, кем он стал, Федину надо было вернуться на Родину.

Поразительная встреча с Родиной! Когда пять лет назад он ее оставлял, она была хмурой, затаенной, смутной, молчащей, с тысячами тысяч соломенных деревень, с купеческими и казенными городами, где заметнее всего были лабазы, чиновничьи фуражки и погоны жандармов. Встреча с Родиной, крушащей и ломающей старое, встреча с Родиной, полной новизны, дерзаний и поисков, с удивительной, творящей революцию! Восемнадцатый год. Бушует гражданская война. Народ, Коммунистическая партия во главе с Лениным утверждают советский строй. Красная Армия его защищает. Разруха в стране. Фабрики и заводы стоят. В городах голод. И заразная, отчаянная, мечтающая, бесстрашная молодость страны, народа, партии, власти! Федин потрясен. Лавина невообразимо новых жизненных впечатлений обрушивается на него. Он кидается в неведомую жизнь, как пловец в кипящее море. А говоря проще, уезжает в город Сызрань на Волге, где образует литературный журнал, редактирует газету, работает секретарем горисполкома, все это сразу, все успевая; жадно, поспешно, талантливо проходя «свою начальную школу общественной жизни». Чтобы потом навсегда сохранять жар души и гражданственность, неутолимую потребность участия в жизни страны и народа, чтобы потом, уже выдающимся советским писателем, с честью и совестью выполнять почетные и непростые работы председателя Общества советско-германской дружбы, депутата Верховного Совета СССР, первого секретаря Союза советских писателей.

Но, разумеется, в первую очередь Федин — писатель, писатель, писатель!

«...видно, что вы становитесь «одержимым», обреченным литератором», — говорит Горький молодому Федину. И позже: «Одержимость, обреченность — неизбежна, необходима для человека, который всем существом своим любит дело и предан ему».

Дружба с Горьким была даром судьбы, бесценным богатством, счастьем писателя Федина. Как все большие таланты, «всем существом своим преданный любимому делу», Федин и сомневался, и мучился, и падал духом, и верил, и не верил в себя, и жаждал ободряющего слова. Горький был тем человеком, который понял и полюбил талант Федина, его страсть к писательству. Горький был первым, кто, восхищаясь таинственной работой воображения художника, писал Федину: «Дорогой мой — цените ваше воображение, не стесняйтесь ничем и никак его свободу...»

Это Горький говорил Федину: «Искусство — никогда не произвол, если это честное, свободное искусство, нет, это священное писание о жизни, о человеке — творце ее, несчастном и великом, смешном и трагическом». Это Горький говорил Федину о «целомудренной сдержанности лирического чувства» в творчестве его. Это Горький говорил Федину: «...вы пишете все лучше и все значительней. Видимо, вы станете писать отлично и займете в русской литературе место очень видное».

Писались Горьким такие строки в 25-м году, когда первый роман Федина «Города и годы» не очень давно был выпущен и только начал доходить до широкого читателя. Мы, молодые читатели тех лет, горьковских писем Федину и его оценок не знали. Но мы узнали роман. Он пришел к нам, столь разительно отличный от всего, что до сих пор было нам в литературе известно, столь неповторимо особенный, молодой, революционный и фединский, что зачитывались мы им без памяти. В студенческих общежитиях, в перерывах между лекциями и шепотом на самих лекциях, в коридорах «Ленинки», излюбленной нашей читальни, разговоры о «Городах и годах» шли не уставая, было о чем говорить: эта книга, бесспорно, новаторская, рушащая привычные представления о форме романа, увлекала и глубокой новизной содержания. Она о России, зажегшей костер Октября. Она о Германии. Мы, молодые читатели тех лет, любили Германию Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Обличья другой Германии, убившей немецкую революцию, мы не знали. Слово «фашизм» еще смутно звучало в нашем сознании. Но фашизм зарождался в Европе. Федин первым из писателей показал его зловещие начальные шаги. Неумолимо жестокий, надменный, узкий, чуждый, страшный мир! Пока он называл себя прусским офицерством. Скоро открыто назовется фашизмом. Мы увидели этот мир в образе обер-лейтенанта фон цур Мюлен Шенау из книги Федина «Города и годы». Он нам грозил, обер-лейтенант в мундире с железными крестами. Грозил нашей молодости и ожиданиям, хотя до сорока первого оставалось целых шестнадцать, таких коротких, таких долгих лет! В эти шестнадцать лет улеглись первые пятилетки, первый Магнитострой, исследования Арктики, полеты Чкалова, коллективизация. Я не помню, чтобы книги Федина тех лет — «Братья», «Похищение Европы», «Санаторий Арктур», «Трансвааль» — учили нас применительно ко времени: делай то и не делай того. Нет, они слишком сложны и слишком искусство, чтобы прямолинейно чему-то учить. Но, боже, как многому они нас учили!

Федин однажды сказал: «Самое сильное чувство, с каким я пришел в революцию после пережитой в плену войны, было чувство России-родины. Это чувство не упразднилось революцией, а составляло единство с нею». И позднее, вспоминая увиденную «Сикстинскую мадонну», он говорил об искусстве, о том, что оно: «...свидетельство интеллектуальной и душевной, благородной силы человека, которая объединяет людей в человечество...»

Все книги Федина сильны этой интеллектуальной, душевной и благородной силой. И как глубоко живет в них чувство революции-родины! Вот что учило и пленяло нас в Федине. Учит и пленяет сейчас. Нынешний юноша и девушка, не читавшие Федина, непоправимо много теряют. Целый мир мыслей и образов, переживаний и чувствований приходит к тому, кто откроет «Братья», поразительно интеллектуальный роман об искусстве и революции, музыкантах и музыке, творческих открытиях, спорах, исканиях. Или острополитический роман «По-

хищение Европы», где резко и выпукло нарисован образ времени 30-х годов: буржуазная Европа и весь охваченный лихорадкой строительства Советский Союз. Или индивидуально фединский и по-новому фединский послевоенный роман-трилогия: «Первые радости», «Необыкновенное лето», «Костер», — где писателем показана богатейшая картина века, создана целая галерея типов и характеров, крупных и ничтожных, мелких и героических, поэтических и притягательно новых.

«Сижу... — писал когда-то Федин Горькому, — пишу о нас, о наших людях и советской земле, пишу с чувством какого-то обновления и с молодым интересом». Молодой интерес, с каким лепятся художником человеческие характеры, сообщает им особую прелесть, любопытность и жизненность.

Чудесны женские образы, одаренные талантом деятельной, одухотворенной любви. Такие разные, как романтическая Мари Урбах, дочь нации, давшей миру Бетховена, Гете, Баха и Брехта, и вся русская, талантливая, ясная, земная, возвышенная Аночка Парабукина.

Большевика Кирилла Извекова любишь, любишься его чистой и порывистой юностью, уважаешь умную и твердую зрелость, прямоту, серьезность.

Сколько их! созданных Фединым людьми! Какая радость их узнавать! Переживание этой радости приносит только искусство, только большое искусство. Которое всегда увлекательно. Что толку, когда книга, исполненная самых высоких идей и намерений, читается скучно, читается по долгу, а не из интереса, горячего, жадного, до дна души захватившего вас? Книги Федина вы читаете, не отрываясь. Вас окружают, войдут в ваше сознание люди, чьи судьбы бесконечно тревожат, вы торопитесь за ними следовать, волнуясь, страдая, любя; событие сменяется событием, конец каждой главы нетерпеливо зовет вас к началу следующей, узнать: что же дальше? И жизнь, большая, переменчивая, разная, разворачивается перед вами, захватывая вас. Какой завидный талант! Европа и Россия, деревня и город, история и современность, революция, мир и война — все крупно, все подлинно. Какой просвещенный талант!

Чем сложнее талант, тем сложнее к нему отношение читателя и критики. Федин знает полное, большое признание, но знавал и лихие години, когда вокруг его книг шли ожесточенные споры, бури бушевали вокруг иных его книг. Так было, например, с прекрасной книгой «Горький среди нас», когда на голову писателя обрушился ураган негодующей критики. Так было с повестью о деревне 20-х годов — «Трансвааль», когда несмелые редакторы бежали рукописи или добивались в ней поправок, согласно своему разумению. В отчаянии Федин пишет Горькому: «...вдруг обнаружилось, что ГИЗ, с коим я подписал договор на сборник, восстал против «Трансвааля»... находя эту повесть злой и вредной и еретической. Откуда мне сие? Ни сном ведь, ни духом!.. Я буквально подломился под тяжестью поучительства всякого рода надзирателей», — пишет Федин. И продолжает с иронией, что «...проявил никак не похвальное упрямство, не согласился ни на купюры, ни на перемену названия книги. Так она

и будет называться «Трансваалем»...». Какой стойкий талант! Многогранный и многообразный талант.

Я не припомню, пожалуй, писателя, чьи книги, оставаясь его, именно этого мастера, творчеством, были бы столь одна от другой отличимы. «Похищение Европы», где сатирическое изображение буржуазного мира перерастает в едкий памфлет, и «Наровчатская хроника», ироничное и грустно-лирическое повествование о странной мечте тихого человека; «Санаторий Арктур» — увлекательный роман критической темы, снова по-новому в образе доктора Клебе изобличающий капиталистический Запад, — и эпическая, широкая, вольная проза послевоенной трилогии; «Сазаны» — нежное воспоминание детства, Волги, парохода, пропахшего яблоками, и насквозь молодой, озорной, написанный с изяществом и истинным блеском детективный рассказ «Джентльменское соглашение. Опыт следования покойному мистери Конан Дойлю». Все это Федин... Но Федин, знающий, что каждой книге назначена своя тема, свой стиль, свой словарь. Знающий, что вторая книга не может и не должна копировать первую. Что мастер не тот, кто, достигнув вершины, повторяет и повторяет себя. «Художник вечно вынужден сам, талантом и трудом, изобретать свое произведение. Если он на это не способен, он будет в лучшем случае размножать копии». Вот художническая позиция Федина, требующая волшебной работы воображения, мастерства композиции и, наверное, языка в первую очередь. Да, в первую очередь.

«Язык всегда остается материалом произведения. Художественная литература — это искусство слова». И: «Мы знаем хорошие произведения с несовершенной или даже плохой композицией. Но хорошего произведения с плохим языком быть не может». Тоже позиция. Своим творчеством Федин показывает первостепенность ее.

Богатство фединского языка великолепно. В чем оно? В живописности? Свежести? Образности? Да, да и да. И в чем-то еще, что трудно определить, что делает фразу Федина особо значительной, придает ей особую емкость. Можно открыть любую книгу Федина в начале, в середине (если она знакома тебе) и тут же, от первой фразы, испытать наслаждение — тебя захватит поток слов, неожиданно сочетающихся, выразительных и точных, — и художническая задача достигнута: ты введен в тот жизненный круг, куда хотел писатель тебя ввести, ты видишь, чувствуешь, слышишь звуки, вдыхаешь запахи, ты целиком во власти писателя. Нелегкая власть — результат не прекращаемой ни на день вечной работы над словом.

У Федина есть книга о работе художника: «Писатель. Искусство. Время». Книга о творчестве и труде. Я очень ее люблю. Она полна больших мыслей об искусстве. Полна глубокого чувства и молодой пылкой влюбленности в литературу. Рассказы Федина о писателях и писательском труде профессиональны и одновременно широко, разговор в них ведется о литературном труде, но это разговор и вообще о труде, о благоговейном, сказала бы я, отношении к труду. Читая эту книгу, многое узнаешь, «сопереживаешь» с автором его восхищение высо-

ким искусством. Но книга значительна, очень значительна и другим, что читается между строк и от страницы к странице сильнее захватывает читателя, становясь постепенно ее покоряющим основным содержанием. Это глубоко личный и обобщенный портрет писателя, нашего современника, с его богатейшей и разнообразной культурой, кристально нравственным талантом и огромным опытом труда. Таков Константин Александрович Федин.

Помнится, в одном из писем к фон Мекк Чайковский писал, что опасается узнавать и знакомиться с авторами взволновавших его произведений, ибо иногда в жизни авторы хуже и мельче своих творений и обидно бывает разочаровываться.

Ничего подобного не испытала я, когда, пережив и перечувствовав книги Федина, узнала его лично. Человеческая и писательская суть Федина удивительно гармонично сливаются.

Естественнее всего я представляю Федина за письменным столом в переделкинском кабинете, из окна которого виден сад, почти лес, частый и темный, где с сучка на сучок перелетают рыжие белки, серьезный дятел стучит крепким клювом или посреди ясного морозного дня расселится на ветвях стая веселых синиц. На письменном столе Федина, не очень большом, у окна, кажущаяся хаотическая загроможденность письмами, книгами, чужими и своими рукописями, на самом же деле строго понятный хозяину, полный порядок.

Меня поражают рукописи Федина, с трехэтажными от исправлений строчками, вычеркиваниями, вставными абзацами, бесконечным синим карандашом, не оставляющим нетронутым почти ни единого слова даже в этом наверняка не первом варианте страницы. Помню я, Федин говорил, что писательский труд не знает легких удач. Очевидно, ни в каком труде легких удач не бывает.

Естественнее всего Федин представляется мне за письменным столом, хотя я никогда, конечно, не видела, как он пишет. Зато много раз слышала рассказы Федина. Федин — превосходный рассказчик, у него низкий, богатый оттенками голос, скупой и выразительный жест (недаром смолodu был Федин актером), рассказ его всегда лаконичен и ярок и, даже если импровизация, остро сюжетен, населен характерами интересными и необыденными. Федин играет свои рассказы, почти перевоплощается. Во время этих устных рассказов я особенно чувствую: Федин — человек-вед. У него светло-серые, очень пристальные глаза, внутри которых иногда блеснет озорная смешинка, которая так и скажет, как он молod внутри, этот старый, семидесятипятилетний писатель. И как он видит насквозь. Если вы говорите с Федем, вам нет нужды стараться выглядеть умней и значительней, все равно он разглядит вас таким, каков вы на самом деле есть человек. «Будьте собой», — велят пронзительно-серые, зоркие, внимательные фединские глаза. Многие и многих выдавшие глаза человека, который с таким самоотвержением служит литературе, народу и Родине. Блистательно служит.

Весной прошлого года в ответ на мои поздравления Федин пишет: «Ну, вот и еще праздник 1-го Мая, еще весна, еще голоса птиц и шум ветров над нашей единственно любимой землей!»

Мне хочется от имени всех молодых и немолодых читателей «Юности», равно влюбленных в родную литературу, многоцветную и прекрасную, пожелать выдающемуся русскому писателю Константину Александровичу Федину много весен впереди, и голосов птиц, и шума ветров, и новых книг, и мира, и счастья на нашей единственно любимой земле!



ПАМЯТЬ НАРОДА

В суровую снежную осень 1941 года шли по московским улицам солдаты, чтобы встать нерушимой преградой на пути вражеского нашествия. И фашистов отбросили от стен столицы. Их разгромили на полях Подмосковья, и это явилось началом Сталинграда и Курской дуги, провозвестием того дня, когда красное знамя Победы поднялось над рейхстагом.

В дни войны искусство было оружием. Останутся навсегда в истории всенародного подвига знаменитые плакаты — «Окна ТАСС», карикатуры Кукрыниксов, разящая сатира Бор. Ефимова, Л. Бродаты, А. Каневского... Дневником военных будней стали рисунки Н. Жукова и многих других художников, печатавшиеся во фронтовой прессе, послужившие основой для создания капитальных, обобщающих работ.

А сколько живописцев, скульпторов, графиков встали в солдатский строй! Не все из них вернулись в мастерские. На полях сражений остались и двадцатилетние москвичи: Никита Фаворский, Валерий Фальк...

В дни 25-летия разгрома фашистских захватчиков под Москвой в Центральном выставочном зале открылась выставка, посвященная защитникам столицы — живым и мертвым, ставшим в своем подвиге бессмертными. С документальных фотографий, кадров кинохроники, зарисовок художников обратилась к людям шестидесятых годов тревожная и мужественная пора. Молчаливые улицы города, оцепеневшие ежами и надолбами, готовые к бою, женщины, подростки, старики, вставшие к станкам, сосредоточенное лицо постового милиционера с винтовкой за спиной на Пушкинской площади.

Знакомый каждому силуэт диковинного собора Василия Блаженного на Красной площади необычен и по-особенному выразителен в час, изображенный художником Д. Титовым в картине «Московское небо. Москва 1941». Публицистическим репортажем памяти стали работы Н. Садукова «Народное ополчение», Н. Осенева «Комсомольцы на строительстве оборонительных рубежей», А. Лысенко «Первая победа».

Динамикой и экспрессией впечатляет символическое произведение Бориса Пророкова «Герои не умирают» — оптимистический рекем силе духа и правды, самопожертвенной борьбе.

Подвиг под Москвой был обращен в будущее, к цветению радостной и свободной человеческой жизни. Годы не старят его, не размывают его очертания дымкой исторического тумана. Он становится все рельефнее и весомее в каждом новом свершении, в каждом дне нашей жизни.

Иван КУПЦОВ



Д. Быков-Карпович

ТРИ ВСТРЕЧИ

Автору печатаемых воспоминаний Дмитрию Яковлевичу Быкову-Карповичу пошел девятый десяток. Воспоминания его относятся к первой четверти нынешнего века.

Уже в 1902 году он работал учеником токаря в железнодорожных мастерских Ростова и с этих же лет стал участвовать в борьбе пролетариата с царизмом. Дореволюционным судом Быков-Карпович был приговорен к смертной казни через повешение, позднее замененной пожизненной каторгой, от которой его избавила революция.

...Наибольший интерес представляют встречи автора с Владимиром Ильичем Лениным до революции, в Швейцарии, а затем в период революционных событий 1917 года, в Петрограде, и на XI съезде партии в 1922 году, в Москве.



Моя политическая жизнь началась в 1902 году. Будучи учеником токаря Ростовских железнодорожных мастерских, я выполнил первое боевое задание: в рабочие ящики, верстаки, столы я разложил листовки с призывом к участию в маевке, а если потребуется, то и в забастовке. В то время поручение это носило серьезный характер: от него зависел успех организованного выступления.

А уже в 1903 году я сам участвовал в первомайской демонстрации ростовских рабочих, которая была разогнана казачьей сотней. Вскоре стал принимать активное участие в революционном движении Северного Кавказа: посещал рабочие кружки, читал нелегальную литературу.

После подавления царизмом революции 1905 года над Россией нависли черные тучи политической реакции, массовых репрессий против революционеров. Царизм жестоко мстил народу и его руководителям.

Шел 1907 год. Многие участники революции искали убежище от преследований за границей.

При содействии и помощи товарищей удалось выехать и мне сначала в Польшу, оттуда в Германию и, наконец, с одним из товарищей — Долгополовым — в Швейцарию. В то время мне едва минуло двадцать лет; хорошего опыта и связей с нашими политическими эмигрантами у меня не было. В Женеве пришлось некоторое время бродить, выискивая людей, которые знали русский язык и могли бы помочь на первых порах как-то устроиться.

Число русских эмигрантов тогда возросло, и мы нашли людей, которые помогли нам.

Вскоре нам удалось узнать местонахождение библиотеки русских эмигрантов и узнать там, что в один из ближайших дней назначен диспут, где соберется русская колония.

И вот в начале 1908 года в Женеве в этой библиотеке мне пришлось встретиться с В. И. Лениным и Н. К. Крупской на происходившем здесь диспуте по вопросу: «Следовало ли русскому рабочему классу в революции 1905—1906 гг. братья за оружие и строить баррикады в борьбе с царским самодержавием?»

Я впервые был среди собравшихся и никого еще не знал. Как самый молодой и только что приехавший из России, я чувствовал себя очень неуверенно.

Вечерело. Помещение наполнялось народом. Я сел недалеко от входа. Вижу, в мою сторону быстрым шагом направляется незнакомый мне невысокий, коренастый человек. Подойдя, он сел и сразу заговорил как со старым знакомым.

— Здравствуйте, молодой человек! Давно ли из России? Как там наши дела?

Искушенный уже в некоторых тонкостях конспирации, я насторожился, думая больше о том, чтобы скорее отделаться от настойчивого незнакомца, отвечал на вопросы односложными «да», «нет», «не знаю», «не видел», «не слышал». Но это не смутило моего собеседника; он все более настойчиво задавал новые вопросы: хорошо ли доехал до Швейцарии, не подвергался ли репрессиям со стороны пограничных властей, где поселился, как устроился. И как-то получилось само собой — он своей исключительной простотой, обаятельностью так расположил к себе, что я со всей откровенностью рассказал обо всем, что знал, что его интересовало. Беседа была хотя и недолгой, но настолько душевной и теплой, что я был просто очарован этим человеком.

— А как вы, молодой человек, смотрите на тему сегодняшнего диспута? — спросил он.

Не задумываясь, я ответил:

— Без вооружения рабочих, без баррикад царизм

победить невозможно. Необходимо также шире применять к царским особам индивидуальный террор.

Тут мой собеседник как-то сразу изменился в лице и сказал:

— Вы своим терроризмом серьезно больны. Жизнь, история, видимо, вас не убедили в безуспешности такой борьбы. Вам нужно, очень нужно учиться у Маркса, и тогда вы поймете, насколько вредна эта идея... Впрочем, мы еще поговорим.

И, повернувшись, мой собеседник направился к столу, поставленному для выступающих на диспуте.

Вскоре зажгли огни, и председательствующий объявил о начале диспута. После двух-трех ораторов предоставил слово Ленину.

В зале стало тихо. Я много слышал о Ленине в России и с нетерпением ждал этого выступления.

Можно представить мое замешательство, мое удивление, когда к столу подошел мой недавний собеседник. В этот момент в памяти телеграфной лентой пробежало все, что я ему говорил во время беседы. Я крайне досадовал на себя и за содержание и за форму ответов. Мне было неловко, я даже хотел, не дожидаясь конца диспута, убежать из библиотеки.

Но вот Владимир Ильич начал говорить и как бы приковал меня к месту. Среди присутствовавших воцарилась мертвая тишина. Ленин говорил, что свобода от рабства не выпрашивается у властвующих, а вырывается у них, завоевывается в жестоких боях. Этому учит опыт всех революций. С неотразимой убедительностью он нарисовал картину классовых отношений в России, деспотического режима царизма с его гигантским полицейским и военным аппаратом подавления сил революции, свергнуть который можно только вооруженной силой пролетариата.

Я оказался целиком во власти доводов Ленина. Меня охватило чувство стыда за ту самонадеянную уверенность, с какою я говорил ему о необходимости индивидуального террора.

Я стал пробираться к выходу, но неожиданно наткнулся на подходящую ко мне женщину невысокого роста. Поравнявшись со мной, она сказала: «Я Крупская. Хочу вас на некоторое время задержать». И, не слушая возражений, которые приводил я в досаде на себя, взяла меня под руку, сказав, что В. И. Ленин просил меня немного задержаться, чтобы продолжить разговор.

Не успел я опомниться, как появился сам Владимир Ильич. Шутя, он пожурил меня за неучтивость в обращении с женщиной и сказал: «Пойдемте, нам нужно еще кое о чем поговорить. Где и хорошо ли вы устроились?»

После этого я встречался с Владимиром Ильичем дней пять подряд. Эти встречи и беседы дали мне очень много в смысле политического воспитания и образования, — я ведь был очень молод и еще плохо разбирался в революционной работе.

Надежда Константиновна обеспечила меня всем необходимым для возвращения на родину. Через Надежду Константиновну я получил поручения от Владимира Ильича и успешно выполнил их в Петербурге и Москве. А вот поручение относительно Кубани закончилось для меня трагедией. Здесь на одной из явочных квартир была устроена засада, и меня арестовали. Пришлось оказать вооруженное сопротивление, чтобы успеть уничтожить имевшиеся документы. Меня судили и приговорили к смертной казни через повешение.

Двадцать восемь суток провел я в Екатеринодарской тюрьме, как смертник, в каждодневном мучи-

тельном ожидании казни. Смертную казнь мне потом заменили пятнадцатью годами каторжных работ.

Началась жизнь каторжника. Много испытано за это время. Четыре года ножных кандалов, два года — ручных, побои, розги, карцеры, пройдено много тюрем: Ростовская, Орловская, Саратовская...

Саратовская тюрьма в то время отличалась жестоким отношением к политическим. Избиения, истязания происходили ежедневно. Помню, что И. И. Короткова, который тоже тогда там находился, пороли чуть ли не каждую неделю. Дочь начальника тюрьмы Гумбера, узнав об истязаниях политических, стреляла в своего отца. Она была осуждена, кажется, на двадцатилетнее заключение.

После долгих скитаний по тюрьмам меня отправили в Александровский централ в Сибири.

Нет нужды подробно говорить о тех нестерпимых муках — и не столько, может быть, физических, сколько моральных, — которые пришлось пережить за многие годы каторжного одиночества, оторванности от жизни, от друзей по революционной работе. Как много было передумано, переосмыслено в свете тех животворных идей, которые заронил в мою душу В. И. Ленин.

Мое безрадостное одиночество, как луч прожектора, осветила вест с воли — письмо дорогого Владимира Ильича, полученное нами, политзаключенными, через Е. П. Пешкову, представительницу Красного Креста. Оно влило новые силы, зажгло в сердце радость надежды на лучшее будущее. Нам в заточение передали это письмо в маленькой книжке евангелия; оно помещалось за картоном обложки. Очень жаль, что его нельзя было сохранить.

Ленин писал о неизбежности победы в недалеком будущем. Нам он советовал не предаваться унынию, а думать об этом будущем, к нему готовить себя: использовать долгие годы вынужденного бездействия для пополнения своих знаний, для всестороннего самообразования. Особенно рекомендовал читать, изучать иностранные языки, физику, химию.

...И вот наконец пришли те долгожданные дни, о которых ободряюще писал В. И. Ленин в своем письме. Россию охватила революция. Тюрьмы раскрыты, освобождены политические заключенные, каторжане.

Группа освобожденных каторжан, в которой был и я, проехала по всей бескрайней стране — от Иркутска по Сибирской дороге — и оказалась в бурлящем революционном Петрограде. Конечно, я услышал о Ленине и бросился в дом Кшесинской.

И вот Ленин, у которого за эти годы было бесконечно много значительных встреч с людьми, помнил обо мне, незаметном, начинающем революционере, каким я был в Женеве. Так велико было у этого большого человека внимание к судьбам людей, с которыми ему приходилось встречаться!

Владимир Ильич все такой же простой, добродушный, внимательный. Заметно постарел, утомлен, но бесконечно радостен.

Он обратился ко мне по-французски. И первыми его словами после теплого приветствия были:

— Вы говорите по-французски, месье?

По его совету я занимался иностранными языками и, в частности, немного изучал французский язык.

В тон ему я ответил:

— Да, месье Ленин, я говорю по-французски, но плохо.

Довольная улыбка Ильича ослепила и окрылила меня. Я рассказал ему о нашей жизни, о страшном режиме физического и морального истязания заключенных.

Вскоре по совету Ильича я отправился на Кубань. Дорога была тяжелой и долгой. Наконец я добрался

до Ростова, где в 1902—1903 годах работал в железнодорожных мастерских учеником токаря по металлу и впервые принял участие в первомайской демонстрации, а затем и в забастовке.

Здесь я встретил товарищей, которые меня знали и сразу втянули в борьбу за власть Советов. Вскоре я стал одним из комиссаров по Управлению Владикавказской железной дорогой, — меня выдвинули туда рабочие железнодорожных мастерских станции Кавказская. Здесь же, на станции Кавказская, я был избран первым председателем Совета рабочих депутатов.

Мне необходимо было разыскать мать и родных, которые жили в станице Архангельская. Ведь они еще не знали ничего обо мне. Но меня ожидало новое потрясение. За несколько дней до моего приезда контрреволюционно настроенными казаками был замучен и повешен мой старший брат, Михаил. Здесь вообще не жаловали иногородних, к тому же он был брат каторжника. Моему горю не было границ.

По совету матери я немедленно выехал из этой, некогда родной мне станицы и вошел в один из отрядов красных партизан, которые расположились между станциями Армавир — Тихорецкая — Кавказская.

Борьба с белым казачеством была сложной и трудной. Общее положение в стране осложнилось в то время наступлением немецких войск, продвигавшихся к Дону. Это придавало уверенность контрреволюционному казачеству.

В одной из стычек нашего отряда красных партизан с белыми казаками я был ранен и должен был уехать. Уехал я в Тулу, где секретарь Тульского губкома Г. Н. Каминский принял меня и прикрепил к коллективу патронного завода.

...Многолетнее заключение в тюрьме помешало мне оформить свою партийность. Нужно было раздобыть справки. В 1922 году я приехал в Москву вместе со старым большевиком С. И. Степановым, в то время членом Ревизионной комиссии ЦК РКП(б), который отправлялся на XI съезд партии. Он достал мне пропуск, и вместе с ним я пришел на съезд.

В съездовском зале Владимир Ильич, очевидно, заметил меня сидящим рядом с Сергеем Ивановичем Степановым. Во время перерыва он подошел к нам с К. Е. Ворошиловым и еще одним товарищем, которого я не знал.

— Вот мой каторжанин, — сказал он, знакомя их со мной, и тут же рассказал о встрече в Женеве. Потом, обращаясь ко мне, спросил:

— Где осели, где и как работаете?

Я ответил, что поселился в Туле, работаю с Ф. И. Андриановым в губпродкоме, женился на тулячке с патронного завода; туляки приняли, как родного брата.

— Ну, вам повезло, — сказал, смеясь, Ильич, — ведь туляки подковали блоху, они первоклассные мастера и зря своих симпатий не разбрасывают. Это настоящие пролетарии и притом работники самого главного арсенала оружия.

Затем он говорил о том, что надо бороться не только за оружие, но и за пролетариев. Надо окончательно освободить тульских рабочих от влияния меньшевиков и эсеров.

Когда Ильич говорил, чувствовалось, что он крайне переутомлен. К. Е. Ворошилов поспешил прервать беседу, напомнив, что время приступить к продолжению съезда. Владимир Ильич, взглянув на меня, сочувственно сказал:

— А вы, как я вижу, еще больны, вам нужно лечиться.

Он тут же написал записку и дал мне.

— Вот цидулка к нашим кремлевским врачам; пусть они вас полечат.

Эта записка поныне хранится в Лечсануправлении Кремля, что позволяет мне и моей жене до сих пор пользоваться там лечебной помощью.

Сам до предела изнуренный, совершенно больной, Владимир Ильич меньше всего думал о себе, всю заботу своего большого, отзывчивого сердца он отдавал людям.

К. Е. Ворошилов взял Владимира Ильича под руку и сказал:

— Извините нас, друзья, мы спешим в президиум.

Тогда еще мы обратили внимание на резкую бледность лица Владимира Ильича. Состояние здоровья его нас потрясло, но мы не допускали мысли о возможности его скорой смерти.

Прошло всего полтора года, и нашего дорогого Ильича не стало.

Всю жизнь я храню в памяти эти три дорогие мне встречи.



Борис Бялик

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА ОСЕТИИ

Читатели! Сбираюсь поведать тебе
Старинную повесть о славном
И доблестном предке, стяжавшем себе
Бессмертье...

Коста ХЕТАГУРОВ «Хетаг».

1

-А легенду о Хетаге ты знаешь?— спрашивает Владимир Зангиев, делая умопомрачительный, леденящий душу разворот на узкой горной дороге, выходящей по ущелью.— Неужели и ее не знаешь?

За те часы, которые я успел провести в Орджоникидзе, он уже не раз задавал мне такие вопросы. И каждый раз я слушал после этого новую удивительную легенду, одну из бесчисленных легенд Осетии. Не сомневаюсь, что так будет и сейчас.

Я отрываю взгляд от скал, которые величаво плывут, словно айсберги, за стеклами нашей машины, и приступаю слушать. Но Зангиев почему-то медлит.

Машина возвращается на Алагирское шоссе, с которого мы свернули, чтобы полюбоваться Куртатинским ущельем, и стремительно набирает скорость. Когда за рулем летчик, не жди тихой езды. Особенно, если это летчик-штурмовик, привыкший к бреющему полету.

Показывается большое селение. Зангиев притормаживает и почти совсем останавливается у въезда, но, передумав, снова мчит по шоссе.

— Разве это не Хатаддон? — спрашиваю я.

— Хатаддон. Но отсюда нас до ночи не выпустят, а мне хочется, пока светло, показать тебе Священную рощу. Она совсем рядом...

Мы сворачиваем на изрытую тракторами полевою дорогу, по которой даже Зангиев вынужден ехать медленно, и я сразу замечаю рощу. Ее нельзя не заметить: скопление высоких ветвистых деревьев резко выделяется на распаханной глади долины.

— С воздуха видно, что роща — правильный круг, — говорит Зангиев. — словно кто-то очертил это место гигантским циркулем, а потом засадил деревьями. И ведь вот какое совпадение: в лесу, растущем на склоне Кавказского хребта, есть пролысина такой же формы, как и эта роща. Потому-то, возможно, и возникла легенда о Хетаге. А могло быть и так, что сначала возникла легенда, а потом люди стали придавать значение случайному совпадению. Сам знаешь: если человека захватит какая-нибудь мысль или фантазия, ему начинает казаться, что все с ней связано, все ее подтверждает. Со мною так было после боя над Хатаддоном. Почему-то снова и снова вспоминалось, как проносилась внизу эта роща, как возникал и исчезал под крылом самолета ее правильный круг. Я и в бреду это видел...

Оставив машину на дороге, мы входим в Священную рощу. К ней очень идет ее название: здесь невольно замолкаешь и ступаешь осторожно, как в

На снимке вверху: В. С. Зангиев и Б. А. Бялик (с права).

Фото А. Лапса.

храме. Огромные буки (иным по двести и более лет) сплелись причудливо изогнутыми ветвями, образовав сверху узорчатый свод.

Зангиев нарушает торжественную тишину стихами Коста Хетагурава:

Преданье я черпал из тысяч уст,
А памятник цел и поныне:
Священная роща, иль «Хетагов куст»
Стоит в Куртатинской долине.
Еще не касался ни разу топор
Ее долговечных питомцев,
В ней странник чужой потупляет свой взор,
Послушный обычаям горцев.

— Ладно, горец, — говорю я, — объясни-ка ты страннику чужому, что значит вот это...

Под буками стоят огромные, под стать им, столы, на которых множество рюмок, бокалов, стаканов, как будто здесь только что собирались или должны сегодня собраться для пиршества тысячи людей. От дерева к дереву протянуты красные полотнища, а с ветвей свисают бесчисленные полосы разноцветной материи. В этом чудится что-то языческое. Впрочем, на одном из полотнищ написано: «Добро пожаловать на праздник урожая!».

Зангиев объясняет:

— Тут смешались обычаи разных эпох, но все они связаны с одним — с преданием о Хетаге. Предание гласит, что в древние времена на этом самом месте попал в беду доблестный воин Хетаг: его стали окружать враги. Врагов было слишком много, чтобы он мог один отразить их натиск, а укрыться было негде: место в то время было совсем открытым. И Хетаг воскликнул:

— Уаштырджи!

Это он призвал на помощь святого Георгия, покровителя воинов и путников. Тот услышал призыв. Вырвав в горах с корнями сотни могучих деревьев, он перенес их сюда, создал эту рощу и спрятал в ней Хетага от врагов.

Каждый год 18 июля в Священную рощу съезжаются из многих селений Осетии, чтобы отпраздновать чудесное спасение героя. И всегда в этот день гости находят на столах еду и питье. Тут нет никакого чуда: все это приобретается на деньги, которые посетители рощи бросают в течение года вон в тот металлический ящик. Праздник Хетага уже почти утратил религиозный характер, соединившись с праздником урожая. И само предание приобрело новый смысл. Сегодня оно учит, что никогда, ни при каких обстоятельствах не надо отчаиваться, что помощь должна прийти обязательно, — конечно, не от святого Георгия, а от человека, от твоего друга или от того, кого ты еще не знаешь, но кто станет твоим другом в трудную минуту...

Мы направляемся к машине, но Зангиев спохватывается и возвращается. Я вижу, как он бросает монеты в большой металлический ящик, который весь покрыт зеленой окисью: наверное, он немногим моложе самой рощи.

— Ты не смейся над этим обычаем, — говорит Зангиев, хотя я и не думал смеяться. — Не все старое устарело. Тебя удивило, что я не знал, кого хоронили сегодня в городе. Так много шло народа за гробом — чуть не целая улица. Ты думал, что провожали очень знаменитого человека. А у нас так хоронят просто хороших людей. Когда умирает человек, в его дом приходят родственники, друзья и друзья друзей. Они сразу берут на себя все заботы, не позволяя ничего делать близким покойного: с них хватит их горя. И прежде всего собирают деньги, столько, сколько на-

до на похороны, на поминки, на памятник, на все. У нас обычай — не оставлять людей одних в горе...

Садясь в машину, Зангиев добавляет:

— И — в радости. Ты это увидишь сейчас в Хаталдоне. Подсчитай, сколько придет народа отметить 5 ноября...

2

Чтобы стало ясно, почему 5 ноября каждого года к одному из домов Хаталдона подходит и подъезжает так много людей, что маленький дом не может их всех вместить, надо вернуться к событиям почти четвертьвековой давности.

5 ноября 1942 года гитлеровские войска, ударившие танковым тараном от Нальчика через Дигору, Ардон, Алагир, Хаталдон и Гизель на город Орджоникидзе, вышли на самые подступы к столице Северной Осетии. Это была последняя, отчаянная попытка фашистского командования пробиться к Закавказью, чтобы захватить Тбилиси, овладеть бакинской нефтью, выйти к турецкой границе (Гитлер рассчитывал, что в этом случае Турция вступит в войну) и открыть для себя путь на Ближний и Средний Восток. В наши дни военные историки пишут, что эта попытка была чистой авантюрой и что весь план прорыва к Закавказью, связанный с несбыточными надеждами фашистов на выступление народов Кавказа против Советской власти, был обречен на провал. Ведь уже 6 ноября советские войска смогли нанести сильный контрудар противнику и вскоре перешли в решительное наступление.

Все это правильно, все сложилось именно так. Но для того, чтобы все сложилось именно так, а не иначе, понадобилось исключительное напряжение сил и великое мужество защитников Орджоникидзе, понадобились жертвы, и немалые жертвы, понадобилась ожесточеннейшая схватка, разыгравшаяся на земле и в воздухе 5 ноября.

Случилось так, что младшему лейтенанту Владимиру Сослановичу Зангиеву, пришедшему перед самой войной из гражданской авиации в военную и оказавшемуся в 7-м гвардейском штурмовом полку, довелось принять боевое крещение в небе родной Осетии, в решающий день 5 ноября 1942 года. Утром Зангиев участвовал в штурмовке фашистских танков, сосредоточившихся в районе Гизели (из этого вылета вернулись далеко не все), а затем получил новое, неожиданное задание. В тот день на КП у командира авиаполка Константина Николаевича Холобаева побывал генерал (ныне Главный маршал авиации) Константин Андреевич Вершинин, и Холобаев пожаловался ему на большие потери, которые штурмовики несут из-за того, что им часто приходится действовать без прикрытия истребителей. Генерал сказал:

— Полк гвардейский — задачи гвардейские...

И добавил:

— Завтра получите прикрытия...

Стало ясно, что сегодня его не будет, а сегодня решалось многое. Вот почему два самолета, два «Ильюшина», были временно превращены в «истребителей»: они должны были, сбросив бомбовой груз, остаться наверху для прикрытия товарищей. Ведущим полетел Зангиев, ведомым — Письмеченко. Всю группу из двенадцати самолетов вел на штурмовку Василий Борисович Емельяненко.

Что побудило командира дать столь трудное, продиктованное чрезвычайными обстоятельствами задание Владимиру Зангиеву — молодому и почти необстрелянному летчику? По-видимому, дело было в при-

сущем Зангиеву духе товарищества. Этот веселый и добрый юноша, любимец однопольчан, как-то с увлечением рассказал, что у горцев существует древний обычай: друзья могут объявить друг друга «названными братьями», и тогда они, не задумываясь, отдадут друг за друга жизнь, и все их родные, став родственниками друг другу, поступают так же. Разве не должны быть такими «названными братьями» все летчики-штурмовики, боевая профессия которых соединяет в себе трудности и опасности не только разных видов авиации, но и других родов войск? Недаром же у «Ильюшиных» столько прозвищ: «воздушная пехота», «небесная артиллерия», «летающие танки»...

Штурмовики были уже над целью, когда появилась большая группа «мессершмиттов». Зангиев и Письмеченко врезались в их строй и заставили рассыпаться. Сразу определив среди фашистов ведущего, Зангиев атаковал его и погнался в сторону Кавказского хребта, туда, где белела снеговая шапка Казбека. Посланный вдогонку «мессершмитту» эроз довершил дело: тот рухнул к подножию гор, оставив в небе полосу черного дыма. Сделав крутой вираж над «Хетаговым кустом», Зангиев снова оказался над целью, которую штурмовали его товарищи. Появились новые «мессершмитты», и ему вместе с Письмеченко пришлось вступить еще в один неравный бой. Зангиеву показалось, что он подбил второго стервятника, но проверить это он не успел. Получил повреждение его собственный самолет, и дым стал наполнять кабину. Все же Зангиев увидел: один из «мессершмиттов» заходит в хвост самолета Емельяненко. Проникшее в кабину пламя уже лизало руки Зангиева, но он, не задумываясь, устремился на выручку к командир.

В воздушном бою все решают секунды. Зангиев спас товарища, но у него не осталось тех нескольких секунд, которые были необходимы, чтобы развернуть самолет и направить в сторону наших позиций. Огонь опалил лицо летчика, и он вынужден был оставить кабину. Он не сразу раскрыл парашют, а сделал затяжной прыжок, чтобы сбить пламя с одежды. Чуть в стороне виднелось селение Хатаддон, а внизу чернел густой кустарник, где каждая тропа вела в родные горы, к своим.

Но парашют раскрылся слишком поздно. Зангиев ударился о землю и потерял сознание.

Вернувшийся из полета раненый Письмеченко доложил, что самолет Зангиева сгорел над целью, а Емельяненко видел, как раскрылся зангиевский парашют — раскрылся так близко от земли, что гибель летчика была неизбежной.

В гибели Владимира Зангиева не сомневался никто.

3

За воздушным боем над Хатаддоном наблюдали многие. Наблюдали с разными, прямо противоположными чувствами: гитлеровцы, наполнявшие все дома селения, и жители, выселенные из домов и обитавшие в землянках и щелях. Когда два самолета пронеслись к горам и вернулся один краснозвездный, это вызвало единодушный крик злобы у одних и вздох облегчения у других. Все видели, как тот же летчик сбил второго фашиста и, выпрыгнув из своего горящего самолета, факелом упал в кусты, к которым кинулись разъяренные гитлеровцы. Женщины и дети плакали, глядя в ту сторону: наверное, там добивают героя, если он еще жив...

Но вдруг все увидели: гитлеровцы волокут по земле обожженное и окровавленное тело летчика. Его

затащили в один из домов и бросили на земляной пол...

— Что будем делать? — спросила старая Ануш Басаева свою невестку Фаруз, которая сидела вместе с ней в окопчике, вырытом во дворе того дома, куда внесли летчика. — Войдем в дом — те не простят. Не войдем — сами себе не простим никогда...

— Идем, — ответила Фаруз, прижимавшая к себе маленького сына.

Лежавший на полу человек сперва показался им мертвым. Лицо его было страшным: оно распухло, и с него свисали клочья горелой кожи. Одна нога неестественно подвернулась: было ясно, что она сломана. Женщины наклонились и услышали, что он еще дышит. Тогда они смочили ему рот водой и перевязали кровоточащие раны. Рот чуть-чуть приоткрылся, и они смогли влить немного воды, но веки глаз оставались слипшимися: наверное, летчик ослеп. Фаруз принесла кислое молоко и стала смазывать глаза и лицо юноши. Он пошевелился и застонал. Потом, не открывая глаз, спросил по-осетински:

— Где я?

Женщины ответили, и он прошептал:

— Запомните: меня зовут Зангиев... Я из Ардона. Передайте...

За окнами слышались голоса немцев, и женщины выбежали во двор.

Со двора им было слышно, как кричали в доме гитлеровцы, добиваясь чего-то от летчика. Немцы ушли часа через два, и в дом снова проникли Ануш и Фаруз. Летчик лежал опять без сознания, перевязки с его ран были сорваны, и на теле появились новые кровавые полосы. Привести его в чувство оказалось еще труднее, чем в первый раз, но теперь он немного приоткрыл глаза.

— Чего они хотят от тебя? — спросила Фаруз.

— Они хотят узнать, где наш аэродром. Вот я сяду в самолет, тогда узнают... Они узнают!

Вернулись гитлеровцы и выптали пинками женщин, пригрозив, что расправятся иначе, если опять их застанут в доме.

Сидя в окопчике, Ануш сказала Фаруз:

— Он не помешался? Как он может надеяться снова сесть в самолет?

Еще несколько дней пролежал Зангиев в их доме. И каждый день его допрашивали и истязали гитлеровцы. И каждый раз после этого в дом снова проникали женщины.

И вот пришел день, когда летчика вытащили на улицу и, положив на лестницу, понесли к дороге. Фаруз подсунула под тело юноши одеяло. Ее свалили ударом приклада и потащили в комендатуру.

Жители Хатаддона, согнанные к дороге, содрогались при мысли, что они станут свидетелями расстрела пленного летчика. Однако им пришлось увидеть нечто более страшное. Расстрел показался гитлеровцам слишком легкой казнью для этого человека, а может быть, им хотелось сломить гордый дух его сородичей. Они принесли веревку и одним концом обмотали ноги юноши, а другой привязали к хвосту коня. Потом они погнали коня по каменистой дороге вскачь и гнали до тех пор, пока не стали красными волосы на голове летчика и не почернело его лицо. Тогда они вырыли около дороги яму и бросили туда бездыханное тело. Все было кончено.

Фаруз выпустили было из комендатуры, но, как только началось наступление советских войск, схватили снова, а вместе с нею Ануш с маленьким Борей и погнали в сторону Прохладного. Плен был тяжок, но недолог: 15 января их освободили советские солдаты. В Хатаддоне Фаруз Басаеву ждала страшная весть: когда ее мать, жившая в соседнем селении, уз-

пала об участи дочери и внука, она скончалась от горя...

А вскоре к Фаруз приехала из Орджоникидзе женщина и спросила, правда ли, что в ее доме лежал летчик Владимир Зангиев и что она была свидетельницей его казни. Фаруз сразу поняла, кто эта женщина, и, вспомнив свою мать, сказала:

— Верно, что он лежал в этом доме, но неверно, что я видела его казнь...

— Может быть, он еще жив? — спросила женщина, и Фаруз поняла, что мать Зангиева не видела маленького деревянного памятника, поставленного жителями Хаталдона на могиле героя.

— Конечно, это возможно, — сказала Фаруз. — Кто-то говорил, что видел его в лагере Дигора...

Она была уверена, что сказала неправду.

4

Точно не известно, почему гитлеровцы разрыли яму, когда жители селения разошлись по домам. Возможно, они боялись, что тело летчика тайно перенесут в другое место. Разрыв могилу, они увидели: окровавленное тело шевелится. Не заговорит ли упрямый горец теперь, после прогулки на тот свет?

Зангиева привели в чувство и куда-то отвезли, где снова избили до потери сознания. Он не помнит, как оказался в лагере Дигора, но те, кто был там вместе с ним, рассказывают, с каким трудом удавалось его отхаживать после каждого нового допроса.

Из Дигора всех военнопленных погнали в Прохладненский лагерь. Люди едва не падали от ран и от усталости и все же по очереди несли на руках метавшегося в бреду летчика. В Прохладненском лагере Зангиева ждало то же, что и в Дигоре: допросы и пытки. Он не мог ходить — гитлеровцы волокли его по земле. Не мог есть — ему силой вливали в рот баланду. Враги думали, что продлевают ему не жизнь, а агонию. Они не подозревали, как дорого им придется за все это заплатить.

Наковец Зангиев попал в Славуты.

Путь туда был долг и страшен. В вагон набили так много людей, что можно было только стоять, а большинство были тяжелораненные. Нечем было делать перевязки, нечего было есть, на каждой остановке из вагона выбрасывали трупы. Однажды, когда эшелон остановился возле какой-то станции, Зангиев крикнул в маленькое, проделанное у самого потолка окно, что в вагоне раненные и что они умирают от голода и потери крови. Крикнул так, без особой надежды: ведь эшелон окружали немецкие часовые. Но когда стемнело, в оконце полетели куски хлеба и бинты.

В славутский «гросс-лазарет» свозили раненых советских военнопленных не для того, чтобы лечить, а чтобы истреблять различными, самыми изощренными способами. В этом «лазарете смерти» умирало каждый день до 300 человек, а всего за два года его существования было замучено более 150 тысяч. Вот куда притащили летчика, который не мог ходить без костылей, был весь в ранах и ожогах и к тому же заболел сыпным тифом.

Трудно было понять, как держалась в нем жизнь. Кругом все время погибали люди — погибали от рап, от болезней, от голода, от пуды. А он жил. Над ним издевались с особенным удовольствием, выбивая из его рук костыли и засовывая горящие окурки в зияющие раны. Он сделался главной забавой тюремщиков, они держали пари: сколько еще протянет живучий кавказец?

Иногда Зангиеву начинало казаться, что никакого «гросс-лазарета» нет, а есть бредовое видение: он продолжает делать затылочный прыжок и вот-вот ударится о землю и избавится от кошмара. Но когда он вспоминал о прыжке, сразу же вспоминался и полет, а вместе с ним еще многое: Священная роща, падающий к подножию гор «мессершмитт», снеговая шапка Казбека. И то, что теплилось в его душе, начинало снова разгораться. Внешне он продолжал быть беспомощным и ко всему безучастным, но по ночам учился ходить без костылей. Ему помогали: советские люди и здесь оставались людьми.

«Затылочный прыжок» кончился в тот день, когда Зангиев первый раз сумел самостоятельно пройти во мраке камеры от стены к стене.

Бежать из славутского «гросс-лазарета» было почти невозможно. Весь лагерь был обнесен густой сетью проволочных заграждений. Вдоль заграждений, через каждые 30—40 метров, стояли вышки, где находилась охрана с пулеметами и прожекторами. И все же побеги случались, когда военнопленных заставляли выносить из лагеря трупы или когда их гнали на работу в окрестные леса (весь путь на работу и обратно был отмечен маленькими холмиками — могилами тех, кто падал от изнеможения и кого добивали конвоиры). Вот на этом-то и построил план своего побега Зангиев.

23 мая 1943 года (теперь он снова вел счет дням) его вывели вместе с сотнями других заключенных из лагеря. Он начал отставать, и конвоир замахнулся на него прикладом. Тогда Зангиев ударил его костылем и, отбросив костыли, побежал в глубь леса. Вслед ему свистели пули...

Месяц спустя на неподвижно лежащего юношу (он уже не казался юношей) наткнулась разведка партизанского соединения. Непонятно, как он сумел прожить столько времени, почти ничем не питаясь. Его приняли за мертвого, но ему было привычно оживать.

Он остался с партизанами. Раны еще не зажили, о полетах пока не могло быть и речи. А он должен был что-то делать немедленно, сразу, чтобы дать выход всей накопившейся в нем ненависти к врагу, всей сжигающей его душу ярости... Можно было бы много рассказать о подвигах летчика-осетина, ставшего бойцом, а потом политруком партизанского отряда имени Ворошилова, который действовал в Каменец-Подольской и Ровенской областях. Скажу лишь об одной дерзкой диверсии, за которую Зангиев был представлен к ордену Красного Знамени: он пустил под откос на участке Олевск — Ракитное эшелон, разбив 16 вагонов и уничтожив больше 300 гитлеровцев. Но этого ему было слишком мало: ведь столько наших людей погибло в славутском «гросс-лазарете» каждый день! Его все больше мучила тоска по полетам, по родному авиаполку. Когда он слышал в небе гул советских самолетов, он забывал о своей хромоте (она осталась на всю жизнь), о рубцах и шрамах, покрывавших тело...

Его новым боевым товарищам трудно было с ним расставаться, но они хорошо понимали душевное состояние Володи Зангиева. Летом 1944 года он был отправлен на «Большую землю».

5

Теперь я должен коснуться той страницы биографии Владимира Зангиева, которую хотелось бы перевернуть не читая. Но она была, она вошла в его жизнь, эта страница, и ее надо прочесть, чтобы понять все дальнейшее.

Известно, что к людям, побывавшим в фашистском

плени, относились в то время с недоверием. К Зангиеву отнеслись на первых порах иначе. Были хорошо известны обстоятельства, при которых он попал в плен, и хорошо известно все, что произошло после этого: история его побега, подвиги, совершенные им в рядах партизан. Вот почему на его документе появилось заключение: «Зангиев В. С. направлению в спецлагерь для проверки не подлежит».

Однако в авиационную часть его под разными предлогами не отправляли: говорили, что он не знает новых типов самолетов, что ему необходимо еще подлечиться, и т. п. В конце концов он не выдержал и сбежал, самовольно отправившись на поиски родного полка. «Самоволка» могла привести к большим неприятностям, но он понял, что ничего плохого не будет, когда предстал перед командиром своей штурмовой дивизии генералом Гетьманом. Тот попытался уговорить его остаться при штабе. Зангиев повторял:

— Летать! Только летать!..

Генерал сказал:

— В добрый час! И пусть он будет недобрым для фашистов...

Наконец-то Зангиев был дома, в 7-м гвардейском полку, среди боевых друзей, которые встретили его так, что он почувствовал себя вновь родившимся. Он стал изучать новую машину и готовиться к боевым полетам...

И вот состоялся долгожданный боевой вылет: Зангиев ушел на штурмовку. Его второе боевое крещение могло закончиться не менее трагически, чем первое. Его самолет подбили. Пора было прыгать с парашютом, но Зангиев об этом и мысли не допускал. У него хватило бы воли пройти через все, даже через ужасы нового плена, но он не хотел бросить тень на оказавших ему доверие товарищей.

Приходилось считать, что теперь он был в самолете не один, как в 1942 году, а отвечал еще за жизнь второго члена экипажа — стрелка Владимира Гаркуна. Зангиев крикнул в микрофон, что разрешает ему прыгать, но тот понял, что командир остается, и остался тоже.

Последнее, что увидел Володя перед тем, как потерять сознание, — это промелькнувшие под самыми колесами окопы нашего переднего края. Самолет врезался в лесок и застрял в чаще. Гаркун вытащил командира из загоревшейся машины.

На этот раз Зангиев отделался сравнительно легко: пролежал неделю в своем медсанбате. Он стал хуже слышать, и в голове его что-то гудело, но ему удалось скрыть это от врачей.

Начались каждодневные боевые вылеты, иногда по две-три штурмовки в день: он должен был наверстать упущенное.

Пока шла война и пока Зангиев оставался в родном полку, дело ограничивалось лишь тем, что где-то пропадали почти все написанные на него награжденные листы. Но после окончания войны его неожиданно перевели в другую дивизию, а потом совсем уволили из армии.

Владимир Зангиев не сдался. Он стал бороться за свое право летать, за очень дорого оплаченное право носить форму советского военного летчика. Его не оставили одного: братство бывшего 7-го гвардейского Севастопольского орденов Ленина и Красного Знамени штурмового полка продолжало существовать и в мирное время (оно существует и сейчас).

Зангиев был восстановлен в армии и еще больше десяти лет летал сам и учил летать других, пока не стали напоминать о себе старые раны («Это от спокойной жизни», — уверял он). Но совсем расстаться с армией он не мог. Ныне Владимир Зангиев — председатель Северо-Осетинского комитета ДОСААФа.

Я познакомился с Володей в 1944 году, на 2-м Белорусском фронте, после его возвращения из партизанского отряда. Наша встреча произошла на полевом аэродроме, когда Зангиев готовился к боевому вылету, первому вылету после двухлетнего перерыва. Я побеседовал с ним в качестве корреспондента «Фронтальной правды», а приехавший со мной из редакции Слава Шаровский сфотографировал его, и мы пожелали ему счастливого полета.

Из полета вернулись все, кроме Зангиева. Проходили часы, а его не было, и не было никаких вестей о нем. Мы решили остаться в авиаполку на ночь. В эту ночь мне не удалось заснуть. Хотя я лишь за день до этого увидел Зангиева, мысль о том, что на него могло опять навалиться самое страшное, причиняла мне физическую боль.

Утро не принесло ничего нового, и мы с тяжелым чувством покинули авиаполк. На всякий случай я попросил позвонить в редакцию, если что-нибудь выяснится. Через несколько дней меня позвали к телефону, и я с огромной радостью узнал голос Володи. А еще через день во «Фронтальной правде» появилась мой очерк «Вторая жизнь Владимира Зангиева». Украсив очерк таким заголовком, я отдал дань литературному трафарету. Это было плохо хотя бы потому, что жизнью у Зангиева было гораздо больше и — соответственно — больше смертей.

После войны я долго не встречался с Зангиевым. Мне было известно лишь то, что он дождался, долетал до Победы... Посвятив ему главу в своей вышедшей в прошлом году книге воспоминаний «Наедине с прошлым», я закончил эту главу вопросом: «...как живет он после войны, как сложилась его новая, мирная жизнь, не знаю — какая по счету?»

Вскоре пришло письмо от бывшего командира 7-го штурмового полка полковника в отставке К. Н. Холобаева. Константин Николаевич писал: «...Володя жив, здоров, живет на Кавказе. Его адрес: г. Орджоникидзе, Северо-Осетинская АССР, ул. Джанаева, д. 44а, кв. 50... Последний раз с ним встретился в Москве в день двадцатилетия Победы — 9 мая. Собрался весь полк. Собственно, бывших военнослужащих полка было 71 человек, но у нас на празднике были и наши жены, и дети, и даже внуки были родители и родственники погибших, общим числом человек 350. Был и В. Зангиев — я его зову «черт горелый», так и он подписывается в письмах ко мне...».

Почти одновременно я получил теплое письмо и от бывшего командира эскадрильи Зангиева Героя Советского Союза В. Б. Емельяненко. А потом ночью позвонили с междугородной: вызывал город Орджоникидзе.

Зангиев сказал мне так, словно мы расстались не двадцать два года тому назад, а вчера или позавчера:

— 5 ноября ты должен быть в Осетии...

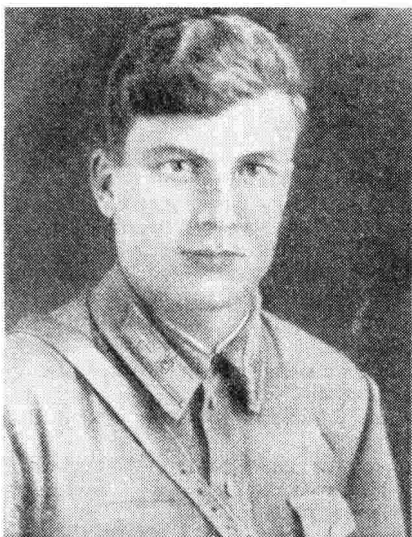
— А что будет пятого — твой день рождения?

— Нет. То есть да. В этот день мы должны быть с тобой в Хаталдоне...

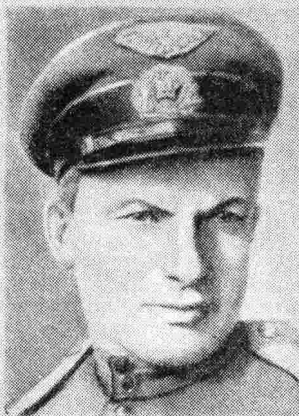
Как я мог забыть о том, что случилось с ним 5 ноября 1942 года! Я подумал о всех висящих надо мной срочных делах, понял, что не имею права ехать, и ответил Володе:

— Еду!

На вокзале в Орджоникидзе меня обнял молодой, совсем молодой человек в штатском (седина скрывала тень от шляпы). Положительно, два десятка лет ему не прибавилось, а убавилось: когда мы встречались на фронте, сразу после его страшных испытаний, мне казалось, что этому суровому, молчаливому летчику по меньшей мере за сорок...



ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВЛАДИМИРА ЗАНГИЕВА

[illegible]

1. 1990年12月25日，在俄罗斯联邦人民代表大会上，叶利钦当选为俄罗斯联邦第一任总统。



На снимках: сверху: (слева) — младший лейтенант В. Зангиев (фото 1942 года). Рядом — фотокопия очерка из «Фронтовой правды» (1944 год). В центре справа — Фаруз Басаева, которой Зангиев обязан жизнью (фото 1966 года). Внизу Владимир Зангиев с матерью в 1941 году. Внизу слева — они же четверть века спустя.



Володя познакомил меня со своей матерью Ольгой Гавриловной, с женой Ниной Викторовной и дочками Валентиной, Людмилой и Ольгой. Познакомился я и с его многочисленными друзьями, которые собрались, чтобы поехать вместе с нами в Хатаддон.

И вот мы в Хатаддоне, в том самом доме, в той самой комнате, где истязали Володю фашисты и где боролись за его жизнь, рискуя своими, Ануш и Фаруз.

Ануш уже нет в живых, и гостей принимают Фаруз и ее сын Борис (он главный агроном хатаддонского колхоза «Ленинец», закончил институт, готовится в аспирантуру). Гости много, очень много — они приехали в автобусе и на нескольких машинах из Орджоникидзе и сошлись со всего селения. В комнате поместились только гости и старейшины Хатаддона, а остальные — в сенях и на дворе. Конечно, людей меньше, чем собирается в Священной роще, но когда произносятся тосты и все по старинному осетинскому обычаю откликаются на заключительные слова здравицы в честь гостей, в честь Фаруз, в честь Хетага-Зангиева, то, наверное, эхо перекатывается в подступивших к самому Хатаддону горах.

С Кавказского хребта уже давно спустилась ночь, а тосты продолжают звучать. Каждый — вдохновенная речь о человеке, о его не всегда счастливом прошлом и счастливом, обязательно счастливом будущем, в этом здесь не сомневается никто. В каждом тосте и поэзия, и юмор, и отражение сегодняшних

былей, и отзвуки старинных легенд. Впрочем, и легенды, если их создает народ, не просто плоды фантазии. В основе их тоже правда, воспетая народом и ставшая бессмертной.

Однако, каким бы ни было все это красивым и волнующим, пора и честь знать. Я не замечаю на изрезанных морщинами лицах стариков ни малейших следов опьянения, и голоса их звучат все более молодо, но у меня-то нет такой закалки. Я шепчу об этом Володе, и он говорит, что выручить меня может только шутка. Тогда я обращаюсь к хозяйке:

— Дорогая Фаруз! Отпустите меня с миром, чтобы мне не пришлось в Москве рассказывать: когда в ваш дом вносят полумертвого, он выходит отсюда живым, а когда входит живой, его выносят полумертвым...

Немудреная шутка имеет успех: меня отпускают с миром.

Володя провожает меня. И снова я вижу на руле его крепкие, так много испытывавшие руки со следами рубцов и ожогов. Я опускаю боковое стекло. Володя улыбается.

— Дыши, — говорит он, — дыши глубже, это же воздух Осетии! Здесь каждый вдох — лишний день жизни. У нас есть легенда...

Я слушаю его и думаю: неужели он не понимает, что он сам — легенда, одна из самых славных легенд Осетии?

Валентин Кузнецов



Садовая баллада

Я рос на глазах у беды
Упрямым, колючим, ершистым.
Тряслись в лихорадке сады
От нашего буйного свиста.
В оглобли встречало село.
И нам доставалось, бывало.
Меня, как на речке весло,
Крутило, швыряло, мотало.
Но нежилась ветер в трубе,
В соломе огонь занимался.
И все же я верен себе
И сельской братве оставался.

Пусть годы однажды спиной
Ко мне повернутся...
Но только
Тяжелое детство со мной,
И я не жалею нисколько.
Суровое детство со мной.
И я позабуду едва ли,
Как яблони все до одной
Фашисты у нас вырубали.
Стальными ножами звеня,
Они проходили садами.
Казалось, рубили меня,
Топтали меня сапогами.
Когда растекался туман,
Мы в лес уходили проворно.
Без промаха бил партизан,
И падал эсэсовец черный.

Ребята,
Друзья,
Огольцы,
Ау, дорогие братишки!..
С войны не вернулись отцы,
Не все возвратились мальчишки.
Под Курском,
У Брянска,
В Крыму,
На жестких дорогах российских
В седом неопавшем дыму
Стоят обелиски.

Под яблоней сумрак разлит,
Мерцает звезда из металла.
Но жизнь над садами шумит,
Хоть время сады потрясало.



Элла Черепанова

Короли и капуста

Рисунки В. Бланкмана.

За что мы кланем быт?

За то, что он нас, молодых и активных, делает менее молодыми и менее активными.

Мы приговорены к своему быту. С неумолимостью почти физического закона диктует он ритм, вычерчивает самую линию нашего существования.

В городе, особенно в большом городе, где на всем проступает знак власти индустрии, где люди сходятся крупными множествами, чтобы делать общую работу на заводах, фабриках, в научных институтах, — в этом самом городе каждый из нас тянет в одиночку лямку кустарного полунатурального хозяйства. Мы управляемся в своем доме за целый штат: мы — повара, уборщики, прачки, няньки, ремонтники, заготовители, доставщики... При общей нашей тоске по жизни разумной и целесообразной, при вечной нехватке времени и погоне за ним мы и неразумно и нецелесообразно губим его в работе, которую никогда не в силах выполнить быстрее и лучше, чем дипломированные повара, обученные и вооруженные техникой прачки, сдавшие экзамены на разряд портные...

Быт пытается раздробить нашу личность, сожрать время, нужное для собственно жизни: для общения, творчества, отдыха, любви. И это ему — спросите у социологов — вполне удается.

Наш быт вскормил могучую юмористическую литературу, не обидел и кинематограф. Вспомните куплеты о кафе, комедии о столовых, юморески о чайных. (Я бы даже термин для этого жанра предложил: «отчаянная литература», беря за исходное слово «чайная».)

Потом настало время, когда не только эстрадники и юмористы, но и ученые заинтересовались этим нашим хроническим недугом. Они дали объяснение, попытались, можно сказать, написать летопись болезни. Из нее, из этой летописи, следует, что в экономике образовались ножницы между тем, что тратится на производство, и тем, что расходуется на личное наше потребление и комфорт. Почему? Причины непросты. Тяжелое в прошлом положение в тяжелой промышленности. Неурядицы в сельском хозяйстве. Война... Деньги приходилось изымать для нужд, которые были значительно насущней, безотлагательней, чем нужды сферы комфорта. Есть

впечатляющие цифры: в 1950 году 50% производства шло (прямо или косвенно) на личные наши потребности; в 1958 году — уже 45%, а в 1963-м — только 40%. Как видно из работ экономистов, корни бытовой проблемы уходят в глубокий временной пласт. Мы вынуждены были пожинать уже результаты...

Но живой нынешний интерес к этой теме, публичное ее обсуждение и изучение, важные практические шаги — все это выглядит добрым предзнаменованием перемен.

И в самом деле: строят и открывают новые кафе, ателье, фабрики и комбинаты — гиганты быта. В желании комфорта теперь не уличают, как в постыдном недостатке, напротив, это желание огромных масс людей принято во внимание: услуги планируются. Мы узнаем из печати, что за пятилетку всяческих «филиалов рая» для домохозяек, допустим, выстроят вдвое больше, и можно быть уверенным, что план строительства будет даже перевыполнен. Возникшие из волн назревшей потребности народа республиканские министерства бытового обслуживания сулят журавля в небе сделать синицей в руке. Их триумф выразится в том, что «рай для домохозяек» будет превращен в заурядное явление повседневности.

Как в этом преуспеть? Читаешь или слышишь по этому поводу иногда рассуждения такого сорта: «Нам бы пяток-другой энтузиастов! Чтоб зажгли коллектив, повели его за собой — с огоньком, с задором! Вот у нас в прачечной номер такой-то комсомолец Иванов взялся, и...»

Читаешь все это и думаешь: ну сколько же можно! Доколе мы будем верить, что организация дела целиком зависит от отдельных энтузиастов? К тому же энтузиастов у нас хватает, нечего жаловаться. Можно бы назвать десятки имен, но опасно: список все время меняется. У многих молодых энтузиастов-бытовиков пыл после некоторой практики охлаждается до минусовой температуры, и приходится их из списка вычеркивать. Впрочем, есть и «морозостойчивые». Преданные, несмотря ни на что, привязанные к делу. Это, как правило, мастера, артисты. Короли. О них я расскажу особо.

Для нас, положим, приготовление супа — вынужденная уступка желудку, необходимая, но досадная трата времени, а для него, для такого вот повара-«короля», верите ли, — альфа и омега творчества, форма самовыражения! Я несколько не преувеличиваю. Судите сами. Один такой кулинар, например, создал и опубликовал следующий «Этюд о супе»:

«Не кладите овощи в бульон сырыми. Из них улетучиваются вкус и аромат. Пассируйте! Когда вы пассируете, например, морковь, жир окрашивается в оранжевый цвет. Это улучшает внешний вид супа, так как плавающие на его поверхности блестящие жиры, будучи окрашенными, лучше гармонируют с цветом бульона и окраской овощей, входящих в суп».

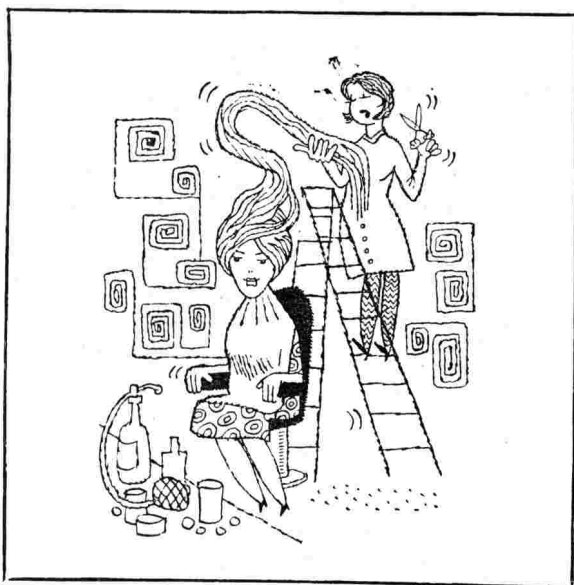
Гармонирует с цветом овощей... Не более и не менее!

Конечно же, суть не в том, что нет у нас «королей». Суть в том, что «некоролей» больше. А «некороли», они и ведут себя не по-королевски: всячески нарушают гармонию цвета, вкуса и аромата, хамят, выпрашивают чаевые, ловчат и обсчитывают, плохо делают свое дело, обрекая нас на кустарный единственный способ хозяйствования. Журналисты допекают хозяйственных тузов:

— Почему «королей» мало?

Тузы объясняют:

— Десятиклассник нынче такой! Не хотят наши «принцы» с «принцессами» ни у плиты стоять, ни башмаки шить, ни чужие кудри завивать. Им космос



подай, лазер, в крайнем случае — счетную машину. Брезгует молодячка прозой жизни.

Скажу откровенно, что мнение это долго разделяла и я. Тем более что и социологи тоже признавали: от так называемых неромантических профессий, мол, молодежь отпугнули, ее и калачом теперь не заманишь. И высказывали по этому поводу большую тревогу, так как для obsługi по нынешним временам ежегодная потребность в кадрах велика и насущна, как никогда прежде. Да и сама я, часто встречаясь и беседуя со школьниками, как-то не замечала, чтобы целые классы бредили профессией повара или делом мастера ателье. Другое дело — литература, математика, кибернетика или астрономия. И все-таки во всем этом — лишь полправды.

Как-то осенью зашла я в одну новую «бытовую точку». «Точка» была поставлена на улице 1812 года, сразу за Кутузовским проспектом. Парикмахерский салон; типовой двухэтажный Дворец быта, без стен, вместо них — сплошное стекло.

Я пришла в серый, ненастный день. Салон был наполовину пуст: вместе с солнцем исчезла и большая часть клиентов. Модные воздушные «замки» на голове — они для ясной, теплой погоды, когда не нужны ни плотные шапки, ни теплые шарфы. Осень — предвестие «мертвого сезона». Оглянулась на мастеров: почти сплошь очень молодые девушки и женщины. Заметила и двух парней. «Принцы» и «принцессы», они были тут, в самом логове «неромантики». Первой, с кем я познакомилась, была Галя Шандарина, маленькая, рыженькая девушка, с очень мягкой манерой двигаться, говорить, улыбаться. У нее в кресле сидела клиентка, длинноволосая, белокурая, как Лорелея, и Галя двигалась вокруг кресла, как спутник, высоко поднимала в маленьких быстрых ручках длинные пряди.

Я стояла, наблюдая, как из соломенного хаоса возникает хитрая архитектура вечерней прически, как на простенькое личико девчонки с белокурыми волосами уже ложится отблеск будущей царицы бала, — даже шея ее сама собой как-то горделиво выпрямляется, будто предчувствуя грядущее торжество, и на губы просится особенная, чуть надменная улыбка. Но боже мой, каких усилий стоило это превращение! Через 10 минут руки у Гали затекли, расческа тону-

ла в соломенном пушистом гнезде. Каждую прядь нужно подчинить новой форме и «залачить», а это нелегко, потому что и «лачница» у Гали самодельная и лак, если правду сказать, «французский», что на парикмахерском жаргоне означает «канифолевый», личного производства. И схватывает не шибко. Челка у «дамы Лорелеи» не смотрится. Галя экспериментировать: может, зачесать вбок? Уложить «скобочками»? Завить? Клиентка морщится, дергает плечиком. Время идет.

Впрочем, куда его девать, время-то? Все равно... Пусто в зале. Вот уже и темнеет. Зажигают свет. Девочки-мастера причесывают друг друга от нечего делать. Одна села под сушку в халате. Галя на мгновение отворачивается от клиентки, укоризненно качает рыжей головкой: она бригадир, у нее «глаза на затылке».

Наконец, все кончено. «Дама» встала, прошла к кассе. Галя уныло глядит в карточку — 1 рубль 40 копеек. Вот и все. Только что открыла карточку, а скоро смене конец, и никто не идет. Проклятое ненастье, проклятый холод. Плав-то, между прочим, от холода почти не сжимается. Железней железа и стальней стали этот план, рассчитанный, очевидно, на идеальное устройство, идеальных мастеров, идеальную погоду.

Иначе разве держали бы зарплату мастеров на цепи «дневного урока»? Три рубля с десяти — вот доля мастера в прибылях. Без малого третья часть? Не так уж плохо. Но как заработать эту десятку? Вопрос! Погоду тут делает не одно солнце. Я осмотрела сверху донизу весь этот огромный, современный комбайн быта, обставленный и устроенный с невероятной щедростью и роскошью: два этажа, сверкающие зеркалами, прекрасные подсобки в полуподвале, там же — оборудованная по последнему слову радиорубка, а в ней магнитофон, запас пленки, пластинки. На первом этаже — кабины для педикюра, на втором — косметика, маникюр. На лестницах — ковры, в салоне — мебель самых современных цветов и конфигураций. Огромный парк бытовой техники: сушилки для волос, сушильная камера для белья, бельепровод, по которому грязное белье спускают со второго этажа прямо в подвал, кондиционер с увлажнением воздуха, подъемный лифт, холодильники.

Словом, в 360 тысяч новыми еле уложился. Дворец! Но без лишней саморекламы. Воздвигнут воздвигли, однако не с тем, чтобы назойливо лез и кидался в глаза прохожим, а так, по-скромному, за домами, спрятали в потайном кармане улицы все 360 тысяч.

А вот где-нибудь на улице Горького, Арбате или у Курского вокзала в маленьких и тесных коробочках-парикмахерских люди жертвуют целые часы неукротимой потребности быть красивыми и ухоженными, а этот наш дворец стоит роскошный и пустой.

Строили-то его не парикмахеры, а Моспроект, а у них свое хозяйство, свои планы, свой шесток, и с этого шестка не видно, что будет с новым предприятием, зависящим от произвольных потребностей прохожих и проезжих, если его от них просто спрятать.

То есть бывают, значит, случаи, как ни дико, когда финансовые неурядицы планируются заранее. Киевский район, на плацдарме которого разворачиваются описанные действия, — один из самых больших в Москве: его хозяйство — от Смоленской площади до поселка Рублево, за которым в последние годы выросли совершенно новые улицы, кварталы, поселки.

И вот в каком-нибудь густонаселенном 95-м квартале мамы и бабушки сердятся, что буквально негде даже ребенка постричь — вези его специально в

центр, а в Мазилове новый салон, родной брат уже описанного, буквально отбивает хлеб у расположенной рядом парикмахерской 33, которая и так уже который год ходит в нерентабельных. Судьба ей выпадает в конце концов известная, как 5-й, 17-й. Они уже завершили коммерческое свое угасание и исчезли.

Один умный молодой заведующий парикмахерской, Марк Берман, сказал:

— А вы пощупайте китов, на которых мы стоим. Это же абсолютно устаревшие киты! Вот есть принцип: на каждую тысячу человек в городе должно приходиться два парикмахерских кресла. Почему два? Непонятно. Ну ладно, пусть два. Но где стоит та тысяча человек, а где те два кресла — тоже никому не важно. В смысле плана за образчик взят Свердловский район. Так это же центр, там можно иметь план, там можно строить салон! А поезжайте на Можайку! Салон там в доме 100 — боже мой! — 500 квадратных метров полезной площади, гостиницу можно делать — и стоит, представьте, как король среди свиты: вокруг еще три парикмахерских. И вот скоро там еще два салона откроют. Уже сейчас все знают, что они будут нерентабельные. Нужны они? Как шишка в голове!

Теперь я опять вернусь к Гале Шандариной и ее коллегам, которые стоят у кресел, далеко отставленных от потребителя, — стоят и смотрят в пустые карточки. Что это за кадры? Откуда они тут взялись? Кто приманил?

Не школа, конечно.

В школе учили, что прямой путь в жизнь лежит через вуз, завод, военное училище. А работать в ресторане, парикмахерской, химчистке — это значит загнать себя в угол жизни, не взлететь. Но вот у недавней школьницы Веры Богдановой, например, тетя — мастер на Соколе. И тетя не выглядит загнанной в угол. К ней стараются попасть модницы, они верят ее рукам, ее вкусу, ее слову, называют тетю художницей. И тетя неплохо зарабатывает. И Вера хочет подражать тете вопреки тому, что говорят в школе; ей нравится в парикмахерской, она чувствует, что пальцы у нее гибкие, а глаз схватывает новую линию прически, воображение прикидывает ее к тому типу лица и к этому... Нравится ей быть и среди людей — на виду, как на сцене, — это заставляет быть подтянутой и по возможности красивой... Словом, Вера пошла не в вуз и не на завод, а в училище, где готовят парикмахеров, и там ей преподавали эстетику, санитарию и гигиену и, конечно, теорию и практику парикмахерского дела. Ей платили стипендию, и она сдавала экзамены, проходила стажировку. Вы видите, что дело поставлено не шалая-валяя, и таких, как Вера, много: в училище, где готовят парикмахеров, поступают после значительного конкурса. Так что, оказывается, не так уж молодежь чурается «прозы жизни». Галя Конская, Галя Шандарина, Люся Лазарева, Эдик Афонин — они прошли тот же путь. Есть тут Зоя Самойлова, которая работала гримером в цехах Большого театра, есть парень, который собирается стать театральным парикмахером-гримером. Галя Шандарина, да не она одна, мечтает о курсах модельеров причесок. В общем, у людей есть склонность к этому виду труда, они не ремесленники, не «холодные сапожники», они пытаются заставить звучать в себе творческую струнку. И тем не менее вот цифры: за 6 месяцев сюда поступило 100%, ушло 42%. Почти половина... Значит, вот как обстоит дело. Не то что молодежь не идет в службу, она не задерживается там.

Почему?

Галя Конская объясняла так: «Зимой живу за счет

мамы, как захребетница. С моих денег не проживешь...»

Я привела высказывание именно Гали Конской потому, что она после школы переменила множество профессий и нигде долго не задерживалась: все было не по ней. В парикмахерской, однако, ей «показалось». («Сама на себя удивляюсь. Интересно! Когда есть работа, колдуешь целый день, не заметишь, как время прошло».)

Так что мешает Гале Конской работать там, куда ее наконец привело призвание? «Устаревшие киты», о которых говорил Марк Берман. Не убита еще, как видно, до конца в нашем хозяйственном стиле этакая надменность к мелочам, к копейкам. «Мы-де не кушоники». И поэтому можно поставить салон на 360 тысяч новыми, но в кабине для педикюра не сделать к ваннам подножки копеечной стоимости (а клиенты не желают держать по часу ногу на весу и не идут в роскошные эти кабинеты).

Можно доверить заведующей огромное хозяйство и большой коллектив в сотню людей, но нельзя по какой-то необъяснимой причине дать право самой покупать, допустим, парфюмерию для салона. Этим летом, в разгар работы, на базе не было лака, но в магазинах, буквально напротив салона, его продавали. Однако купить нельзя: не положено. И чтобы не стопорилось дело, производили свой, дешевый, «канифольевый». Инструменты в монументальном Дворце быта мастера покупают на свои деньги. При мне девушки «скинулись» на расчески с хвостиками, которые «выбросили» в универмаге «Москва», и отрядили туда посланницу. Заказывают «левакам» лачицы, просят приносить сетки «дядю с улицы». В чудесном царстве быта мешают «давать план», давать настоящую прибыль и быть полезным людям сущие мелочи: отсутствие хороших щеток, бигуди, шпилек, «невидимок», приколов. Клиенты обязаны приносить все с собой, а на нет и суда нет: никто не возьмется их причесывать без «оснащения».

Работать в салоне трудно.

Стеклопленочные стены легко накаляются летом и прекрасно пропускают холод зимой. Целую смену приходится отбивать на ногах. Кроме необходимости применяться друг к другу, нужно устанавливать контакт с постоянно меняющимся коллективом клиентов. Это требует нервного напряжения, тем более что приходят люди очень разные, часто озабоченные, спешащие, легкораздражимые. Обеденного перерыва мастерам не положено, убегают есть по очереди или гоняют кого-нибудь за булками и колбасой. Буфета в салоне не предусмотрено. Если есть клиенты, то едят на ходу, буквально над головой посетителя, — обходятся месяцами без горячих обедов. Воскресенья парикмахерам тоже не положено, из-за этого приходится держать подменных мастеров, кассиров, уборщиц, влезать в лишние расходы; наконец, это портит и личную жизнь.

Чего греха таить, когда юноша или девушка предлагают на работу в ресторан или парикмахерскую, знакомые решают: «На чаевые пошел... Золотое дно».

Но с чаевых нынче не очень-то проживешь. Чаевые — своеобразная форма взятки — практикуются тогда, когда клиента берут за горло обстоятельства: например, очереди, недостаток квалифицированных мастеров и т. д. Но в таком салоне (вот на улице 1812 года) или тем более в какой-то нерентабельной парикмахерской посетитель и без чаевых дорог и ждан: он редок.

Теперь посмотрим, с каким планом и какой зарплатой приходится иметь дело молодому мастеру. Одинадцать рублей в смену — вот его производственное задание.

Парикмахеры стараются быть в курсе моды. Осведомленность их носит самостоятельный характер: из журналов мод, иногда — туристических поездок, очень редко — из специальных альбомов, которые вроде и выходят, но как-то до парикмахерских не добираются (тем более до посетителей). Но так ли, иначе ли, молодые мастера все-таки информированы о том, что есть новация, а что — вчерашний день, однако сведениями своими делиться с клиентами им, в общем, невыгодно: расценки не велят. Потому что давно вышедшая из моды шестимесячная завивка стоит примерно 3 рубля, а выходящая из моды химическая укладка — 5 рублей 60 копеек. Модная же укладка любой сложности — всего 50 копеек.

И вот наступает состояние нравственной борьбы. О чем думать: о «голове» живого постороннего человека или о своей? Своя перевешивает. Говоря словечком Райкина, за «качество» денежного поощрения все равно не будет.

Вот тут все начала и концы воспитательной работы, сознательности, мастерства и прочее. Естественно, что мастера готовы уговорить вас сделать не самую модную, а самую дорогую прическу.

Микроскопические, нереальные нормы краски, шампуня, лака «в расчете на одну голову» тоже вычислены каким-то мудрецом по таинственным законам непонятной практики. Лака положено 8 граммов, шампуня — 25 граммов. Мастера смеются: «Это нормы для лысых».

Многие из мастеров получают высшее образование не по профилю работы. Это логично. Люди жаждут перспективы. Одна учится на библиографа, другая собралась в педагогический.

Положение и ставки у всех одинаковые независимо от населенности района, расположения «точки» и других привходящих, но очень важных обстоятельств.

Однако салон на улице 1812 года не числится нерентабельным. Он напрягается в своих усилиях выжить.

Хозяйничает здесь опытная энергичная женщина — Валентина Васильевна Свешникова, начинавшая свою карьеру в крохотных парикмахерских после войны, когда воду грели еще в бачках на керосинках и приходилось топить печки, работать в валенках. Зимой, стараясь удержать молодежь и занять ее, она лично (и бесплатно) ведет кружок по окрашиванию волос, собирая учеников не только на месте, но вообще по району. Устраивает выездные конкурсы — по клубам. Собирали эти конкурсы большие аудитории, дарили салону рекламу... Пыталась она задержать народ по-всякому: дружными поездками за город, поощрением лучших отпуском, продленным за свой счет; шли в ход для поднятия духа всякие радиомонтажи, радиожурналы, «летучки», кружки. И вот при всех сучках и задоринках умудрилась дать за первое полугодие 500 рублей дохода, хотя весь нижний этаж пустует и оборудование стоит зря: холодно, клиенты там и шляпы снять не решаются...

Вот этими всеми причинами, мне кажется, можно объяснить, отчего молодежь не держится в некоторых отраслях «малой промышленности». Производство комфорта лишь недавно заявило о себе громко, многие болячки ждут еще своих лекарств. Но общественное мнение уже прочно привлечено к проблемам, которые в прямом смысле слова волнуют людей ежедневно.

Стало предельно ясно, что энтузиазм людей зависит не только от хорошей беседы, бодрого призыва или прочувствованной лекции, но и от вкусно стоговленной в заводской столовке тарелки супа, вовремя сшитых в ателье брюк или вернувшегося из прачеч-

ной чистого, бездыр белья. Конечно, отрасли, которой суждено еще расцвести, выгодней всего заполучить молодые кадры — обученные в специальных заведениях, полные энергии, здоровья, подвижные, чуткие к новому. Летом, во время школьных выпусков, к ребятам приходили гонцы от предприятий. Дождом сыпались проспекты профессионально-технических училищ, где черным по белому было написано, что окончившим училище предоставляются льготы для поступления в техникумы и вузы, обещаны были в распоряжение стадионы, водно-моторные клубы, лыжные базы, поминались даже артисты, вышедшие из художественной самодеятельности трудрезервов...

Но о каких специальностях шла речь? Слесарь, токарь, радиомонтажник, лаборант-химик. В пример приводились выпускники трудрезервов: знатная ткачиха, металлург, токарь, сталевар. Продавец, парикмахер значились, по-видимому, в графе «и другие».

Несмотря на то, что этих самых «и др.» всюду не хватает.

В службе есть увлекательные, уже сейчас перспективные профессии, каждая из которых вполне достойна стать делом жизни, заполнить ее целиком. И они нуждаются в «паблисити», в рекламе, в популяризации.

Тут нужны веские живые доказательства. Пусть юношам покажут за делом человека, в которого им, так сказать, советуют превратиться, пусть они узнают его поближе. Пусть они получат возможность взглянуть в свое будущее, представить себе, какой образ обретет их жизнь, ощутить, привлекает ли их та или иная карьера в малопопулярной до сих пор области, даже испытать себя в ней, прежде чем выбрать себе окончательный удел. Один немецкий философ тонко подметил, что «пониманию вещи способствует не откровение, а ее собственный авторитет».

Надо только честно объявить гражданам 17—18 лет, что пути им открыты не все, как у нас привыкли иногда уверять в школе, а только некоторые, какая-то часть путей, зависящая от их развития и, главное, способностей. А то я недавно прочла в сочинении одного пятиклассника: «В нашей стране детям открыты все пути. Я стану, когда вырасту, академиком».

Умение трезво оценить свои возможности позволяет молодому человеку правильно ориентироваться в мире. Он быстро находит себя. Он может стать академиком в своем деле, если он талантлив, трудолюбив, образован, если в нем играет честолюбие молодости.

Знаю одного такого академика. Его зовут Пааво Килемит, он живет в Эстонии — в Таллине. Таллин у нас сейчас своеобразная Мекка комфорта и сервиса, город, где умеют жить. Придя в республиканское министерство бытового обслуживания, я застала в приемной министра Арсения Ивановича Блума множество «представителей». Комиссии и делегации от разных городов и республик осаждают Таллин в жажде набраться ума. Но есть тут что-то еще другое, кроме ума, есть умение правильно построить коммерческие отношения на доверии и уважении, которые проявлены не в плакатах и разной наглядной агитации, а в самой сфере взаимоотношений обеих сторон: авторов услуг и их клиентов. Добросовестность, точность, вежливость — это залог популярности фирмы или комбината, это в конечном счете успех и прибыль.

Недаром говорят, что привычка — вторая натура. Меня буквально растрогало объявление в «Советской Эстонии» от 24 августа: «В связи с подсоединением теплотрассы строящегося Таллинского автобусного парка к действующей теплотрассе Мустамая,

прекращается подача теплоснабжения к жилому району Мустамяэ с 22 часов 28 августа 1966 года до 16 часов 30 августа 1966 года». И уж будьте уверены, что ровно в 16 часов 30 августа теплоснабжения заструилась по жилам Мустамяэ!

Эта точность мне, москвичке, в доме которой десятки раз включали и отключали воду, газ и свет вообще без всяких предупреждений, казалась поначалу почти фантастической.

В таллинской гостинице, где я поселилась, мне сразу вручили уведомление, что я, как гость республики, имею право, предъявив гостиничный квиток, вне очереди сделать прическу в таких-то парикмахерских, сшить себе платье в 10-дневный срок в таком-то ателье, заказать шляпу в такой-то мастерской, могу быстро отремонтировать часы, почистить галстук и отформовать его... И мне захотелось сделать прическу и сшить платье.

У туриста в этой республике множество возможностей оставить деньги в магазинах, ателье, кафе, причем оставить с удовольствием. Это — особое искусство таллинских жрецов комфорта. Они не просто придумывают новые соблазны, они учитывают эстонские национальные традиции, привязанности и создают настоящую индустрию «символов». В Эстонии очень распространены семейные реликвии: кольца, изготовленные по спецзаказу, семейные значки к торжествам. Мебель в новую квартиру вам могут не только перевезти, но и расставить — под руководством художника. Если у вас разбито стекло в окне, вам не нужно, высунув язык, бегать по городу, искать его, везти в такси, чтобы уронить в конце концов у самого дома. Набираете номер телефона — приезжает автобус, в нем стекла и стекольщик. Если нужна няня, уборщица, натирщик полов, снимите трубку телефона, только и всего.

В республике 15 районов, и в каждом есть Дом или Дома услуг — комбинаты быта.

Это крупные хозяйственные единицы: «Лембиту», «Кийр» и т. д.

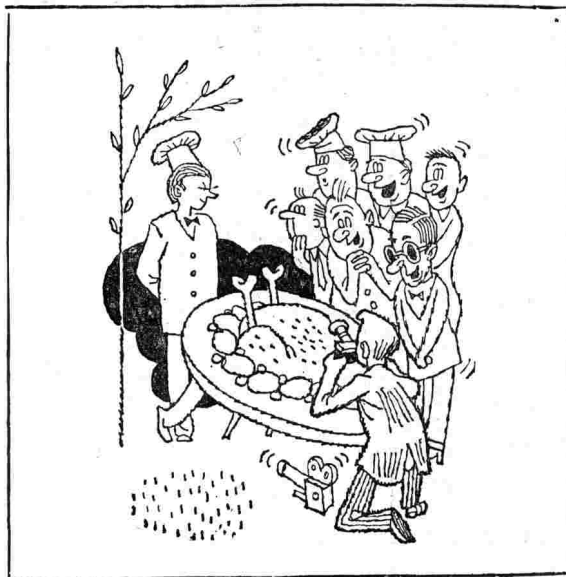
Но метод, которым стараются сделать добро людям, не каменеет в единственной, раз навсегда выбранной форме. Пожалуй, это тот случай, когда приспособленчеству можно спеть «Слався!». Метод, о котором идет речь, разумно гибок, легко и быстро поддается изменениям. Берут на учет всех народных умельцев-надомников и в час, когда грянет очередной залп моды, загружают этих умельцев. Домохозяйки увлекают перспективой получить по 10 копеек с квитанции. Смотришь, и она обежала дом, собирая обувь для починки и помогая загрузить сапожную мастерскую работой даже в мертвый сезон.

Республике нужны 12—13 тысяч людей, которые бы объединили усилия, снимая с плеч своих сограждан ляжки быта. Она имеет 11, то есть цифру, весьма близкую к потребной. Она управляется с делом, оказывая согражданам 250 видов услуг.

Беседа с министром А. И. Блумом, я не слышала жалоб на то, что молодежь «гнушается» идти на службу. Были упомянуты только извечные трудности с сапожным делом, а в общем проблемы молодых кадров для obsługi вроде нет.

Тут мне самое время перейти к Пааво Килемиту — таллинскому кондитеру, который оказывает едва ли не самые приятные услуги из 250: он кормит булочками, пирожками, пирожными, тортами, рулетами, — и всякий, кто придет на чашку кофе в «Тооме», воздает должное угощению и кондитеру. Редкий случай, когда автор, выглядывая из-за кулис, радуется уничтожению своих произведений.

Пааво 25 лет, и он выглядит на свои годы: крупное, характерное эстонское лицо, гладко зачесанные



волосы, темные глаза, сосредоточенно-внимательные. На работе он неизменно в белой куртке, белых штанах и шапочке. Несмотря на просторные штаны, он кажется подтянутым и стройным. Обнаженные руки мускулисты, широки в костях. Он «в форме», хотя живет среди мучного, жирного и сладкого. Сестра Пааво кончила Тартуский университет, она медик. Пааво сейчас собирается в институт торговли, на инженерно-технологический факультет. А почему не пошел сразу? Провалился? Но он и не пробовал, рассудил так: а кто его знает, нужно ли оно ему будет, высшее образование? Потребуется ли его работа? Пааво вообще человек рассудительный. Не рассудочный, а именно рассудительный и всегда принимает во внимание фактор целесообразности.

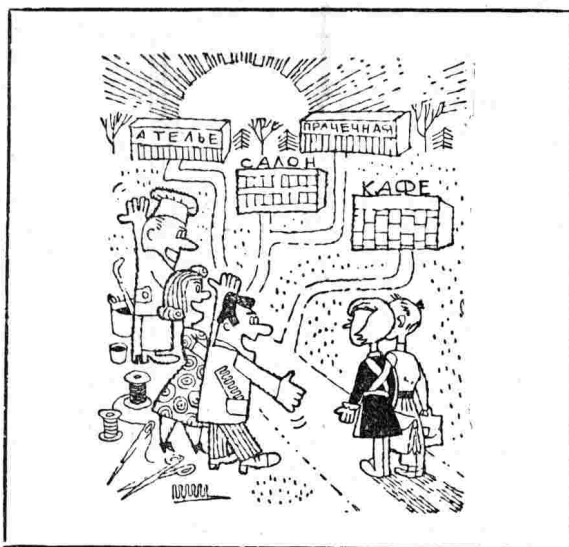
В кондитеры он пошел без драматических переживаний и раздумий о том, «романтично» или «неромантично», почетно или нет.

Может, оттого, что в Таллине кафе не просто еда, а людное и приятное место, как сказано у Хемингуэя, «там, где чисто, светло». Притом он работал даже не в самом ресторане, а в цехе. А цех — это производство, где бы он ни был, и это тоже важный психологический нюанс.

Началось учение. Прежде чем раскусил, нашел ли он призвание, пришлось чистить грязные листы для тортов, резать фрукты, взбивать кремы. Его учили различать с одного взгляда сорта муки, виды изюма, качество масла. Старые «короли» вроде Леонида Хейны, те «парили» — творили заказные фигурные торты с ромом, с коньяком, с миндальной начинкой... Но Хейна был не только прославленный пирожник, он был отличный психолог: он прозрел в послушном ученике будущего мастера и «дал ему ход».

В 20 лет Пааво был выставлен от ресторана «Таллин» на кулинарный городской турнир и разделил с другим кандидатом в «короли» первое и второе места.

Затем Пааво откомандировали в Москву, в «Прагу», и там он тоже много работал и опять участвовал в конкурсе кулинарии, где устроил небольшую кондитерскую шутку. Когда «экспонаты» перед открытием выставки выносили в зал, Пааво заторопили, но он объявил, что его работу уже унесли. Перебрали все торты, шоколадные роги, рулеты. Нет как нет!



Тогда, хитро улыбаясь, Пааво указал на румяного, зажаренного гуся, сияющего крутым боком в отделе «Дичь». Гусь был сотворен из марципана, имитация ввела в заблуждение самих кулинаров. Но конкурс Пааво пришелся не очень по душе, потому что выставлено было не то, что можно ежеутренне вынимать из печей и форм, чтобы радовать людей. Тут все было «уникальное», и «уникальнички»-то первые места и получили. Вышло: искусство для искусства.

Пааво справедливо считал, что в кулинарии и кондитерском деле нужно быть реалистом.

Когда я описывала Пааво, то забыла отметить некоторую озабоченность выражения его лица. Материально ответственные лица всегда имеют такое выражение. На Пааво «висит» всяческий учет, накладные... Мука, масло, орехи, шоколад — взвешенные, перевешенные ценности... Комиссии, ревизии... Неприятностей у него пока не было — не только потому, что Килемит честный человек, но и оттого, что есть у него практическая сметка, жилка. Он умеет обращаться с продуктами по-хозяйски, а это талант.

Живет Пааво за городом, встает чуть не в 5 утра, чтоб успеть смотаться на базу до работы. Если на базе ему предлагают плохие фрукты, он решительно отказывается. У него есть выход: он едет на рынок и там выбирает товар с придирчивостью хозяйки, которая затевает пирог для гостей.

Он берет подернутые дымкой сливы «только с дерева», смородину с росинками, яблоки, которые пахнут яблоками, а не подвалом базы. Он отбирает, взвешивает и бережно грузит. Пааво уже все прикинул: и то, что погода стоит жаркая, а в жару кремные пирожные «не пойдут», а с фруктами — в самый раз. И то, что фрукты сейчас дешевы, так что все сходится. Если 1 кг слив стоит, допустим, 50 копеек, а одно пирожное со сливами — 24 копейки, то это вполне выгодно. И Пааво расплачивается с продавцом, а потом вынимает из кармана белый лист бланка. Это «закупочный акт». В нем отражаются количество продукции и уплаченные деньги. Покупатель и продавец расписываются, директор рынка скрепляет документ печатью и подписью. Таким об-

разом, хозяйственные способности Пааво поддерживаются хозяйственными возможностями, а в этом, пожалуй, три четверти успеха. Пааво немедленно пускает фрукты в дело, и, глядишь, в «Тооме» полно людей, все сидят за чашечкой кофе с пирожными, булочками, застолье длится долго, кофе спокойно выполняет свой «дневной урок». Подается все очень свежее, теплое, «прямо с листа». Булочная при кафе специально работает в ночную смену, чтобы булки были готовы к утру: свежих съедят намного больше да еще купят и унесут домой, к чаю. Ассортимент широкий: 20 различных видов булочек, пирожных, крендельков. Кафе «Тооме» маленькое, на 45 мест, но план имеет приличный — 21 тысячу рублей в месяц. Булочки же стоят по 7 копеек штука, и берут их так же охотно, как пирожные. Тут покрутись... Каждый час должен приносить 18 рублей прибыли.

И крутятся.

Тут он рассказал о самой творческой части своего труда — о том, как придумывает он новые пирожные, сочиняет печенье, проектирует торт. Оказывается, он автор 12 оригинальных работ, все они очень популярны. Некоторые его торты стали широко ходить «на заказ». Гости из Финляндии увозят их даже к себе домой, благо ехать из Таллина близко. Но выдумать новое в кондитерском деле еще не все. Еще надо «пробить» изобретение через республиканскую лабораторию, через кулинарный совет. Пааво считает себя более везучим, чем другие: у него дело идет, — а вот многие коллеги из других кафе, ресторанов посылают свои произведения на испытание, а ответа ждут месяцами и не всегда дожидаются. Постепенно вкус к перемене, к новаторству остывает, люди идут по проторенной колее и не «рыпаются». И тогда на помощь плану приходят бутылки со «звездочками».

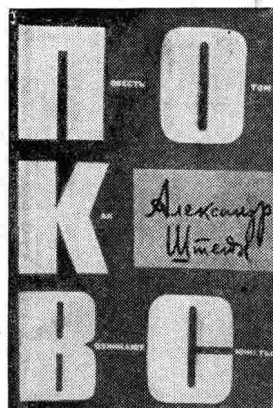
Пааво недавно ездил в Будапешт, на международный конкурс, проводимый в ресторане «Геллерт», и там ему очень понравилось: «Много специалистов». Кондитеры-специалисты, повара-специалисты, кельнеры-специалисты. «Вы видели у нас школу кельнеров? Ну вот... А учить людей пить, а не «хлестать» — это разве не надо?»

— Меня приглашают сейчас в другое место... Будет у нас скоро громадная новая гостиница, огромное кондитерское производство, цеха. Зарплату сулят большую. Но я не хочу. Потому что там я стану технологом. Буду командовать машинами, присматривать за конвейером — и все... А я хочу сам, руками.

Раз в два года Пааво бывает в командировках. Он снашивает пару обуви, путешествуя по городу и заглядывая в кафе. Он ищет, учится. Ему интересно. Это счастливый союз человека и дела.

...Этот врач, а тот рабочий, ты кибернетик, другой повар, а она портниха — все дела связаны общей цепочкой, общей необходимостью и потребностью. То, что одно из важнейших звеньев цепи временно зржавело, вовсе не показатель его ненужности — это сейчас понимает каждый. Когда «капуста» осталась без «королей», никому от этого лучше не стало.

Лично я думаю, что люди ничего не потеряют, если самолетами будут управлять со временем совершенные автоматы, у реакторов — сидеть роботы, а принимать экзамены — электронные профессора. Но в ресторанах, кафе и ателье нам нужно встречать человеческое лицо, людское радушие, теплоту, которая всегда будет отличать человеческое сердце от электронной лампы.



Сорок пятый год... Кончилась ночь фашизма, и над истерзанной Европой взошло солнце мира. «Сорок пятый» — так и называется вышедшая в Воениздат книги воспоминаний Маршала Советского Союза И. С. Конева. Всего несколько месяцев — с ноября 1944-го по май 1945 года — охватывает повествование. Но по насыщенности событиями эти последние месяцы войны стоят многих лет. То было время грандиозных по размаху завершающих операций Великой Отечественной войны: Висло-Одерской, Берлинской, Пражской. Конечно, всю ценность и значительность книги маршала И. С. Конева в полной мере способен оценить только военный историк. Однако и для читателей «Юности», многие из которых родились как раз в сорок пятом, здесь тоже немало поучительного и вдохновляющего. В сдержанных, глубоко искренних строках воспоминаний запечатлена живая история великой антифашистской битвы. За этими строками — наши деды, отцы и старшие братья, шагавшие по дорогам Польши, Верхней Сибири, Бранденбурга. Ценой своей жизни и крови добыли они победу. И когда маршал И. С. Конева пишет: «Сейчас, спустя много лет после войны, как бывший командующий 1-м Украинским фронтом, еще раз снимаю шапку и склоняю голову перед всеми, кто пролил кровь и отдал свою жизнь в этих боях...», — мы понимаем, что это не дань традиции. Неутихающая

боль слышится и там, где автор рассказывает о последних часах штурма Берлина, о боях за Бреслау, фашистский гарнизон которого упорно сопротивлялся и тогда, когда Гитлер покончил самоубийством, когда Берлин был взят и готовилась безоговорочная капитуляция Германии. А последние сражения в Чехословакии? «Когда я бываю на Ольшанском кладбище в Праге, где покоятся прах наших солдат и офицеров, погибших в дни Пражской операции, я с горестным чувством читаю на надгробьях украшенных цветами могил дату «9 мая». В сущности, война уже кончилась, а эти люди погибли здесь, на пражских окраинах, когда вся наша страна уже праздновала победу, погибли в последних схватках с врагами, бесстрашно доводя до конца начатое дело». Они отдали жизнь во имя жизни. Во имя мира.

Об этом книга маршала И. С. Конева — урок и память сражений с фашизмом.

А. КОЛПАКОВ

Поэзия Владимира Соколова развивалась, ни от чего не отказываясь, не изменяя себе, своей цельности, не поддаваясь скоротечной моде. «Разные годы» (так называется книга его избранных стихов, издана «Советский писатель») оставили свой чекан в душе поэта, и он готов держать ответ по самой

строгой, «осенней» мерке: «И, меченный метой нелегких годин, ты с ясностью этой один на один». Соколов — романтик. Но разве бумажные паруса раздувает ветер его романтики? Сказать, что поэзия Соколова человечна, значит сказать правду в самой общей безличностной форме — она на удивление нежная, трогательная, каждый новым образом вызывающая у читателя ответную волну ассоциаций. Каждой строкой она ранит нас, наше чувство, даже если это стихи сугубо «про природу» («А снежок, что над травой хлопочет, так он тает на глазах у всех, будто он зимы совсем не хочет, как не хочет трав последний снег»). Чиста и целомудренна любовная лирика В. Соколова. Любовь в его стихах не идилична, она приносит не меньше горечи, чем счастья, — такова поправка на жизненный опыт. Но внутреннее, непоказное мужество горячей кровью напитало его стихи о любви.

В слове, крепком и простом, нашел, выразил Владимир Соколов себя и свое отношение к тому громадному и бесконечно дорогому, что зовется Россия, Родина.

Хотел бы я долгие годы
На родине милой
прожить,
Любить ее светлые воды,
И темные воды любить,
И степи, и всходы
посева,
И лес, и наплывы
в крови
Ее соловьиного гнева,
Ее журавлиной любви...

Через разные годы бережно пронес поэт веру в людей и добро, в цен-

ности, простые и бесспорные, которые не становятся оттого менее необходимыми всем нам.

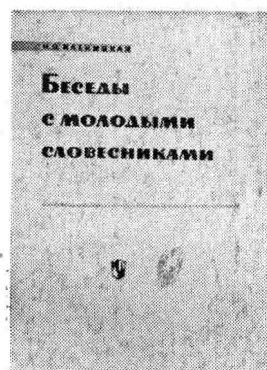
О. МИХАЙЛОВ

Прямая доверительная обращенность к читателю-другу, к его вкусу, уму и сердцу отличает «Повесть о том, как возникают сюжеты» драматурга Александра Штейна (изд-во «Искусство»).

Сюжеты... Сюжеты рождала жизнь. А. Штейн убежден, что очищенная от «мелочей», выглаженная правда, в сущности, уже неправда. Что, пишет он, скажем, о Всеволоде Вишневском иначе, тот «быть может, стал бы помпезней, но непоправимо потерял бы в своей единственности, в своей человеческой, солдатской, какой хотите, привлекательности...».

В людях, о которых пишет А. Штейн, более всего важны ему, автору, верность своему делу, величие и чистота души. Потому не случайно соседствует в книге А. Штейна рядом с писателями, артистами, режиссерами — А. Зониным, Б. Лавреневым, Н. Охлопковым — летчик Вася Очнев, человек скромнейший, немногословный и мужественный, спасший от голода не одного, должно быть, Ленинградца. Рассказы о бескорыстной и деятельной человечности едва ли не самые запоминающиеся в книге А. Штейна.

Вяч. ИВАЩЕНКО



В годы первых советских пятилеток Юрий Жуков работал в «Комсомольск с к о й правде». Впечатления тех лет, очерки, статьи, заметки — основа его книги «Люди 30-х годов» (изд-во «Советская Россия»).

Тридцать — сорок лет, меньше одной человеческой жизни, отделяют нас от того дня, когда в деревне зажглись «лампочки Ильича», на колхозное поле вышел первый советский трактор, поднялись корпуса Харьковского тракторного, Магнитки, Комсомольска-на-Амуре.

Могут ли старые очерки о них, пусть даже с обширными комментариями журналиста, быть интересны сегодня?

Строится ГЭС на Енисее, шахта в Приднестровье, дорога в Саянах, и тысячи молодых людей уезжают сегодня из обжитых мест в тайгу, в степь, в глухомань. Идут эшелоны добровольцев-строителей, как в тридцатые годы.

Как в тридцатые... И не о железе, не о первых тракторах, хоть они нам памятливы, — о родстве душ поколений отцов и детей, об эстафете молодого порыва рассказывает Юрий Жуков, рассказывают старые фотографии, листовки, снимки газетных полос.

Ю. Жуков идет по следам своих записей, за своими героями к нашим дням. Рабочие, десятичники-строители, начинающие инженеры стали сегодня известными конструкторами, мастерами-наставниками, опытными специалистами. Многие и не дожили до наших дней... Но в трагические дни испытаний герои

книги Ю. Жукова оставались верными своему делу, долгу, велениям своей комсомольской совести. Есть чему поучиться нам у них, у живых и у погибших: у «железного прораба» Мельникова, красного комиссара Озолина, первых строителей Комсомольска — Зангиева, Минкина, Качаева, у летчика Грисенко, пограничника Агеева... Жизнь их, дружба, труд и подвиг живы вечно.

В. НОТКИН

Мало, что ли, мучили нас школьною проработкою героев русской литературы, чтобы еще узнавать, как для той же цели натаскивают будущих или начинающих учителей? А вот и не так!

Школьная литература потому так часто убивает в нас радость узнавать великое, что прежде всего дает знания, относящиеся к основам литературоведения — науки о литературе. Но литература — не наука, и нужна она не для того, чтобы произносить слова о ее образах и героях, а потому, что она помогает лучше понимать людей и жизнь и, переживая с автором судьбу его героев, глубже и тоньше чувствовать и мыслить самому. Значит, и готовить надо прежде всего к этому — помогать школьникам мыслить и чувствовать вместе с автором и лишь на этой основе обогащать знаниями. Значит, начните, к примеру, «Героя нашего времени» не с рассуждений о поэте и эпохе, а быть может, просто с вопро-

са: «Вам жаль Печорина?» А потом уже нам самим захочется разобраться, отчего же там все так получилось. И постепенно, при ненавязчивой поддержке учителя, неизбежно возникнут вопросы и о значении книги и о ее месте в истории, да мало ли о чем еще! И ответы окажутся тогда как бы собственным открытием, ибо возрастит их пища, не разжеванная заранее, а завоеванная каждым по-своему.

И вот перед нами книга Инны Клеиницкой, где ведется такой разговор («Беседы с молодыми словесниками», изд-во «Промсвещение»). Может, в ней и нетрудно найти черты наивной прямолинейности — безошибочной приметы истинной веры; специалист, видимо, отметит и пробелы и немало спорного. И все же, если ее невзначай прочтет даже тот, у кого одно напоминание о классиках вызывает зевоту, пожалуй, даже он поверит, что в этом виноваты не писатели. А тот, для кого литература не просто «предмет», а живое дело, наверняка найдет здесь друга и советчика.

Вл. БАРЛАС

Широко известные библейские легенды вышли в великолепном пересказе Зенона Косидовского, польского ученого и писателя («Библейские сказания», Политиздат). Автор пишет о том, как красочна галерея образов библейских сказаний. «Достаточно назвать Самсона, мятущегося, полубезумного, одинокого царя Са-

ула или изысканного и весьма предприимчивого Соломона, который нажил огромное состояние на торговле лошадами и производстве меди». Все чрезвычайно занимательно, полно драматических ситуаций и приключений... «Идиллические сцены... перемежаются картинами кровавых войн, эксцессами разнузданности и разврата, а также эпизодами, которые потрясают своим трагизмом...»

Научный анализ библии высвобождает историю на ее страницах из тумана древней и древнейшей религиозной пропаганды. Косидовский напоминает, что «Ветхий завет тысячами нитей пронизывает культуру многих народов».

Ученые, к собственному удивлению, пишет он, обнаружили, что Библия «является одним из шедевров мировой литературы, произведением реалистическим, в котором бурлит и хлещет через край настоящая жизнь». Просто трудно поверить, что этот калейдоскоп сказаний... «мог возникнуть в столь отдаленном прошлом и просуществовать до наших дней». Словно чудом уцелевший осколок отдаленных эпох, он позволяет нам сегодня заглянуть в самую глубь чего-то подлинно человеческого и непреходящего.

Молодежь ничего не знает о Библии или слышана о ней, как о церковной книге для верующих. Зенон Косидовский открывает современному читателю «Ветхий завет» как не священную, не религиозную, не церковную, а светскую книгу, историческую и высокохудожественную.

Ф. ПУДАЛОВ

Юрий Бондарев

ПИСАТЕЛИ-СОЛДАТЫ



Возможно, будущий историк, исследуя войны, глубоко поразится тому, что во всей истории человечества — от детства его и до зрелости — слишком много дат военных сражений, помпезно отмеченных вех триумфальных побед и тягостных поражений, слишком много подробных жизнеописаний полководцев, цезарей, властолюбивых консулов, жестоких королей, железных императоров, генералов, слишком много тщательных и скрупулезных описаний многолетних походов, нашествий, связанных с возвышением и падением государств. От века лилась кровь, рушились ранние цивилизации, засыпались остатками руин яркие самобытные культуры, заносились песками, выжигались солнцем опустошенные города, превращались в рабов целые народы, исчезали древние государства, перекраивался мир, присоединялись огнем и мечом территории; позднее изысканный язык дипломатов заменялся смертельным языком ружей, пушек, пулеметов, дальноточных орудий, обстреливавших столицы Европы. На мутной волне властолюбия и национализма возникали решительные и честолюбивые бонапарты и канцлеры, воинственно звенели шпорами, неистово размахивали оружием одержимые жаждой завоеваний.

На полях сражений выбивались целые поколения. Равнины Европы покрывались кладбищами, в холодных крестьянских домах кашляли, задыхались по ночам отравленные газами, а в больших городах сверкало разливанное море огней, в сигарном дыму столиц среди пьяного угара шовинизма лилось шампанское, мелькали коротенькие юбочки танцовщиц с мертвенно-бледными лицами, солидно сияли под люстрами лысины политиканов, блестили аккуратные проборы дельцов, сколачивающих на пролитой крови состояния.

Возможно, так или приблизительно так представляются прошлые войны перед мысленным взором историка.

Но потом переворачивается новая страница истории человечества — и, как ослепляющая вспышка, возникнет эпоха Октябрьской революции, гражданской войны, длительная схватка справедливости и свободы со злом, закончившаяся счастливой победой свободы и добра.

И, наконец, Отечественная война, всколыхнувшая весь мир смертельной борьбой единственного в истории социалистического государства с силами фашизма.

Мы, современники, еще помнившие эту войну, прошедшие через нее, только сейчас со всей масштабностью и прон-

зительностью начинаем осмысливать это нечеловеческое испытание огнем, испытание на стойкость и прочность советского народа.

Независимо от возраста можно забыть отдельные эпизоды своей биографии, тускнеют, стираются черты знакомых когда-то тебе людей, даже чуть затухают наиболее ярко отпечатавшиеся в памяти живые картины юности. Но нельзя забыть страницы биографии своего народа — его страдание и его мужество.

Мы понимали, что такое фашизм. И понимали степень опасности, надвигающейся на нас.

Фашизм — это философия уничтожения и разрушения, это злое подчинение разума инстинктам, непримиримая ненависть к добру, это «сила выше права», взгляд на свободно мыслящего человека, как на взбесившееся животное, достойное кнута и смерти, это — педантично рассчитанное убийство миллионов людей, насилие над мыслью, над любовью, над молодостью, это жирно дымящиеся трубы газовых камер, выстрелы в затылок, это — презрительное отрицание совести, как sentimentalности, мешающей нажать спусковой крючок автомата, нацеленного в ясные глаза ребенка.

Историк прикоснется к документам этой свя-

щенной войны нашего народа с фашизмом — и будет потрясен тем, что потрясает нас и сейчас: самоотверженностью и героизмом советских людей; и станут святынями для него их судьбы и их счастье, их жизнь и их смерть.

И это — воспоминания, мемуары, романы, пьесы — память времени.

Потом среди множества документов увидит историк две книги «Литературного наследия» с суховатым констатирующим названием «Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны». Среди огромного материала войны — это лишь деталь, лишь эпизод. Но, прочитав последнюю страницу, он долго будет сидеть в тиши своего кабинета, осознав, поняв что-то еще очень нужное для его исследования, то, что еще не полностью знал и понимал.

Неужели эти люди самой мирной профессии, которая всегда вызывает представление о постоянной тишине, книжных шкафах, письменном столе, безмятежно-мирном свете настольной лампы, не гаснувшей за полночь, люди, призванные сеять семена добра и человечности, как один, с решимостью стали солдатами? И неужели пальцы их, привыкшие с любовью держать книгу, в начале сороковых годов XX века с ненавистью сжимали пулеметные гашетки, твердое ложе автомата, обрызганный нарандаш над потертым, обмытым дождями и темным от окопной грязи блокнотом?..

Да, эти люди, сама духовная сущность которых — мечтать, думать о счастье людей, делать их лучше, чище, благороднее, защищали это счастье, убивая смерти во имя жизни.

Многие из них не вернулись после мая 1945 года.

И многие из них уже не сели за письменный стол. Они погибли на полях сражений, как погибает пехотинец в атаке.

И историк, закрыв книгу, проклятыми словами впишет в свое исследование главу о писателях-солдатах.



Т. Громова, Г. Ронина

ЧТО ПРИВЕЛО ИХ НА ЭТУ ДОРОГУ



Этой статье необходимо маленькое предисловие. Она посвящена криминальной стороне жизни — преступлению. Точнее, преступникам. Еще точнее, юным преступникам. Правомерно ли говорить на эту тему столь широко? Такой вопрос сейчас всерьез уже не ставится: чтобы бороться с явлением, его надо изучить. Чтобы бороться с ним всем обществом (а борьба с преступностью у нас — дело всенародное), надо довести результаты исследований до всех.

В последние годы внимание к проблеме воспитания молодежи у нас стало особенно острым. Изучается влияние всех компонентов: не забыты ни семья, ни школа, ни грузы во дворе. Среди других различных подходов к вопросам преступности возможен и такой: а что думают сами колонисты об истоках и мотивах своего преступления? Особенно когда речь идет не о матером рецидивисте (таковых в среде подростков почти и нет), а о человеке, впервые попавшем в беду. Конечно, такой аспект, такой подход по-своему ограничен, даже односторонен, но он не только допустим, но и, как показывают результаты исследования, социально полезен.

К кому же обращена эта статья? К молодым учителям и к тем, кто собирается быть ими. К комсомольским работникам. К воспитателям и студентам. К родителям любого стажа. Но главным образом статья обращена ко всем юношам и девушкам, к подросткам, которые увидят — не смогут не увидеть, — как неправильно истолкованное понятие товарищества, ложное чувство чести, дешевая погоня за модой, боязнь уронить извращенно понятый престиж и прочее и прочее приводят к беде, подчас непоправимой, к ошибке, расплачиваться за которую приходится порой всю жизнь.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ОНИ САМИ

«В человеческих делах... главное внимание должно быть обращено на мотивы».

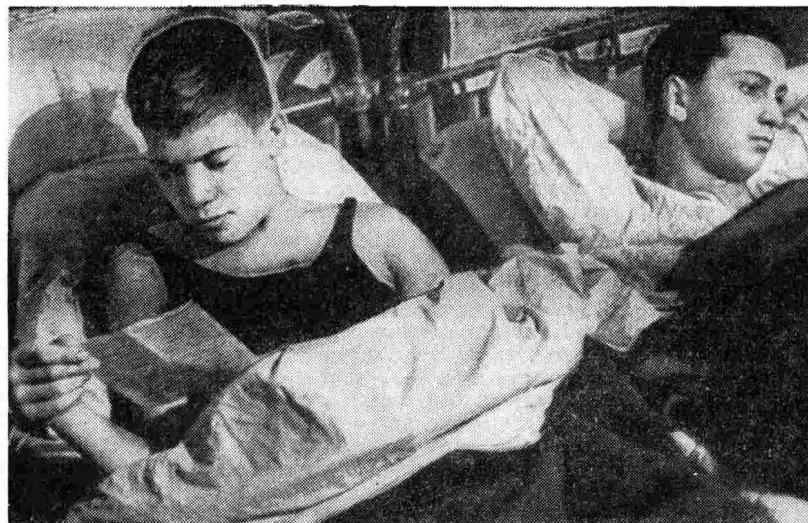
ГЕТЕ.

Когда совершается преступление, у нас, естественно, преобладают чувства гнева, ненависти к преступнику и сочувствия, сострадания к его жертве. Но проходит острота непосредственного впечатления, и столь же естественно возникают и новые эмоции и обязательный вопрос: как могло это произойти? Что могло столкнуть подростка с прямого жизненного пути, привести его на скамью подсудимых и в стены исправительных учреждений? Какие

На странице справа: пять снимков — пять эпизодов из жизни воспитанников детской трудовой колонии. И от первого до последнего — долгая и трудная дорога. Свидание с матерью... Письмо из дома (а сосед не получил письма и грустит поэтому)... Каждодневный труд — лучший педагог в жизни... Исповедь юноши: вот как и вот почему я совершил преступление, говорит колонист.

Присмотритесь к этим ребятам повнимательнее, и вы увидите, как нелегко они размышляют обо всем, что с ними произошло. Вы почувствуете, как они становятся другими и как выходят на свободу действительно С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ.

На снимке вверху — авторы статьи: Г. Ронина (слева) и Т. Громова.



обстоятельства оказываются тут более и чаще всего роковыми?

Множество копий поломано в спорах об истинных и мнимых, решающих и второстепенных причинах преступлений, которые совершаются в среде молодежи. А что думают об этом сами преступившие закон? Каковы их собственные оценки происшедшего с ними, их объяснение мотивов преступления? Как они расценивают себя и свою жизнь? Каковы их жизненные устремления, истинные интересы, типичные психологические черты? Без знания всего этого трудно вырабатывать эффективные средства перевоспитания, точные меры профилактики.

Все это и побудило нас, сотрудников Института общественного мнения «Комсомольской правды», обратиться непосредственно к воспитанникам трудовых колоний — мальчикам и девочкам 15—17 лет — с рядом вопросов, выясняющих: что непосредственно привело их к совершению правонарушения и какого именно? При каких условиях, по их мнению, преступления бы не произошло? Анкета содержала также вопросы, определяющие характер увлечений, жизненные цели колонистов, их отношения в коллективе, в семье, специфику их домашних условий и т. д.

Ответы могли быть анонимными — по желанию, но опрашивались все воспитанники-колонисты подряд, без какого-либо выбора.

Совершенно естественно, что ответы колонистов субъективны, их представления о происшедшем во многом односторонни. Сознательно или неосознанно многие из них оставляют в стороне собственную ответственность за свою судьбу.

Общество устами судьбы сказала им: «Да, виновен». Почти в любой ситуации для человека существует «право выбора». И если он встал на тот, а не иной путь, этот выбор был ЕГО, и только ЕГО выбором. Совершивший преступление должен расплачиваться за него.

Вина его очевидна; очевидна она и для авторов статьи. Однако задача данного исследования — попытаться рассмотреть причины преступности несовершеннолетних через призму их собственного восприятия. Нам хотелось, чтобы прозвучал их собственный голос, чтобы их совокупное мнение о самих себе позволило выявить какие-то новые аспекты этой сложной проблемы.

Некоторые результаты этого опроса мы и представляем читателю сегодня.

ВСЕВЛАСТНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ

Жил-был парень, учился в школе, в 8-м классе. Мечтал стать летчиком, втайне писал стихи и посвящал их курносой однокласснице. Был хорошим спортсменом, нежным сыном, верным другом. Но однажды случилась беда. Подвыпивший друг его, побитый на улице компанией пьяных ребят, прибежал за помощью. Дружба есть дружба. И, не раздумывая ни минуты, тоже выпивший (по случаю Дня Конституции!), наш парень бежит на улицу, прихватив почему-то нож. Финал столь же обычен, сколь и трагичен: одни — в больнице, другие — в колонии (с равным основанием они могли поменяться местами).

История, пожалуй, заурядная и этой своей заурядностью особенно тревожащая. Создается впечатление, что с незначительными вариациями она может воспроизводиться без конца по примитивной формуле, введенной в анкету Геннадия Е.: «Выпил, встретился, поспорил, разодрался». Почти треть мальчиков — воспитанников колонии осуждена за участие в дра-

ках. И чуть ли не каждый объясняет: «Виноват... случай, случайное стечение обстоятельств».

«Мы выпили, пошли по улице, у ребят не было курить. Я подошел к одному человеку, попросил сигарету. Он не дал, с чего все и началось... Если бы он не пожалел для меня одной сигареты, то я больше чем уверен, что все обошлось бы благополучно...»

Одним словом, пропал парень, как говорится «не за понюх табака».

В массе своей объяснения похожи и... нелепы: «Если бы я пошел учиться в тот день, а не пошел бы в клуб»; «Если бы пошел в тот вечер с девочкой»; «Если бы я не отобрал нож у одного парня, то у меня бы не было его, и я бы его не вытащил и не ударил» и т. п.

Парень, осужденный за изнасилование, тоже подчеркивает: «случайность» («Шли, встретили, ну и получилось»). И осужденный за убийство: «Выпили, подрались. И... я не знаю, как на меня такое зверство нашло, опомнись, когда он уже обмяк». Тяжелое, горькое от сознания неоправданности раскаяние вперемежку с непрекращающимся удивлением и некоторым страхом перед собой: «Как я мог такое?..»

Но почему же так легко и как будто неожиданно поступок превращается в преступление? Случай?

И проникаешься ужасом перед этим всевластным распорядителем человеческих судеб. Однако вспомним: случайность — лишь проявление необходимого, его оболочка.

В чем же здесь суть?

ВЛАСТЬ ТЬМЫ

Ребята говорят: «Иногда так хочется подраться», «Вспыхивает ненависть», «Что-то на меня нашло»... И это «что-то» (темные инстинкты, неразрешенная энергия) до предела неуправляемо. Неразбужденный интеллект и крайняя эмоциональная несдержанность формируют характер конфликтный и агрессивный. «Я возненавидел Кочегарова, потому что он сказал, что я украл у него перочинный ножик», — рассказывает Володя А. — И мы с другом выпили водки одну бутылку и пошли в клуб. Там встретили его и побили, друг ткнул его ножом.

Сами по себе неприязненные отношения очень разнообразны. То вдруг обожжет сознание, какой-то своей второсортности: «Меня затронули насмешки над моими товарищами и надо мной со стороны студентов, считавших себя очень умными по сравнению с нами», — пишет парень, работавший на заводе.

То, словно из ветхозаветной старины, — кулачные побоища ребят одного поселка с соседним, одного национального района с другим, своей улицы с чужой. Своя улица — здесь будто начало и конец мира: за ней земля — чужая, люди — враги.

И ненависть к учителям, к школе: «Залез в школу, разбил окна, разлил чернила, нагадил в классе». Но читаем эту анкету дальше: «Поручений не выполнял. Не было способности». С чьего-то голоса эти слова. А слышать о себе постоянно: «Хуже других», «нет способностей» — тяжело. И он устраивает фейерверк: «Вот он я! Вот вам мои способности!» По чьей-то педагогической неграмотности возвращенное чувство неполноценности нашло выход в этом диком приступе самоуверждения.

Вообще стремление утвердить свой престиж в коллективе, поднять значимость собственной личности при явной нравственной незрелости часто оказывается стимулом для совершения правонарушения. Так было и с парнем, который «обещал достать» колесо от мотоцикла: «Хотел честным путем, но не по-

лучилось. Пришлось (!!)... — (оставляем сейчас это «пришлось» на совести шестнадцатилетнего человека)... угнать мотоцикл. Я боялся насмешек. И не пошел бы на преступление, если бы поменьше хвастал и давал обещаний». Так было и с девочкой, которой нравилось, что ее «вся улица боялась и пальцем показывала». Так было во множестве других случаев.

Как естественное следствие нравственной ограниченности выступает и неспособность владеть собственным настроением: «Было скверно на душе. Встретил друга. Он подал мысль, я согласился... А тут подвернулся случай» — возможность ограбить, предварительно изучив, — это строки из анкеты 17-летнего жителя города Шахунья, Горьковской области.

И абсолютно невоспитанная сила воли — неспособность противиться дурному предложению, если даже есть (хотя есть далеко не всегда) ощущение чего-то недостойного: «Мой друг всегда звал меня «на промыслы» — воровать. Мне не хотелось идти, но он звал...»

Тут и боязнь показаться трусом и неумение настоять на своем. Вот почему почти в каждой седьмой анкете указано, что понуждение со стороны товарищей было главным мотивом для участия в преступлении.

И смутное осознание влияния среды: «Если бы вокруг была нормальная атмосфера, я бы не совершил преступления», — пишет парень из Пермской области, осужденный за драку в клубе. Он пришел туда на танцы. Началась драка, он защищал друга, и...

Так подросток оказывается втянутым в ставшие традиционными обычаи, не будучи в состоянии им противостать.

И первые же шаги по этому пути оказываются трагичными.

МИР ВВЕРХ ДНОМ

Из бесед с воспитанниками обеих колоний, в которых мы побывали, выясняется, как примитивны и прямолинейны их представления о человеческих отношениях. Есть извечные понятия, без которых немислима жизнь людская: честь, достоинство, мужество, дружба, любовь, верность... Для большинства вчерашних преступников эти слова как будто превыше всего. Но сколь уродливые, искаженные представления в их сознании символизируют они!

Святое дело — дружба. Слово друга — закон и для Бориса С., 17-летнего рабочего: «Товарища у меня забирали в армию, и я хотел уважить его». А товарищу нужны были дрожжи для пирогов. А дрожжей в продаже не было. И Борис залезает в пекарню...

Добросовестность, служебный долг... Сторожил 15-летний парнишка колхозный сад и был вооружен, как солдат при охране боевого объекта. Полезли в сад мальчишки за яблоками. А раз уж ружье висит, оно должно выстрелить... И его сверстник-сосед остался лежать под яблоней. (Заметим, кстати, что незадачливый сторож понес ответственность один. Тот, кто дал ему ружье и соответствующие напутствия, остался безнаказанным.)

Справедливо и гордое стремление защитить свое достоинство. Но...

«Товарищ работал на фабрике смазчиком, и мастер обзывал его и оскорблял. И он позвал побить его (мастера), и я пошел» (из анкеты Евгения Чечулина).

В одной из анкет этой группы обращает на себя внимание такая мотивировка: «Раннее развитие моего организма повлекло к преступлению. Не совершил бы, если бы был меньше годами...» Вот она, все та

же часто упоминающаяся, но все не решающаяся проблема полового воспитания.

«Трудный» возраст, «переломный» возраст. Это как перевал. Одолеешь его благополучно — дальше твои устремления направятся по верному руслу. Но одолеть нелегко. И случается так, что в один далеко не прекрасный день твой безмятежный мир может вдруг оказаться разрушенным.

Так случилось и с Лидой Ш.

Она мечтала «выучиться на педагога». Любила лыжи, волейбол, плавание, книги. Ей хотелось быть такой, как мама, — «правдивой, честной, трудолюбивой, ласковой, заботливой». И вдруг все оборвалось. Как в дурном сне. Она на скамье подсудимых. Как же это произошло?

Пожалуй, началось все с того самого дня, который раньше или позже наступает для каждого. Стали непростыми, тревожными отношения с мальчишками. Тайны взрослой жизни все больше притягивали. С кем об этом поговорить? Мать вечно занята: работа, кухня, магазины. Отец? Он относится к ней довольно равнодушно. Как к нему подойти? Стыдно. Одноклассники? Они и знают-то не больше, чем она. Учительница? Подумать смешно. Застыдит, да еще, может, и «всенародно». Остается улица, двор. Ее тянет к взрослым парням. Случайные разговоры только разжигают любопытство. И вот в один из весенних вечеров она знакомится со своим будущим «другом». От него она узнает, «что есть любовь». Правда, совсем не похожая на то, как об этом пишут в книгах, совершенно непохожая. Все проще, прозаичней, страшней...

Приходилось скрываться от родителей. Иногда становилось страшно, находила тоска. Хотела все бросить, начать жизнь сначала. Но не было сил. «Друг» вытеснил все интересы. Как-то незаметно для себя стала даже гордиться своим «положением». Свысока смотрела на девочек...

А потом узнала, что ее «друг» — вор. Но порвать с ним уже не могла. Махнула на все рукой. Сейчас хорошо. А потом... «С ним я не воровала. Но после того, как его посадили, я пошла по его стопам. Мне было как-то все равно, посадят меня или нет, потому что сидел он».

Из анкеты в анкету девочек-колонисток звучит объяснение: «Если бы у меня был другой друг...» «Если бы он не принуждал меня доставать ему денег...» «Я бы не совершила преступления, если бы у меня был другой друг, а то мой сожитель был вор...»

Ответы подсказывают, что для большинства воспитанниц преступление тесно связано с ранней половой жизнью. Ясно, что девочке труднее выйти из круга общепринятых норм морали. И если уж они нарушены, значит, в ее сознании действительно перевернулся мир.

Можно сетовать на безнравственность молодежи, удивляться легкости отношения к девичьей чести, невоспитанности чувств. Но нельзя забывать, что наша педагогика все еще остается «бесполой» и, видимо, долго еще останется таковой, судя по тому, что в перспективе не намечается никаких сдвигов; в педагогических институтах нет и намека на изучение хотя бы небольшого соответствующего курса. А природа, гонимая в дверь, входит в окно...

Одностороннее, уродливое развитие девочек, их повышенный интерес к проблемам пола, трансформированный в погоню за тряпками, убогими развлечениями, «тяга к взрослым» имеют свое отнюдь не фрейдистское объяснение.

Это результат определенного духовного вакуума, интеллектуальной инфантильности, абсолютной гражданской незрелости.

«ЗАЧЕМ ТАК МНОГО СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ!»

Сорок процентов колонистов ответили, что на правонарушение их толкнула скука. Самый высокий процент таких ответов — из небольших городов, самый низкий — из села.

«От безделья и скуки я пошел на преступление», — пишет Александр С. из поселка имени Калинина, Горьковской области. — Спортom заниматься было негде, развлечений никаких. Каждый день танцы, а на танцы нужны деньги, и приходилось различными путями их доставать». Николай К. из Балахны, объясняя свое участие в групповой краже (не единственной), подчеркнул:

«Если бы у нас в поселке в клубе были бы какие-нибудь развлечения, кружки или секции, со мной бы, конечно, не случилось плохого. Позаботьтесь об этом серьезно, а то и другие будут садиться».

Прислушаемся к этому предупреждению и не будем пока торопиться с упреками ребятам в пассивности. Присмотримся к цифрам. Только два процента колонистов не назвали никакого любимого занятия. Только полтора процента обнаружили пристрастие к заведомо пассивному времяпрепровождению у телевизора. Их влечет к спорту, техническому конструированию, рыбной ловле, охоте, художественному творчеству. Но склонности их мало кому интересны, а возможности для удовлетворения весьма ограничены. И порою увлеченность самым интересным и честным делом... приводит на скамью подсудимых. Сын художника, ученик 10-го класса, увлекался физикой, химией. И особенно глубоко и страстно — радиотехникой. Почему же через колонию прошла его дорога? Послушаем его: «Если бы я был обеспечен радиотехническими материалами, измерительной аппаратурой, если бы у меня была возможность практически проверять свои догадки и размышления, я бы не совершил преступления» (не украл бы радиодетали в учреждении).

Конечно, беда, что любознательный юноша «не был обеспечен радиотехническим материалом». Но трижды беда в том, что человек в момент получения аттестата зрелости не был «обеспечен» запасом моральных принципов, истинных представлений о том, что честно и что бесчестно, преступно.

Сквозь ту же призму прочтем и ответ молодого ленинградца Саши К.: «Я хотел заниматься мотоспортом, просил принять меня в мотосекцию, но мне отказали. И я начал заниматься «самообучением» — угонял мотоциклы».

Примечательно, что ребята, осужденные за угон машин, мотоциклов, велосипедов, в несколько раз чаще других мотивировали поступок стремлением осуществить свой идеал героизма, удали, смелости. Видимо, ни за школьной партой, ни в сборе металлолома, ни в озеленении двора не нашли они выхода тем или иным своим ребячьим склонностям.

ДАЕШЬ «ИЗЯЧНУЮ» ЖИЗНЬ...

Многие преступления, совершенные опрошенными колонистами, — это мелкие кражи и ограбления граждан на улицах. Мотив один: «потребность в деньгах». На что? В анкетах мы не встретим обнаженной жан-вальжановской дилеммы — украсть булку или умереть с голоду. И хотя мотив — «нужда заставила» — и обнаруживается в некоторых анкетах, он все же чаще всего осознанно или неосознанно служит лишь оправданием, но не истинным побудителем про-

ступка. Ведь никто из колонистов не украл хлеб насущный, чтобы насытиться. Преобладают другие запросы. У девочек... Послушаем, что говорят по этому поводу они сами:

«Мне хотелось получше одеться. Правда, у меня было все необходимое. Но не станут же покупать мне «шпильки» в 15 лет! А у других девочек были. Я стала воровать вещи. Прятала их у подружек. А вечером надевала, и мы шли гулять. Знаете, как приятно так пройтись по городу: «шпильки», платье — все высший класс».

Даже воспоминания обо всем этом и то доставляют явное удовольствие. А вот еще свидетельство: «Я люблю хорошо одеваться, привыкла иметь карманные деньги. А родители стали урезать. Начала воровать. Сначала дома. Потом в чужих квартирах. Меня осудили условно. Я решила перестать воровать. Но один раз пришла к подруге, у нее на столе лежали золотые часы. Они мне очень понравились. Я сначала не хотела их брать. А потом взяла. Они были очень красивые».

Эти признания настолько наивны, откровенны, что их авторов трудно заподозрить даже в цинизме. Скорее это полная нравственная неразвитость. Ими целиком владеет стихия даже не желания, а скорее инстинкта: девочке захотелось какую-то яркую тряпку. Мальчику потребовались деньги на развлечения, на выпивку. И они спокойно переступают грань между честью и бесчестьем, не испытывая при этом особых душевных терзаний. Кажется, им неведомы самые простые законы человеческого общения.

Характерно, что осужденных за воровство горожан в колонии в десять раз больше, чем селян. Очевидно, соблазн «шикарной» жизни в городе манит сильнее. А груз традиционных заповедей («не укради», например) не довлеет. Так же, как и знание и уважение законов. Впервые слышат они: «Именем закона» — в сочетании со словом «Приговорен». Систематическое правовое просвещение у нас все еще отсутствует. И даже от робких своих попыток ввести в школах преподавание основ советского права Министерство просвещения почему-то отказалось. Не потому ли даже сейчас в колонии многих тяготит не преступление собственно, а наказание за него. «Если бы знать, что попаду сюда...» — большей частью именно так выражается сожаление — свидетельство неспособности дать моральную оценку своему поступку. »

Не случайно так редко колонисты смотрят на себя как на активную, а не страдательную единицу. «Если бы были у меня хорошие подружки, я не пошла бы воровать, а то все отсидели в колонии. Конечно, если бы я не хотела, то я не пошла бы воровать». Таких полупризнаний собственной ответственности в анкетах очень немного.

— Тебе не было стыдно воровать?

Нежная блондинка 16 лет, которая совершила несколько краж в яслях, отвечает:

— Сначала было боязно, а потом привыкла и стала совсем смелая. Мне сказали девчонки, что малолеток не сажают...

Ей даже вопрос непонятен.

Не больше смущен и 16-летний москвич Юра С., «промышлявший» в аллеях Московского университета на Ленинских горах. Но вот и другая сторона вопроса:

— Как же вы с товарищем развлекались, награбив деньги? — спрашиваем у него. И слышим бойкий ответ:

— Ездили в рестораны — пили, гуляли...

— И вас там обслуживали?

— Конечно, только мы ездили не в центр, там прогоняли, а на ВДНХ, там всегда пускают.

Может быть, когда Юра выйдет из колонии, гостеприимство всех питейных заведений будет наконец не таким щедрым для несовершеннолетних (существует же в ряде стран закон, запрещающий подавать и продавать спиртное молодым людям, не достигшим 20—22 лет). А пока данные опроса внушают острую тревогу: 40 процентов колонистов (у девочек этот процент несколько меньше), говоря о возможных обстоятельствах, которые могли бы помешать преступлению, единодушны: «Если бы не водка!» Каждый третий начал пить до 14 лет. Добавим, что каждый пятый прошел эту «школу» дома.

ПОСЕВ И ЖАТВА

Когда-то английский философ Бэкон утверждал, что природа в каждом человеке «всходит либо злаками, либо сорной травой». Но природа ли? Все чаще задаешься этим вопросом, читая в анкетах строки о семье. И не только потому, что многие строки обвиняют (хотя вдали от дома тоска по родным затягивает розовой пеленой многое из семейной жизни): «Отец приучил пить с 10 лет...» (Виктор Ш.), «Мать попросила меня уйти из дому в общежитие, потому что новый отчим этого хотел» (Александр К.) и т. д. Но все-таки ребят, которым так явно не повезло с родителями, в колонии меньшинство. Гораздо больше было сказано о родителях теплых и сочувственных слов: «Мама любит меня, но она все время работала, чтобы нам прокормиться, и ей некогда было за мной следить».

Матери работают почти у всех ребят (более 90 процентов). Зачастую плохая обеспеченность, постоянная озабоченность и усталость родителей оказываются серьезными помехами в воспитании детей.

Здесь следует предостеречь читателя от ходячего мнения: преступные наклонности, мол, развиваются в «неблагополучных» семьях, где не обращают внимания на ребенка. Но двое из каждых трех воспитанников сказали, что в семье по отношению к ним преобладали забота и внимание. Виктор Г., у которого есть и мать и отец (уборщица и грузчик), подчеркнул, что родители относились к нему заботливо. «Если не приходил вовремя, ругали. Хотели воспитать культурного человека, а я их подвел». Да, хотели воспитать, но не смогли, не умели. Виктор играл в карты, пробовал наркотики. А родители были бессильны. Они не знали, как переключить внимание сына.

Мы иногда забываем, что неблагополучие с подростками не сегодня началось. Сегодня приходится лишь платить по векселям, выданным 20—30 лет назад, когда воспитывались родители нынешних шестнадцатилетних, вернее, когда их недовоспитали, недоучили. В самом деле, что знает о воспитании детей отец той девочки, которая пишет:

«Я никак не могу забыть глаза отца. Они вообще-то красивые. Зеленые. А когда он разозлится, белки наливаются кровью. Глаза становятся страшными, неподвижными. Я всякий раз просто замираю. Не могла ни говорить, ни плакать, ни защищаться. Он меня бил. За пустяки. Не вовремя вымою пол — бьет. Младший брат поставит синяк — бьет. Пойду на школьный вечер — бьет. А мне больней не от битья, а от стыда. Я ведь уже не маленькая. Дом не был мил. Все меня угнетало. Один раз отец меня сильно избил. Я была в отчаянии. У меня был рубль с копейками. Я пошла и купила бутылку вина. Я вообще никогда не пила раньше. Пошла в школу. Позвала двух мальчишек из нашего класса. И мы налили в жестяную кружку, которая около бочки с водой, ви-

но. А тут идет учительница. Увидела. Побежала, сорвала мою карточку с доски почта. И на три недели исключили из школы. Я сбежала к тетке. Родители разыскали меня там. А я не хотела ехать. Пока были деньги, жила в городе. А кончились — поголодала и совершила кражу; меня тут же взяли. Не успела до вокзала дойти. Я вот все время думаю: почему так сложилось в нашей семье? Мы ведь жили вроде хорошо. Отец с матерью неплохо зарабатывали. Но радости не было в нашем доме».

В каждой третьей анкете подчеркнуто: «Родители не понимали меня» (хотя это ощущение всегда субъективно). «Если бы мама была со мной, как с равной, а то она вечно меня ругала и боялась, что со мной что-либо случится, не верила мне». В 15—16 лет подростки особенно легко ранимы, самолюбие обострено, любое насилие, унижение личности вызывает удесятренную реакцию, а иногда воспринимается трагически. «Бессознательное руководство личностью ребенка», — говорил замечательный русский педагог П. Ф. Лесгафт, — никогда не проходит без серьезных последствий и отзывается иногда на всей его последующей жизни».

Не все упущенное можно наверстать, и все же... Вполне реальным и необходимым представляется родительский «всеобуч». Сошлемся снова на авторитет. На заре социалистического движения Август Бебель выражал надежду, что в будущем ликвидируется наконец парадоксальное положение, когда солдата учат пользоваться его оружием, ремесленника — его орудиями, каждая должность предполагает подготовку, кроме одной — родительской. А мы все еще далеки от того, чтобы считать сейчас эту задачу уже решенной. Что же касается организации такого всеобуча, то его прообразом, видимо, может служить система обязательного консультирования физического развития ребенка с самого его рождения (вернее, задолго до рождения). Что мешает к этой медицинской службе добавить практику педагогического просвещения родителей, иногда, если угодно, даже «прописанного» административными органами?

ШКОЛА ИЛИ УЛИЦА?

Чем меньше привлекает дом, тем сильнее тянет улицу. Это неоспоримо. Как и другая истина: улица влияет тем больше, чем меньше занят подросток нормальными, здоровыми, присущими его возрасту делами.

Известно, что всеобщее восьмилетнее обучение должно быть повсеместной нормой. Но из опроса выясняется, что половина воспитанников окончила не более шести классов, бросив школу три-четыре года назад. Удивительно ли, что эти теперь уж повзрослевшие ребята меланхолично покачивают головой: «Не знаю», — в ответ на вопросы о Ломоносове или Пушкине, Островском или Шолохове. Зато некоторые девочки называли в качестве любимых книги «Три медведя», «Дедушка Мазай и зайцы». Это можно было бы воспринять как нелепую насмешку, но серьезность да и уровень других ответов (не говоря уже о грамотности!) исключает, к сожалению, возможность понимать это как шутку. Ребята не стеснялись невежества, как не стесняется новорожденный своей наготы. Даже начатки образования, полученные в школе, прошли по касательной к сознанию, не задев его.

Что можно сказать о школьных днях типичного нашего собеседника? Учился он с трудом. Наверное, одолел бы программу, если бы учительница смогла

как следует помочь, но она, быть может, и хотела, да не могла, не умела дифференцированно подойти к каждому ученику.

Загляните в любой план воспитательной работы классного руководителя — образцовый или посредственный, недельный или годовой, старшего или младшего класса, городской или сельской школы, — вы найдете там что угодно, кроме намерения изучать психологию учеников, их характеры. Потому что учитель не имеет для этого времени, потому что от учителя этого не требуют ни завуч, ни директор, ни инспектор, потому, наконец, что учитель не обладает соответствующими знаниями. Когда-то в вузе он лишь мельком слышал о психологических основах воспитания. Учился — думал, не пригодится. Стал работать — убедился: не пригодится...

И остаются ребята на второй год. Один раз. Другой. А разница в возрасте, в привычках, интересах все накапливается. Равновесие между физическим и духовным развитием все резче нарушается. Возникают новые интересы, иные привязанности. Показательно, что лишь один из четырех колонистов проводил досуг со своими бывшими одноклассниками. И вдвое больше нашла друзей на улице, обрета здесь уважение к себе, понимание, новые жизненные ощущения. Будем иметь в виду, что четверо из пяти совершили правонарушение вместе с группой — коллективно. Так улица ставит свою печать.

«ВРАЩАЮЩАЯСЯ ДВЕРЬ» ИЛИ ПАША-СТАРОЖИЛ

Разговор об уровне воспитания можно продолжить, имея в виду уже сами колонии, которые испытывают острейшую нужду в кадрах воспитателей. Можно ли от человека, у которого нет и элементарного среднего образования, требовать педагогических творческих поисков, знания психологии подростков, да к тому же подростков сложных? Такой воспитатель может обеспечить выполнение режима, производственных норм, учебных заданий, но он бессилен глубоко воздействовать на сложившиеся в какой-то степени характеры, представления, возбудить новые интересы. В крайнем случае он «выбьет старое», а чем заполнит образовавшийся вакуум?

Не подготовленный к самостоятельной, вольной жизни, покрутившись несколько месяцев на воле после отбытия срока, парень вскоре вновь... стучится в ворота той же колонии, как это было с Пашей Г. Каждый восьмой из опрошенных нами судим повторно.

До сих пор не изменилось (и даже усугубилось закрытием ряда отделений и училищ) положение, которое тридцать лет тому назад констатировал А. С. Ма-

каренко: «У нас считают, что любой человек, любой, кто угодно, стоит его только назначить на должность воспитателя и заплатить воспитательское жалованье, может воспитывать». Кстати, о воспитательском жалованье. Оно остается на уровне самого неквалифицированного труда и, конечно же, вряд ли привлечет молодые педагогические кадры. Это один из наиболее неотложных вопросов в ряду тех, от которых зависит будущее Павла Г. и его товарищей... Но ряд этот — длинная цепь. И в ней много других слабых, ненадежных звеньев.

Почти все воспитанники колонии (93 процента) полны самых лучших намерений: «Хотел бы стать настоящим человеком, жить, работать и учиться, как завещал В. И. Ленин», «Думаю уехать на комсомольскую стройку, стать ударником коммунистического труда» и т. п. Ребята убеждены, что при честности с их стороны общество готово раскрыть перед ними все двери. Они хотят стать инженерами, геологами, рабочими; между прочим, самая популярная у них профессия — шофер.

Но есть ответы, окрашенные грустной неуверенностью: «Я бы, конечно, хотел стать хорошим человеком, но не у каждого это выходит», «Я бы очень хотел забыть свое прошлое, но не знаю, удастся ли»...

Пойдем по следам этой ребячьей тревоги.

Скоро вернется девушка или парень домой... Навсегда опередят их письма от администрации колонии в адрес исполкома, руководителей предприятий района, отделения милиции с ходатайством об их прописке и трудоустройстве. Больше того, у них в кармане будет письменное согласие соответствующих лиц и на прописку и на трудоустройство, — иначе из колонии не отпустят. Все как будто хорошо.

Но... после рабочего дня — снова знакомый двор, старые дружки. И как бы ни хотели родители вырвать сына или дочь из этой среды, они почти бессильны. А что же обретенный вновь коллектив? Увы, он, как правило, безучастен к подростку. 85 процентов воспитанников колоний, по их словам, вообще были вне поля зрения комсомольских организаций — не имели никаких контактов с общественной жизнью коллектива, совсем не выполняли никаких поручений. Причем только 10 процентов из них повинны в этом сами. Остальные попросту были обойдены вниманием. Конечно, требуется внимание не формальное, а глубокое, со знанием дела. Но какими знаниями на этот счет, кроме чисто эмпирических, выхваченных в суете каждодневных дел, может обладать комсомольский активист? Какая литература, какая методика пришла ему на помощь?

Есть и другие вопросы, на которые нет сегодня положительных ответов. Но их нужно искать. Ибо ни один подросток не должен быть потерян для общества.



В журнале «Юность» № 9 за 1966 год под рубрикой «Каков вопрос — таков ответ» в разделе «Пылесос» было помещено письмо Юрия Е-ова из Троицка. Юрий жаловался на свою «горькую» судьбу: видите ли, девушки вешаются ему на шею! Ни одна не отказалась от знакомства с ним, хотя он и «на танцы приходил не совсем трезвый, и пошлости говорил, и... целовал с первого раза».

Ответила Юрию, высмеяв его, Галка Галкина.

Эта переписка вызвала большую почту. Мы получили сотни самых разных писем.

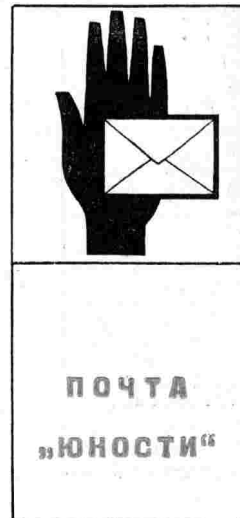
«Письмо Юрия настолько поразило меня, что я просто не могу не написать вам, хотя вы уже ответили ему по заслугам,— пишет Ольга Барабанова.— Да, мне нравятся парни, которые умеют действовать, которые могут защитить девушку и товарища, могут дать отпор хулигану, помочь человеку в трудную минуту. Юрия же мне просто жаль. Он сам не настоящий парень, поэтому и девушек настоящих не знает...»

А вот строки из письма Наташи Сухановой из Свердловской области: «Я хочу сказать Юрию: нет в тебе ни мужской гордости, ни мужского достоинства, нет ничего сильного и привлекательного».

В двух-трех из полученных нами писем авторы советуют: «Знаешь, Юра, попробуй читать стихи. Читай их как можно больше. Читая стихи, ты станешь чище, благороднее, нежнее и по-новому будешь относиться к девушкам».

Это, конечно, наивный совет, одно чтение стихов вряд ли поможет. Надо, чтобы всегда и везде Е-овы получали решительный отпор. Тут дело и в нашем личном мужестве. Каждый из нас несет ответственность за общественный порядок и хорошее настроение людей.

Мы публикуем здесь письмо Люси Королевой из Львова. Думается, что оно привлечет внимание наших читателей и многих заставит встать на защиту девушек от агрессивной пошлости и хвастливого хамства таких самовлюбленных индюков, как Юрий Е-ов.



ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ДЕВЧОНКОЙ?

Я живу во Львове, учусь на первом курсе Политехнического института. Мне очень хорошо было сегодня. Нас отпустили чуть-чуть раньше. Ну вот, выскочили мы, а на улице отлично так! Я шла и тихонько напевала любимую песенку.

А потом меня грубо, по-хамски выругали, прямо на улице. Какие-то совсем еще мальчишки. Они шли навстречу, и один толкнул другого на меня. Я стукнула его сумкой и сказала: «Всегда будешь получать так, пока не научишься себя вести». Они были совсем маленькие, моложе меня года на три. И тогда один из них скверно, нецензурно выругался. По-краснел сначала, что я его стукнула, а потом выругался. По всем правилам, с расстановочкой.

Знаете, как больно это? Сразу даже и не поймешь. А потом идешь, и все таким кажется мерзким, все, что нравилось раньше.

Мне восемнадцать исполнится через два месяца. Не так уж много прожила на свете, а вот уличной ругани уже наслушалась.

Я очень люблю каток и зимой часто пропадаю там целыми вечерами. Там тоже что ни круг, то ругань. Могут и ударить девчонку. Преступлением это не считается. А среди знакомых, глядишь, такой «ухарь» и прослыл «настоящим мужчиной». Вы скажете, есть простой выход — не ходить. Но ведь в семнадцать трудно целые вечера высидеть дома. И на танцы иногда хочется. Только там бывают дела и пострашнее. Редкий вечер не кончается дракой. У нас считается девчонка смелой, если пришла на танцы без знакомых ребят, которые смогут за нее постоять.

Таких ребят, которые могут выругаться в присутствии девчонки, полезть в драку, хвастливо рассуждать

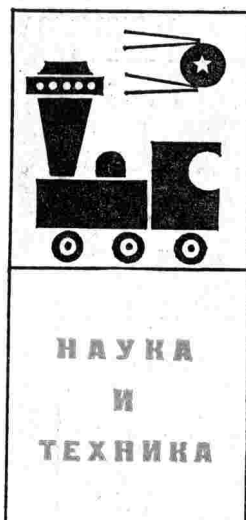
о «тюряге», о знакомом «чуваке», который проткнул другого «чувака», — их ведь, этих ребят, не единицы. И это не какие-нибудь слизняки, выползающие из темных улиц города. В своем классе или в своей группе, в своей семье, дома они обыкновенные, нормальные мальчишки. Выругаться при знакомой девчонке (в трезвом виде, конечно)?! Боже упаси! Что вы! А вот на улице, при чужих людях это встречается на каждом шагу. А может быть, это переходный возраст, как говорят? И надо научиться не обращать внимания?

Я хотела бы спросить у девочек Москвы, Ленинграда, Харькова, Свердловска и других городов: у вас тоже так? Или, может быть, это только в нашем городе? Я хотела бы спросить у мальчиков: позволяют ли они себе ругаться на улице при знакомых и незнакомых девчонках, при пожилых женщинах, каждая из которых почти всегда мать? И если да, то думали ли они когда-нибудь, что у девчонки, проходившей в это время мимо, надолго испорчено настроение?

Может быть, мое письмо покажется письмом о пустяках, о мелочах, не заслуживающих внимания? Может быть, я вижу многое в чересчур «черном» свете? Но в любом случае я не хочу, чтобы мое письмо показалось жалобой. Трудно быть девчонкой! Ох, как трудно, если бы вы знали! И мы, наверное, сильнее, чем кажется и чем думаем мы сами, потому что мы жалеемся редко. И если приходится самим сражаться за уважение к девчонкам — ну, что же, мы будем сражаться! Только я сама могу очень немного.

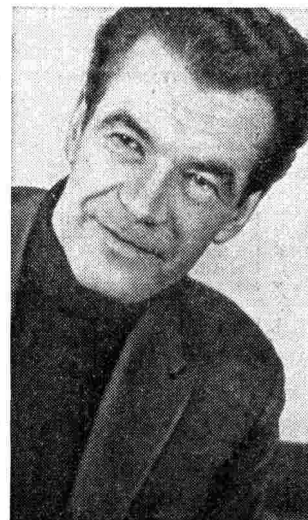
У меня уже давно высохли слезы, и я хожу в самом воинственном настроении. Только бы мне хотелось знать, что я воюю не с ветряными мельницами и что я воюю не одна.

Люся КОРОЛЕВА



Р. Леонов

ЗАГАДКИ ШАРОВОЙ



Не должно принимать в природе иных причин сверх тех, которые истинны и достаточны для объяснения явлений. Ибо природа проста и не роскошествует излишними причинами.

НЬЮТОН.

ИЗ АРХИВА
«ГРОВОЙ НАУКИ»

Близ полудня 26 июля 1753 года огромная грозовая туча с севера нависла над Санкт-Петербургом. Выйдя с ученого собрания, академический профессор физики Рихман поспешил домой, дабы успеть до грозы привести в готовность «громовую машину» и детище свое — электрический указатель грозовой материи, и потому поторапливал шедшего за ним гравировального мастера Ивана Соколова. Тому надлежало при опыте господина профессора быть, все приборы и манипулирования в точности зарисовать и отгравировать потом на меди, а ежели будут искры, то их тоже зарисовать верно по форме их и цвету.

Рихман взбежал в сенцы дома, не раздеваясь, прошел к столу, где стоял указатель, линейал коего погружен был в хрустальный стакан с медными опилками, «чтоб электрическая сила из углов не терялась». Попутно проверил, надежно ли отняты от земли железные цепи и тонкий провод от мачты, дабы не было ни малейшей утечки электричества в зем-

лю. Гравер вошел следом, стал чуть поодаль, опасливо поглядывая на прибор, о коем был наслышан в академии.

— Не бойся, майстер, еще рано. Грозовой силы — минимум...

Вдалеке загредел гром. Мастер достал из-за пазухи доску, положил в нагрудный карман отточенные грифели... Поднял голову — обмер: от железного ли прута, из иного ли места — к лицу профессора беззвучно шел по воздуху бледно-синий огненный ком с добрый кулак величиною. Без крика и стога Рихман упал спиной на стоящий позади сундук. Раздался грохот, будто выпалили в сенях из малой пушки. Ивана бросило на пол, опалило глаза, по спине многократно ударило проволокой... Когда вскочил, сени были заполнены едким — вроде пороховым — дымом, за которым не видно было хозяина. Опрометью кинулся мастер на улицу, крикнул, что дом зажгло молнией.

Сбежались люди. Огня нигде не было видно. Рихман же был бездыханен. На лбу его виднелось большое, в серебряный рубль, красное пятно, башмак на левой ноге в двух местах продран: молнией пробило его от головы до пят. Немедля послали за Ломоносовым и за академическим врачом. Прибывший «медицины и философии доктор» Кратценштейн растер тело унгарской водкой, отворил профессору кровь, дул ему в рот, зажав ноздри, дабы тем дыханье привести в движе-

ние... Тщетно. Вздохнув, признал смерть...

Вечером того же дня Михайло Васильевич Ломоносов писал канцлеру графу Шувалову: «Умер господин Рихман прекрасною смертью, исполняя по своей профессии должность. Память его никогда не умолкнет... Я вижу, что господина профессора Рихмана громом убило в тех же точно обстоятельствах, в которых я был в то же самое время. Тогда сидел я при указателе воздушной электрической силы с материями разного рода, которыми выводя искры, наблюдал разный цвет оных. Внезапный сильный удар, господину Рихману смертоносный, умалив и вскоре отняв из прута всю силу, которая была около 15 градусов, пресек мои наблюдения...»

Георг-Вильгельм Рихман был первым ученым, который буквально лицом к лицу встретился с удивительнейшим явлением природы — шаровой молнией. Правда, современникам, только приступившим к изучению атмосферного электричества и обычной — линейной — молнии, не показался достоверным рассказ гравера Ивана Соколова о бледно-синем огненном шаре, поразившем профессора. Устройство же «громовой машины» заставляло думать, что это был случай прямого попадания в молниеприемник, каковым «машина», в сущности, и была, только без отвода электричества в землю, а, наоборот, с приемом его на «указатель электрической силы».

Однако остались весьма авторитетные свидетельства участия шаровой молнии в трагическом случае 26 июля 1753 года: «Вне дома многие видели, как огненный шар отделился от облаков и упал на вершину аппарата (то есть «громовой машины»), выдававшуюся над крышей дома», — сообщила заметка в «Санкт-Петербургских ведомостях», а в рапортах М. В. Ломоносова и Х.-Г. Кратценштейна, которым было поручено представить Академии наук подробные изложения обстоятельств происшествия и свои соображения по этому поводу, и в «Докладах Ученого Общества Гёттингена» прямо утверждалось, что Рихман был убит «не молнией, но грозовым электричеством», и подчеркивалась особая опасность последнего.

НАБЛЮДЕНИЯ

Ежегодно на земном шаре происходит 16 миллионов гроз. Сотни миллионов грозовых разрывов раскалывают небо планеты, и молния представляет собой одно из самых обычных и привычных человеку явлений природы. Оговоримся — линейная молния. Несмотря на то, что в некоторых местах (например, на Яве) бывает более двухсот грозовых дней в году, когда вспышки молний можно наблюдать часами, вряд ли есть человек, которому удалось видеть шаровую молнию дважды в своей жизни. Появление ее всегда представлялось, да и теперь часто кажется, ничем не обусловленным, случайным, если не чудесным.

Не удивительно, что долгое время само существование шаровой молнии подвергалось сомнению, а то и вовсе отвергалось наукой. Французский физик Маскар считал ее «плодом возбужденной фантазии». Немецкий учебник физики конца XIX века отрицал ее, как «явление, не отвечающее законам природы». Многие ученые пытались объяснить свидетельства о ней оптическим обманом, иллюзией зрения, большинство же относилось к шаровой молнии проницательно — так же, как к спиритизму и прочим оккультным наукам.

Однако постепенно шаровая стала объектом науки об атмосферном электричестве наряду с линейной, ленточной и четочной молниями.

Франсуа Араго, лауреат Французской академии, в книге «Гром и молния» (Париж, 1838 год) пер-

вым дал сводку наблюдений и свидетельств об «огненных шарах из грозовых туч».

Из тысяч сообщений о появлении и действиях «феномена» многие, если не большинство, бывали продиктованы вполне понятным страхом перед неведомым и часто грозным явлением, невежеством, иногда и прямой недобросовестностью очевидцев. Ученым приходилось тщательно анализировать все случаи появления шаровых молний, чтобы отсеять наблюдения случайные, поверхностные, лишенные требуемых наукой подробностей. Задача весьма не легкая, — ведь не было ни единой «зацепки» в толковании физики удивительного явления. Правильная методика опросов все-таки позволила прийти к более или менее полной картине.

В 1960 году сотрудник Окриджской атомной лаборатории США Рэнд Макнолли разослал всем ее 15 923 работникам анкету-вопросник: «Видели ли Вы шаровую молнию?», «Если «да», то как она выглядела, ее действия, условия появления и исчезновения и т. д.». Макнолли получил более пятисот обстоятельных ответов. Ценность их значительно превышает ценность всех предыдущих свидетельств, ибо очевидцами были ученые, инженеры, лаборанты, люди с определенным научно-техническим кругозором, обладающие профессиональной наблюдательностью, приобретенной в процессе исследовательской работы. Правда, особенно существенных дополнений к известным ранее свойствам шаровой молнии «окриджская анкета» не дала, лишь подтвердив прежние выводы.

Вот ряд характерных, зачастую с трагическим исходом, действия разряда:

«Гроза разразилась среди ночи. Грянул гром. Ослепительный шар («побольше арбуза») закружился над поляной. От шара исходил розоватый, будто от неоновой рекламы, свет.

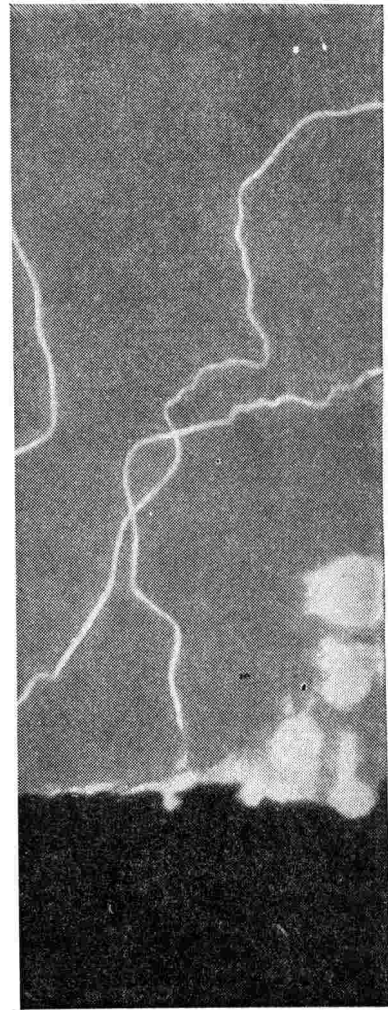
Сергей громко крикнул: — Над нами шаровая молния! Лежать, не двигаться. Кто поднимется, будет убит!

Ребята замерли. Никто не проронил ни слова.

Стало опять темно — шар улетел. Сергей устроил переключку: все на месте, все живы... Только некоторые жалуются на ожоги.

Но свет вспыхнул снова. Шар вернулся. Он кружился над лагерьем, будто выбирая жертву.

Испуганно закричал Валерий Мосин.



Фотография шаровых молний, возникших непосредственно за линейными разрядами. Внизу: гибель Рихмана (со старинной гравюры).



— Я сейчас тебе помогу! — крикнул Сергей. Вскочил, бросился к мальчику, и... раздался еще один удар.

Розовый шар улетел. Горы погружались в темноту, тишину.

...У Валерия едва прощупывался пульс. У Сергея пульса не было совсем, на левом виске разглядели маленькое красное пятнышко.

(Из очерка Н. Колесниковой в «Комсомольской правде» от 25 января 1966 года).

«...Самолет Аэрофлота «ИЛ-12» совершал обычный рейс на высоте около 4 тысяч метров. (На этой высоте отсутствует интенсивная грозовая деятельность.) Внезапно прямо по курсу самолета появился оранжево-красный шар, который, стремительно сблизившись с машиной, отвернул от кабины пилотов и попал в лопасти правого мотора. Раздался взрыв, самолет сильно тряхнуло, однако мотор работал бесперебойно. Штурман обнаружил, что из строя вышли радиокompас и другие приборы на электромагнитной основе, нарушилась радиосвязь. Через некоторое время работа приборов и связи восстановилась сама собою, никаких повреждений в них не обнаружено. На аэродроме было найдено, что одна лопасть винта правого мотора оплавилась в месте удара шаровой молнии».

(Журнал «Гражданская авиация» № 9 за 1958 год).

Как же выглядит в обобщенном виде шаровая молния? Что она представляет собой?

Шаровая молния — сферический или реже грушевидный электрический разряд большой длительности, который появляется чаще всего в конце грозы в виде красных светящихся шаров диаметром 10—12 сантиметров (известна молния диаметром около 10 метров!), окруженных контрастной синей областью с туманным контуром. Шар, однако, может быть ослепительно белым и иметь весьма резкий контур. Обычно при явлении молнии слышен свистящий, жужжащий или шипящий звук.

Очень часто шаровым молниям предшествует сильный грозовой разряд, однако этот начальный разряд часто отсутствует. Шаровые молнии могут исчезать тихо, со слабым треском или с оглушающим взрывом, когда искры вырываются из шара по всем направлениям. Вблизи земли или в закрытых помещениях шаровая молния движется со скоростью около двух метров в секунду. В закрытые помещения шаровые

молнии проникают через открытые окна или двери. Хороший путь для них представляют трубы, поэтому шаровые молнии часто появляются в кухнях из печей. После кружения по комнате шар оставляет помещение, уходя по какому-либо воздушному пути, часто по тому же, по которому вошел... Шаровые молнии причиняют иногда весьма сильные разрушения, вызывают пожары.

На основе наблюдений косвенным путем удалось установить — разумеется, приблизительно — внутреннюю энергию, температуру и силу тока шаровой молнии.

Английский профессор Б. А. Гудлет сообщал об «эксперименте» по измерению энергии шаровой молнии, который поставила... сама молния. «Опыт» состоялся в присутствии жителя Дорстона, графство Херефордшир. Наблюдатель «заслуживает доверия и был совершенно трезв». (Последнее обстоятельство по британскому законодательству является непременным условием достоверного свидетельства.)

Шаровая молния, «сойдя с неба», направилась к дому, в палисаднике которого стоял наблюдатель, по пути пережгла телеграфные провода и проникла в дом через окно, опалив оконную раму. Хозяин, борясь между желанием спасти дом от пожара и страхом, вошел в дом. Огненного шара нигде не было видно... Вдруг он заметил, что вода в бочонке, стоявшем в кухне, кипит. «Что за чертовщина?!» Он великолепно знал, что в нем была холодная, недавно налитая им же вода.

Держась на приличном расстоянии, он стал ждать, однако ничего «интересного» более не произошло. Вода вскоре перестала кипеть, но и 20 минут спустя в нее нельзя было погрузить руку...

Интересной подробностью «опыта с бочонком» является то чрезвычайно важное обстоятельство, что шаровая молния передала воде свою энергию без взрыва и, возможно, в течение некоторого времени была погружена в воду.

Как показывают косвенные оценки, внутренняя энергия шаровых молний невелика. Американец Дональд Ритчи оценивает энергию, освобождающуюся при взрыве шаровой молнии размером от 20 сантиметров до 10 метров диаметром, в эквиваленте тринитротолуола (тола) — от полукилограмма до 20 килограммов. «Разве это мало?!» — скажут иные. Конечно, мало! Возьмем верхний предел — 20 килограммов тола. Такое же количест-

во энергии содержится в трех килограммах угля, двух килограммах нефти, двух с половиной кубометрах газа.

Это означает, что настольная электролампа в шестьдесят свечей за 36 часов горения израсходует внутреннюю энергию самой большой шаровой молнии!

Пусть не смущает разница между мирным горением лампочки и грозным взрывом: энергия их сближает. Все дело в той огромной скорости, с которой энергия высвобождается при взрыве (тринитротолуола или шаровой молнии — безразлично). Процесс взрыва шаровой молнии, вероятно, еще более быстр, чем процесс реакции взрыва чисто химического. Это дает большую мощность (работу в единицу времени), а не энергию.

Существует мнение, что если бы объем шаровой молнии был заполнен напалмом, то есть сгущенным желеобразным безином, то внутренней энергии такого напалмового шара равнялась бы энергии шаровой молнии таких же размеров.

Расчет температуры «огненных шаров» чрезвычайно затруднен: в одних случаях небольшие шаровые молнии поджигают стога сена и деревья во время ливня, оплавляют или даже испаряют металлические предметы, однако в других — следы ожогов на стекле, дереве или металле незначительны. Наиболее реальной представляется температура от полутора до трех с половиной тысяч градусов.

Род и напряжение тока в шаровой молнии также не поддаются определению, сила же его составляет, по мнению некоторых исследователей, от 2 до 20 ампер. Именно это свойство делает смертоносным прикосновение «огненных шаров».

Вот и весь материал, который можно получить в результате имеющихся непосредственных наблюдений шаровой молнии.

Впрочем, нет. Есть еще один хладнокровный, воистину объективный наблюдатель — это фотоаппарат. Ясное свидетельство фотоаппарата не раз разоблачало сенсационные «явления» природы, «чудеса», всякие спекулятивные легенды. Правда, в ловких руках фотоаппарат часто и лжесвидетель.

Шаровой молнии не повезло с фотографией: есть только немногие десятки ее фото, из которых лишь некоторые могут считаться достоверными. Анализ этих фотоизображений — увы! — не обогащает наших сведений о физике шаровой молнии.

Мысль об искусственном воспроизведении шаровой молнии в лаборатории родилась одновременно с первыми научными публикациями наблюдений. Собственно говоря, о воспроизведении не могло быть и речи при тогдашнем состоянии электротехники сильных токов: речь могла идти только о простейшем моделировании. Первоначальной задачей экспериментаторов, пытавшихся получить «огненные шары», было получение внешне похожего явления. Для этого, казалось, следовало моделировать и внешние условия возникновения шаровых молний.

Французский физик Гастон Плантэ был одним из первых ученых, проделавших серию опытов по получению шаровой молнии. Он использовал токи большой силы и напряжения от аккумуляторных батарей для получения на поверхности воды или на влажных пластинках конденсаторов светящихся, жужжащих и с треском лопающихся шариков. Ему не удалось убедить ни современников, ни потомков в подлинности полученных моделей...

Этим же путем вновь и вновь шли другие исследователи. Как это часто бывало, многим казалось, что стоит немного изменить те или иные условия опыта (напряжение, электроды, растворы), и успех придет. Сотни раз варьировались условия экспериментов, много раз результаты их пытались соотносить с реальными явлениями, и каждый раз — неудачно. Опыты не проливали света на тайны шаровой молнии.

Отсутствие четких теоретических предпосылок превратило эти опыты в поиски «философского камня», «перпетуум мобиле» и другие печально известные в истории науки могилиники творческих сил человека.

Астрономы, физики, метеорологи — десятки и десятки имен, из которых немало знаменитых в науке, — с XVIII века по наши дни не оставляли попыток объяснить природу удивительных «огненных шаров», составляли различные гипотезы их происхождения.

Так, немецкий физик Пфейль высказал мысль, что шаровую следует считать «состоящей из космической пыли, перемешанной со снежными кристаллами и окруженной горючими газами, кои образуются сжатием насыщенных электричеством туч».

Ф. Араго видел в шаровой молнии уплотненное соединение азота с кислородом (или паровой шар с гремучими газами), «сильно пропитанное молниевой материей», то есть в высокой степени ионизированными газами. Электрически такой шар выглядит, как лейденская банка (конденсатор), у которого в качестве внутренней обкладки служит разреженный воздух высоких слоев атмосферы, а внешней обкладкой — окружающий влажный воздух, в то время как изолирующим слоем является шарообразный слой сухого воздуха, сильно сжатый благодаря взаимному притяжению двух взаимно противоположных электрических зарядов на его поверхностях. В случае внутреннего пробоя конденсатора-шара происходит зажигание искрой и взрыв гремучих газов, в случае быстрой утечки электричества во внешнюю среду — бесшумное исчезновение феномена.

Русский физик Н. А. Гезехус полвека спустя пришел к сходным идеям. Для реальной шаровой молнии, по его мнению, «необходимы... два влажных слоя воздуха, разделенных между собою сухим воздухом».

Как и в опытах с шаровой молнией, открытия в физике, химии, смежных науках рождали все новые гипотезы с применением самых современных идей и методов.

Созданные в период с 1750 по 1950 год гипотезы о шаровой молнии имеют не только исторический интерес: даже само знакомство с ними, не говоря уж о вдумчивой критике, дает богатую пищу для анализа, сравнений и обобщений данных наблюдений и опыта. Гипотезы эти не склепы идей, они ступени к все более полному и глубокому пониманию загадки. Существует мнение, что в наше время научная проблема любой трудности может быть быстро решена, если проблема поставлена правильно. Вот этой-то правильной постановке задачи и помогают в своей совокупности поиски ее решения в гипотезах.

Гипотезирование шаровой молнии как увлекательная научная задача рождало своих героев, мучеников и чудаков.

Достаточно сказать о попытке связать шаровую молнию с «летающими блюдами». Выдвигались идеи о том, что огненный шар является «вирусом звезды», «вихрем эфира» и т. д. — в зависимости от уровня подготовки и серьезности авторов.

Ничто в науке не проходит бесследно. Если гипотезы и помогли постановке проблемы, то решение

ее входит в компетенцию теорий шаровой молнии. Оговоримся, что деление на гипотезы и теории носит условный характер: под теорией в данном случае понимается достаточно полное описание. Верховным судьей теории может быть только опыт.

ТЕОРИИ ШАРОВОЙ МОЛНИИ

Советский физик-теоретик Я. И. Френкель (1894—1952 годы) интересовался шаровой молнией в ряду других явлений атмосферного электричества.

Для грозовых облаков и близлежащих слоев воздуха Френкелем установлены «коллективные», упорядоченные движения частиц пара и пыли, что, в частности, приводит к образованию «шаровых вихрей». Основой такого вихря являются жидкие частицы (пары) химически активных газов, которые возникают в результате электрических разрядов большой длительности и силы.

Кроме той роли, которую пыль и дым играют в создании «шарового вихря», они обеспечивают еще и свечение шара. По мнению Френкеля, происходит оно потому, что химически активные газы, реагируя друг с другом и с воздухом, отдают энергию крупным твердым и жидким частицам (пылинкам и капелькам), нагревая их до весьма высокой температуры и заставляя светиться.

Таким образом, по Френкелю, шаровая молния является шарообразным вихрем смеси частиц пыли или дыма с химически активными (вследствие электрического разряда) газами, причем вихрь-шар способен на длительное независимое существование и в целом электрически нейтрален.

Сравним теорию с данными наблюдений. Я. И. Френкель считает, что шаровая молния возникает преимущественно при электрическом разряде в запыленном или влажном воздухе. В пользу такого мнения говорит проникновение ее через дымоходы, где она, видимо, окончательно формируется, частое присутствие шаровой молнии у фабричных труб, водных поверхностей и других источников пыли, дыма или пара. Далее, наблюдения говорят о том, что шаровые молнии можно разбить на две группы — подвижные и осевшие. Подвижные в своем парении избегают твердых, в частности металлических предметов; осевшие же прикрепляются в основном к проводникам электричества. Подвижные шары светятся красноватым светом, напоминающим свечение ме-

теоритных следов в атмосфере, а неподвижные испускают ослепительно-белый свет.

Теория дает следующее толкование этих наблюдений: в первом случае красноватый цвет и сравнительно малая яркость объясняются свечением химически активных (ионизованных) газов, в частности окиси азота. Во втором случае при соприкосновении с металлом шаровая молния расплавляет и даже испаряет его, вовлекая в свое вихревое движение частицы металла, которые обеспечивают более яркое свечение. Отметим, что в этом случае магнитное поле будет удерживать шар на проводнике.

Эдвард А. Хилл, профессор университета в штате Миннесота (США), недавно выдвинул теорию «миниатюрного грозового облака», каковым, по его мнению, является шаровая молния.

Хилл считает, что особого рода удар линейной молнии приводит к тому, что у канала ее возникают заряженные положительно и отрицательно «микрооблачка» из частиц дыма, пара, пыли и молекул воздуха. Эти «микрооблачка» стягиваются в «микротучи», и противоположно заряженные области рекомбинируют свои заряды, нейтрализуются. Рекомбинация в такой «микротуче» (диаметром 5—10 сантиметров) будет, во-первых, несколько замедленной из-за хаотического перемещения «микрооблачков» и, во-вторых, осуществляться целой гаммой электрических разрядов: это будут малые и сверхмалые линейные молнии, плоские молнии, разряды типа «огней св. Эльма», кистевых дуг... Все вместе они создают картину яркого свечения, повышают температуру «микротучи».

Рекомбинация может пойти по пути, на котором в облачке возникнут две относительно больших заряженных области, тогда последует сильный разряд между ними или «взрыв» шаровой молнии. В противном случае «микроразряды» медленно нейтрализуют «миниатюрное грозовое облако», и оно исчезнет бесшумно и бесследно.

Не так давно оригинальную концепцию шаровой молнии выдвинул академик П. А. Капица.

Капица считает неприемлемыми все ранее высказанные предположения о природе явления, так как «они противоречат фундаментальному закону природы — закону сохранения энергии»... и «... если в природе не существует источников энергии, еще нам неизвестных, то на основании закона сохранения энергии приходится принять, что во время свечения к шаровой

молнии непрерывно подводится энергия, и мы вынуждены искать этот источник энергии вне объема шаровой молнии».

Источником энергии шаровой молнии, по мнению Капицы, является поглощение ею приходящих извне интенсивных радиоволн, порождаемых разрядами в облаках или вблизи земли.

Местами, наиболее благоприятными для образования шаровых молний, очевидно, будут области, где радиоволны достигают наибольшей интенсивности. Это пучности, или узлы напряжения, которые получаются при интерференции, то есть сложении, двух и более волновых фронтов с одинаковыми периодами колебаний. Возникая в такой пучности (узле), шаровая молния будет стремиться зафиксировать положение, наиболее энергетически «выгодное», а значит, и перемещаться либо с пучностью, либо от пучности к пучности. Становится понятным передвижение шаровой молнии вне зависимости от потоков воздуха.

Когда радиоволны от облаков падают на проводящую землю и отражаются, получается как бы несколько поверхностей вблизи земли. Тем самым создаются благоприятные условия для поддержания энергии шаровой молнии и ее передвижения в горизонтальной плоскости. В этом случае наименьшее возможное расстояние шара от проводящей плоскости (земли или иных предметов на ней), а значит, и зазор между молнией и отражающей поверхностью будет не менее радиуса шаровой молнии.

Это положение теории удачно объясняет те случаи, когда шаровая молния как бы катится по поверхности земли или предметов, в то же время не оставляя следов ожогов, или стремится как бы обойти (часто с изумительной ловкостью) те или иные предметы. Яркое свечение шаровой молнии скрадывает от глаза наблюдателя зазор в половину диаметра, который ограждает предметы от ожога, и рождает иллюзию «качения», «облета». По многим наблюдениям шаровая молния довольно точно следует на той или иной высоте рельефу местности, что также объяснимо ее перемещением по пучностям отраженных радиоволн.

Взрыв шаровой молнии наступает вследствие внезапного прекращения подвода энергии (например, если резко меняется длина волны электромагнитных колебаний) и представляет собой схлопывание сферы заряженного воздуха. Такой «взрыв», разумеется, не в состоянии причинить серьезных

повреждений. Бесшумное же исчезновение светящегося шара соответствует нормальному, относительно медленному высвечиванию энергии, полученной в течение некоторого времени от интенсивных радиоволн.

Одно из самых удивительных и загадочных действий феномена заключается в проникновении шара в закрытые помещения через окна, двери, дымоходы, даже щели и другие отверстия, а также частый обратный выход тем же или подобным путем. Эти явления получают в теории Капицы удовлетворительное объяснение: раз шаровые молнии следуют по пути коротковолновых электромагнитных колебаний, то для них естественно «использовать» отверстия, печные трубы или провода, так как они являются волноводами. Обычные размеры дымоходов соответствуют сечению волновода, в котором могут свободно распространяться волны длиной до 30—40 сантиметров, что находится в соответствии с размерами молний, проникающих в помещения.

Более узкие (меньше диаметра шаровой молнии) отверстия и провода могут служить так называемыми волноводными переходами, в которых линии напряженности электрического поля резко сужаются, а радиоволны, питающие шаровую молнию, соответствующим образом преобразуются. В результате — возникновение шаровых молний из телеграфных или телефонных аппаратов, проникновение огненного шара в закрытую кабину самолета и другие «почти невероятные» явления.

Теория шаровой молнии Капицы быстро завоевала множество горячих приверженцев. И не только потому, что удачно объясняет большинство трудных, неясных действий «огненного шара», а главным образом потому, что открывает пути для опытов, для проверки.

Вместе с тем ряд авторов отмечает резкое несоответствие теории Капицы «опыту с бочонком». Дело в том, что вода является практически непреодолимой преградой распространению радиоволн. Приняв на веру этот случай с шаровой молнией, мы не можем объяснить процесса «работы» огненного шара в погруженном состоянии. Если же счесть передачу энергии шара воде мгновенной, то эта энергия оказывается существенно меньшей («на несколько порядков», как говорят физики) той, которая отвечает засвидетельствованному профессором Б. А. Гудлетом случаю.

Трудно примирить противоречивые данные и противоположные

взгляды на природу редкого явления. Многие пытаются найти компромисс между теориями Френкеля-Капицы, но до сих пор такие попытки не увенчались успехом, равно как ни одна из теорий не одержала победы. По словам английского физика Брюса, «нам придется еще долго стегать полудохлую лошадь теории, пока она вывезет нас на хорошую дорогу». Поэтому вопрос о природе шаровой молнии остается открытым, и пройдут, видимо, годы, прежде чем наука даст нам ответ на него.

ЗАЩИТА ОТ ШАРОВОЙ

Уже пионеры науки об атмосферном электричестве создали конструкции простейших молниеотводов, достаточно надежно защищавшие здания. Выяснение природы линейной молнии позволило не только теоретически обосновать конструкции молниеотводов, но и найти способы защиты от разрядов атмосферного электричества линий электропередач, электростанций, хранилищ горючих и взрывчатых материалов и многих других объектов.

С защитой от шаровой молнии нам не повезло. некогда считалось, что защищаться от шаровой молнии следует, плотно закрывая во время грозы все окна, двери, дымоходы. Движение «огненных шаров» по току воздуха почти не вызывало сомнений. Когда эта мера оказалась несостоятельной, многие изобретатели пытались создать своеобразные защитные экраны из заземленных металлических сеток. Некоторые даже получали патенты на такого рода устройства, однако гарантировать защиту от шаровой молнии — значит обманывать себя и других. Такой защиты пока не существует.

Возвращаясь к трагической гибели Г.-В. Рихмана, можно сказать, что «луч молнии», поразившей отважного ученого, не мог быть ничем остановлен, в отличие от удара линейной молнии, который можно было отвести в землю.

ТРОПА ВОЙНЫ: «Х-ОРУЖИЕ»

На множество вопросов — как? где? когда? почему? — приходится отвечать, распутывая клубок загадок «огненного шара». Настало время ответить на вопрос: зачем? Какие практические применения может найти в будущем наше знание природы шаровой молнии?

После 1957 года, года советского спутника, многие исследовательские центры США обратились к

шаровой молнии, ища пути ее военного применения.

Ученые корпорации «Бендикс» создали установку по получению «комка плазмы». Плазма создавалась фокусировкой излучения радиолокатора в специальном зеркале. Если бы удалось лучом радиолокатора перемещать этот «комок» с одновременным подводом мощности, то был бы создан своеобразный снаряд с высокой температурой, большим электроразрядом и мощным излучением. Но «ком плазмы» в этой установке был чрезвычайно рыхлым, нестойким разрядом, который никак не удавалось насытить значительными дозами энергии, а при выдвигании из фокуса параболического зеркала он мгновенно распадался...

Контракт на разработку «Х-оружия» был дан Калифорнийскому университету, где В. Бостик проделал интересные опыты с двухэлектродной плазменной пушкой. «Выстрел» в ней достигается возбуждением шнура плазмы между электродами, затем резким повышением силы тока (до нескольких тысяч ампер в течение тысячных долей секунды) этот шнур вытягивается из электродов, магнитное поле отрывает его, а внутренние магнитные силы свивают шнур плазмы в клубок, который летит в вакууме со скоростью почти 200 километров в секунду!

В полученном сгустке нет ничего общего с естественной шаровой молнией, однако сенсационная журналистика накрепко связала эти явления при рекламировании работ В. Бостика. Кинетическая энергия и, следовательно, пробивная сила такого сгустка плазмы чрезвычайно велика. Но... после краткой шумихи о проекте замолкли. Сказалась ли система секретности или же это молчаливое признание неудачи — трудно судить.

ОКНО В БУДУЩЕЕ: «ГЕНЕРАТОР ЧУДЕС»

Горьким парадоксом развития многих отраслей современной науки является то, что мирные применения ее достижений значительно сложнее и отдаленнее, чем военные. Не избегает этого положения и проблема использования наших знаний о шаровой молнии. Однако говорить о таком использовании можно.

Если взять в качестве основы теорию Я. И. Френкеля, то открываются следующие возможности.

«Вихрь плазмы», неизвестным нам образом освобождающий большую энергию химическим путем,

является своеобразным «химическим реактором». Познать химическую физику процессов в шаровой молнии — значит увеличить наши возможности в химической технологии высоких температур.

Затем «вихрь плазмы» может дать нам важные уроки по устойчивости плазмы. Существует класс термоядерных реакций, ход которых возможен и при «низких» (до 10 000 градусов Цельсия) температурах. Возбуждение таких реакций в искусственной шаровой молнии чрезвычайно заманчивая проблема; возможно, она откроет новый источник энергии.

Из теории Э. Хилла вытекает интересный случай долговременного раздельного существования различно заряженных областей в малых объемах. Может ли это найти конкретное применение в электронике, сказать сейчас трудно.

Если же следовать за Капицей, то перспективы поистине замечательны.

П. А. Капица с сотрудниками разработал физическую основу новой отрасли электротехники, которую он назвал «электроникой большой мощности». Не входя в детальное рассмотрение идей новой отрасли, воспользуемся образным сравнением автора: если в начале своего развития электротехника применялась в основном для целей связи и лишь потом, с повышением мощности, стала основой энергетики, то сейчас тот же самый процесс повторяется в радиоэлектронике, то есть если радиоэлектроника прошлого и настоящего — связь, то в будущем она станет и энергетикой.

Электроника большой мощности исходит из принципиальной возможности сосредоточения больших количеств электромагнитной энергии в малых объемах, что дает возможность волноводной, без проводов, передачи энергии на большие расстояния, а также открывает пути генерации электромагнитных колебаний, которые могут превращаться в тепло, в энергию ускоренных направленных пучков электромагнитных волн и т. д. На этом пути возможно прямое (без теплового комплекса) использование атомной энергии.

Тем самым загадки шаровой молнии смыкаются с проблемами электроники большой мощности. Хочется надеяться, что «шаровая молния Капицы» — тот «генератор чудес», который в виде опасного и редкого явления существует в природе, а будучи поставлен на службу человеку, возможно, преобразит современную электроэнергетику.

НОВОСТИ ОТОВСЮДУ

САМЫЕ ТОЧНЫЕ В МИРЕ

Несколько раз в день по радио разносятся сигналы точного времени. Точность этих сигналов сейчас определяется новыми электромагнитными маятниковыми часами марки «АЧФ-3». Сконструированы они в подмосковном поселке Менделеево, во Всесоюзном научно-исследовательском институте физико-технических и радио-технических измерений. Допускаемая ими неточность хода в 10 раз меньше, чем у лучших зарубежных астрономических часов.

Такие часы — своеобразный хранитель времени. По ним можно сверять секундомеры, морские хронометры, приборы для контроля наручных часов. Сигналы нового прибора служат во всех астрономических обсерваториях СССР, на станциях по наблюдению искусственных спутников Земли.

Интересно отметить, что прибор сверхточного времени «АЧФ-3» может работать в течение многих лет без какого-либо ухода. Схема часов настолько надежна, что они дают точные показания даже во время землетрясения.

ФЛОТИЛИЯ ИЗ «ВЕНГЕРСКОГО СЕРЕБРА»

По знаменитым каналам Венеции и в устье Нила, по Дунаю и по озерам Швейцарии, по Черному и Средиземному морям плавают катера и трамвайчики, корпуса которых впервые сделаны не из стальных листов, а из алюминия.

Будапештским инженерам удалось получить легкий и прочный сплав, который называют «венгерским серебром». Он не боится коррозии и более долговечен в морской и речной воде, чем сталь. Его не надо каждый год красить.

ПОД ОКУЛЯРОМ — КУСОЧЕК СОЛНЦА

Через окуляр микроскопа можно рассмотреть колонии мельчайших вирусов, нервные клетки мозга, заусеницы на крошечных зубьях часовых колес.

Но еще никому из исследователей не удавалось разглядеть в увеличенном виде процессы, происходящие в расплавленных металлах. Да и как поместить раскаленную каплю в такой хрупкий прибор, как микроскоп!

Первый в мире высокотемпературный микроскоп создан в Ленинграде. С его помощью в лабораториях Института химии силикатов ведутся интереснейшие наблюдения за металлами при температуре до 2800 градусов. Раскрываются тайны кристаллизации, растворения одного металла в другом.

Небольшие по размерам частицы металлов или сплавов помещаются в специальную камеру на микроскопе и нагреваются электротокотом. Наблюдения можно вести по всему диапазону температур, открывая закономерности в структуре веществ, находящиеся в зависимости от степени нагрева.

Опыты могут вестись также с расплавленным стеклом, базальтом, огнестойкой керамикой, со сплавами металлов, с силикатами.

ПОДШИПНИКИ, КОТОРЫЕ НЕ НАДО СМАЗЫВАТЬ

Каждый, кому приходилось иметь дело с каким-либо механизмом, знает, сколь трудоемкое и малоприятное занятие смазка подшипников. Подшипники, которые не надо смазывать, — давняя мечта инженеров. Недавно английские конструкторы предложили каждый четвертый шарик в обычном подшипнике делать из пластмассы, содержащей фтор. Мельчайшие частицы такой пластмассы, отделяющиеся от шарика в процессе истирания, и будут выполнять роль смазки.

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ПИНГПОНГИСТ

Такой автомат сконструирован недавно в Швеции. Он подает мячики на стол с баснословной скоростью, которая недоступна даже мастеру мирового класса. Установка, которая программируется заранее, выстреливает пластмассовые шарики на стол под разными углами и с заданной скоростью. Только успевай отбивать!

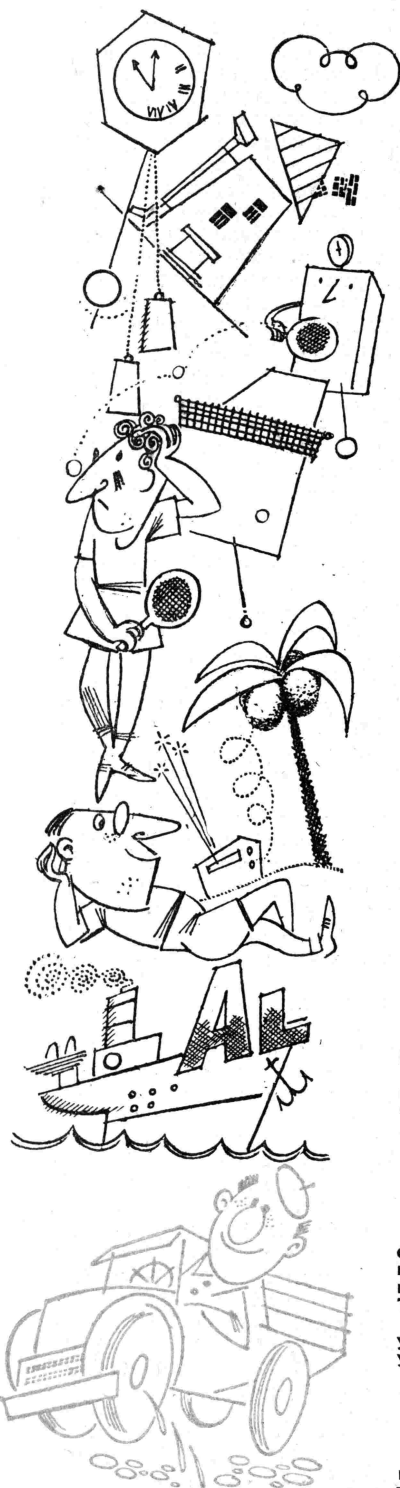
Автоматический партнер может научить хорошо играть в пинг-понг ногой. Ведь у него электронные нервы, а значит, и больше терпения, чем у любого тренера.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЗ... ОРЕХА

Оказывается, если выставить на солнце кокосовый орех, он превращается в... батарею, которая может питать энергией карманный радиоприемник на полупроводниках.

Такой опыт уже проведен на Гавайских островах. Ученые установили, что солнечное тепло способствует быстрому развитию в мякоти плода особых микроорганизмов. В процессе их бурной жизнедеятельности органические вещества сока разлагаются. В результате этих реакций в орехе и возникает электроэнергия, которой хватает на работу приемника в течение месяца.

Микробов можно поселить не только в кокосовом соке, но и в банке с илом, поднятым с морского дна. В этом случае также вырабатывается биологическое электричество напряжением до одного вольта.



Рисунки
И. Оффенгендена.

СИНТЕТИКА ЗАМЕНЯЕТ... КИТОВ

Советские ученые первыми в мировой практике разработали и внедрили в широкое производство процесс получения весьма дешевого сырья для универсальных моющих средств. Синтетические заменители жиров получают сейчас, окисляя парафины — отходы нефтедобычи. Первый цех по производству высокомолекулярных жирных спиртов из нефтяных парафинов открыт на Шебекинском химкомбинате. Получаемые там синтетические мыла не только дешевле натуральных, но и гораздо лучше их по качеству.

После соответствующей обработки высокомолекулярные спирты смогут также помочь при обработке руд редких металлов, при производстве водоотталкивающих веществ для плащевых тканей и кож, а также при изготовлении специальных добавок к смазочным маслам для продления жизни дизельных моторов.

Напомним, что до сего времени на мыло еще уходит урожай с сотен тысяч гектаров подсолнечника и жир десятков тысяч китов и кашалотов.

ИСКУССТВЕННЫЕ ВОДОРОСЛИ

В Дании один исследовательский центр упорно работает над проблемами орошения песков. Вдоль побережья Ютландии тянутся песчаные дюны. Если пескам дать воду, то с них можно собирать весьма богатые урожаи овощей, овса, картофеля. Однако море все время выбрасывает на берег новые порции песка. Чтобы предотвратить это явление, датские ученые «высаживают» на морское дно искусственные водоросли. Для их изготовления применили полихлорвиниловую обмотку старых телефонных проводов.

За 12 недель на пластмассовых водорослях прижились настоящие. Совместными усилиями они остановили движение песка.

ОГОНЬ-БУРИЛЬЩИК

Уральские специалисты применили в открытых карьерах, где добываются руда, гранит или сырье для минеральных удобрений, новые установки, которые режут породу... тонкой струей огня.

Установка действует по принципу реактивного двигателя. К горелке подводится газообразный керосин и сжатый воздух. При горении этой смеси получается высокотемпературное пламя, которое вырывается из горелки со сверхзвуковой скоростью и быстро пробивает в любых камнях и рудах отверстие диаметром до 10 сантиметров. Скорость бурения гранита или кварцита достигает 10 метров в час. Это значительно быстрее, чем механическое бурение, даже алмазным инструментом.

Установки огневого бурения выпускаются нескольких типов. Одни из них устанавливаются на мощных гусеничных машинах, а другие, портативные, переносятся в ранце, который крепится на спине рабочего-бурильщика.

МЕРКУРИИТЫ — КТО?

Вот уже несколько лет гигантские радиоантенны ведут постоянные наблюдения за Меркурием. Это внимание к небольшой планете вызвано некоторыми странностями в ее поведении на нашем небосводе.

Издавна считалось, что Меркурий всегда обращен к Солнцу одной стороной, подобно тому, как Луна всегда обращена одной стороной к Земле. Однако сейчас это классическое положение отвергается наблюдателями из Пуэрто-Рико. Ими установлены новые данные о вращении планеты, о смене на ней дня и ночи. В соответствии с этими фактами ученые предполагают, что Меркурий стал самостоятельной планетой лишь недавно. А до этого он был лунной у Венеры, то есть вращался вокруг утренней звезды в качестве ее спутника.

И УТИЛЬ МОЖНО СДЕЛАТЬ МОДНЫМ

Первое время югославским модницам не говорили, как изготавливаются новые ткани — дешевые, легкие, красивые.

Когда элегантные платья из этих тканей стали нарасхват, то появились и объяснения.

Берутся отходы асбеста и жгута, конская щетина и монопля, доскутки и запутанные нитки из синтетике, техническая вата и козья шерсть. Добавляется хлопнок-сырец. Весь этот утиль раскладывается тонким слоем, прошивается синтетическими нитками и слегка пропитывается полиэфирной смолой. Потом его пропускают через каландры специальные машины и окрашивают. Получается нетканая ткань, не уступающая по прочности ситцу.

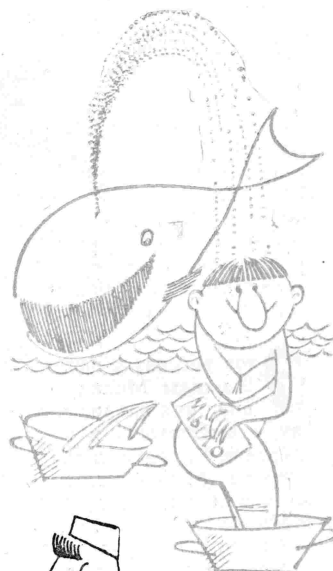
ПОЖИРАТЕЛИ САМОЛЕТОВ

На одном из аэродромов Англии техники заметили на полированной поверхности самолета пятна масла, а под ними следы коррозии. Как выяснилось, это была не ржавчина, а печальные последствия работы микробов. Сочетание масла и металла для них оказалось вполне съедобным бутербродом.

Ученые установили, что некоторые виды микроорганизмов способны так интенсивно питаться алюминием, что самолет может развалиться в воздухе. Средство борьбы уже найдено: это обыкновенные антибиотики. Теперь техникам приходится смазывать пастами с биомицином корпуса реактивных лайнеров.

МОРСКОЙ ТРОЛЛЕЙБУС

Скоро между материковой Италией и Сицилией по морю начнет ходить... троллейбус. Два контактных провода протянутся над поверхностью воды. Электрогослиссер с двумя дугами на крыше будет перевозить пассажиров через пролив со скоростью до 100 километров в час.



Зинин

Госпиталь

Этот рассказ я записал со слов Зинаиды Михайловны Петровой, учительницы. О событиях, происшедших в подмосковной деревне Каменка, я впервые узнал еще во время войны из небольшой газетной информации. Но встретиться с человеком, подвиг которого меня поразили даже в те годы, когда подвиги совершались ежедневно, повсеместно, на фронте и в тылу,— встретиться с этим человеком довелось лишь спустя 25 лет после описываемых здесь событий. Итак...

Хмурый, полный тревоги конец ноября 1941 года. Враг ворвался в Подмоскowie. Слухи, один страшнее другого, ползли по деревне: фашисты захватили Клин, немцы в Солнечногорске.

— По несколько раз в день налетали неприятельские самолеты. Жители нашей деревни спасались от налетов в наскоро вырытых под горой землянках. Во-он там,— показывает Зинаида Михайловна,— в них и жили. Первого декабря деревня словно вымерла. Наши части отошли, но немцев еще не было. Идешь, и будто ты попала в чужое место. Окна домов плотно закрыты ставнями. Трубы не дымят, на улице — никого! Жутко в деревне! Знаете, вот как нависнет беда неминуемая, так и тогда. И беда пришла! Ночью слышали: режут моторы. Фашист пришел! Потом — дзинь! — окно у кого-то разбили. Двери стали выламывать. Постепенно все стихло. Но к утру забухали пушки, поднялась ожесточенная стрельба. Это, наверное, какая-то окруженная наша часть прорывалась к своим. Вскоре стрельба отдалась. Вышла я из землянки, а за деревней по заснеженному полю, словно снопы запорошенные, лежат наши-то... Подбегаю к одному, другому. Может, думаю, родненькие, кто-нибудь из вас жив остался? Нет. Все мертвые. На лица успел уже снег нападать. Лежит, не тает. Что ему

человеческое горе-то! Многие из них сжимали в закованных руках винтовки. Не бросили оружия воины до своего горького конца...

— Вы спрашиваете, как я спасала раненых? Среди жителей разнеслась страшная весть. Кто-то увидел, что на улице, прямо в снегу, раздетые и разутые, лежат наши раненые. Наверно, фашисты думали: зачем тратить пули? Пусть перед смертью помучаются. Когда я узнала про это, у меня сердце кровью облилось. Что делать? Как помочь своим? Не нахожу себе места, потом накинула на себя пальто и, не слушая плача дочери и причитаний матери, выскочила из землянки.

Не помню, как очутилась у сельсовета. В доме окна выбиты, дверь сорвана с петель, угол разворочен. Тут, казалось, было холоднее, чем на улице. На полу намело сугробы. И вот здесь-то в одном нижнем белье, окровавленные и лежали раненые. Они уже почти не стонали.

Я сорвала с себя пальто и накрыла одного из них. Но разве одним пальто согреешь всех? Кинулась на соседний двор и принесла несколько охапок сена. Кое-как укутала и накрыла им раненых. Теперь нужно достать что-нибудь из еды. Тайком пробралась к себе в дом. Вот, думаю, дожили, приходится красться, как вору, к себе домой. К счастью, мать догадалась обсыпать опилками солонину в кадушках, и немцы не тронули мяса. Схватила несколько кусков, завернула их тряпкой и побежала назад к сельсовету.

В этот и другие дни по несколько раз навещала своих раненых. Принесла из землянки одеяла и бутылки с горячей водой, чтобы хоть немного согреть замерзающих людей.

Встречные немецкие солдаты провожали меня удивленными взглядами: чего бегаешь по морозу в одном жакете и ботинках? Но им было, наверно, не до меня. В Ка-

менке одни вражеские части сменялись другими. Шли жестокие бои за Дмитров, Яхрому и Лобню, и фашистское командование гнало на фронт все новые и новые пополнения. Да как-то и страха не было за себя. Об одном только думалось — как помочь раненым, как спасти их.

А раненым было плохо. Они замерзали. На третий день, когда я пришла, как обычно, утром в свой подпольный госпиталь, над белыми от инея охапками сена, под которыми лежали раненые, еще теплел пар от дыхания.

— Живы вы тут, мои родненькие? — спрашиваю.

Все молчат, никто даже не шевельнулся.

— Да отвечайте же! Вы что, умерли, что ли? — крикнула, а у самой от страха все перевернулось внутри.

«Да ведь они действительно могут умереть или просто замерзнуть!»

Гляжу я на них — и слова сказать не могу. Но тут зашевелились раненые, застонали. Лежавший с краю старший лейтенант Кутиков приподнялся.

— Живы-то живы, но скоро, наверно, и конец нам. Не выдержим больше. Замерзнем. Зиночка, милая, давай прощаться. Пришел, видно, наш последний час. Ты, дорогая, запиши адреса. Когда свои вернутся, — голос его окреп, и он говорил уже спокойнее, — ты напиши нашим отцам, матерям, женам нашим, где и как мы умирали. Да, еще вот возьми на память от нас. — Он протянул мне большие мужские часы.

— Ты уж прости нас за все, — говорит. — А наши обязательно придут. Ты верь.

Стала я записывать адреса. Пишу и не вижу от слез, что пишу. А сердце, будто кто его клещами сжал и не выпускает. Там, у раненых, я еще сдерживалась, а пришла домой, наревелась. Да что

там говорить... Лежу ночью в своей землянке и места себе не нахожу. Что же делать? И вдруг вспомнила! Как же я, дуреха, забыла, что в доме, где были раненые, наверху чердачная комната. Там есть даже печка. Тут же вскочила, нащупала спички, тихо, чтобы не разбудить своих, выскользнула из землянки. Опрометью бросилась к сельсовету. Хорошо, что не встретились фашистские солдаты. Жителям категорически запрещалось ходить по деревне после комендантского часа.

Бегу, прямо задыхаясь. Влетела в темный, полуразрушенный дом и... застыла. За перегородку метнулась темной тенью какая-то фигура.

«Неужели немцы?»

Но это был не немец. Навстречу из-за перегородки шагнул широкоплечий, высокий парень в рваной шинели.

— Девушка, милая, спаси, — горячо зашептал он. — Я бежал из плена и вот снова наткнулся на этих гадов. Помогги, спрячь или достань во что-нибудь переодеться.

Что делать? Спрятать, но где? Вместе с ранеными если? А вдруг он не тот, за кого выдаст себя, вдруг шпион фашистский?

Я глянула на парня. У него был такой потерянный вид, и с такой надеждой и мольбой его глаза смотрели на меня, что шевельнувшееся было подозрение сменилось простой человеческой жалостью к этому загнанному человеку. «Ос-

тавлю его с ранеными», — думаю. Другого выхода, пожалуй, и не было.

Раненых нужно было перенести по шаткой скрипучей лесенке на чердак, а у них у всех были тяжелые ранения в ноги. Малейший толчок, неосторожное движение причиняли мучительную боль. Каждый стон, каждая гримаса боли переворачивали сердце. Мы уложили последнего раненого и сами без сил опустились рядом с ними. Сидим, дух переводим. Раненые, растревоженные переноской, стонали. Это вернуло нас к действительности. Я натаскала сена и закрыла им небольшие оконца чердачной комнаты. Принесла доски от перегородки и затопила печь.

На следующий день, когда я подходила к сельсовету, вдруг вижу несколько немецких офицеров и солдат. Они заглядывали в подвал; ходили вокруг дома, очевидно, искали раненых. Один солдат направился прямо ко мне. Уходить было поздно.

— Где рус солдат? — заорал фашист, потрясая автоматом. Плохо бы это дело кончилось: у меня за пазухой были простыни для перевязки, табак, хлеб. Но тут затянули зенитки, и несколько сильнейших взрывов грохнуло вблизи. Наши самолеты бомбили колонны на шоссе. Немцы, втянув головы в плечи, побежали по улице, а я бросилась к раненым. Они даже и не подозревали об опасности. На общем совете решили быть более ос-

торожными. Но гитлеровцы больше не приходили.

Несколько дней с востока доносились канонада. Она становилась все слышнее и слышнее. Как-то ранним утром наши женщины пришли за водой к ручью и увидели: на окраине леса среди стволов мелькают свои родные, русские серые шинели. Они бросились, не разбирая тропинок, прямо по сугробам, к лесу. Это была наша разведка. Объятия, слезы... Радости не было конца. Командир разведки предупредил, чтобы жители не выходили из своих землянок. Ожидался большой бой за деревню...

...После жестоких боев за Каменку и соседние деревни в Зинином госпитале было уже не шестеро раненых, а сорок. Зинаида Михайловна ухаживала за ними, перевязывала, кормила, стирала белье. Приходилось и школу готовить вместе с другими учителями к занятиям — они начинались буквально на следующий день после освобождения.

— Выйдешь на улицу и прямо шатаешься от усталости, в глазах аж темно, — вспоминает Петрова. Через сутки пришли санитарные машины и раненых увезли в тыл... Каждому я положила записочку со своим адресом...

Много писем приходит и поныне в дом, где живет учительница Зинаида Михайловна Петрова. Пишут те, кто обязан ей жизнью, пишут и совсем незнакомые люди...

Семинар в Красной Пахре

Московский городской комитет комсомола, Московское отделение Союза писателей СССР и издательство «Молодая гвардия» провели в Красной Пахре шестидневный семинар молодых поэтов, прозаиков, критиков, драматургов.

Одни участники семинара — уже профессиональные литераторы, другие делают в литературе только первые шаги. Свои стихи и рассказы читали летчик и актер, геолог и учитель.

Поэт Арсений Тарковский, один из руководителей семинара, говорил своим слушателям: «Поэты страшно самолюбивый народ. Но в поэзии не может быть скидок». Дух бескомпромиссности, высокой

требовательности отличал семинар. И прежде всего не делали скидок друг другу сами молодые авторы, особенно были взыскательны, конечно, молодые критики...

Издательство «Молодая гвардия» выпустит в ближайшее время книги ряда участников семинара. Руководители групп рекомендовали издательству новых авторов. Готовят свои первые сборники рассказов студентка сценарного факультета ВГИКа Виктория Токарева и молодой архитектор Владимир Батаренко.

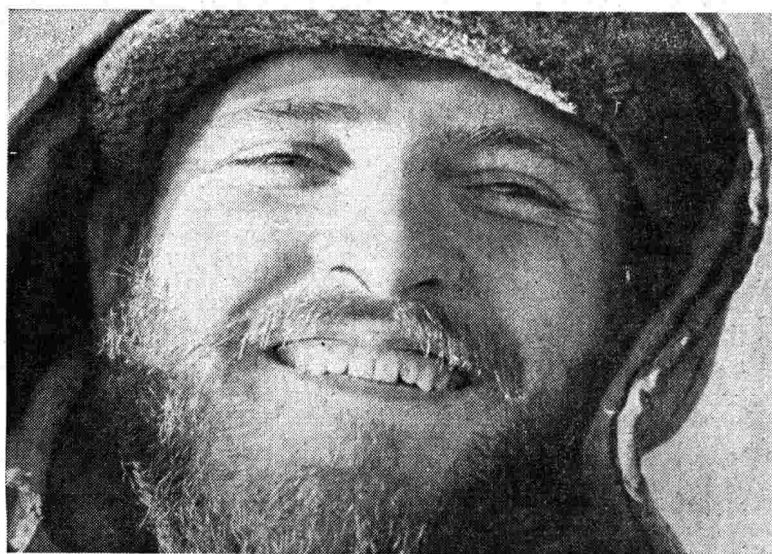
Некоторым участникам семинара даны рекомендации в Союз писателей. В их числе молодые драматурги Андрей Вейцлер и Александр

Мишарин, пьеса которых «Гамлет из квартиры № 13» уже знакома московскому зрителю.

Со многими поэтами — участниками семинара познакомит читателей альманах «Поэзия», который будет выходить четыре раза в год в издательстве «Молодая гвардия».

Семинар породил идею создания Дома творчества, который бы объединял молодых поэтов, художников, композиторов, артистов — творческую молодежь самых различных профессий — и где работа по секциям носила бы характер постоянно действующего семинара.

С. ПАЛАТНИКОВА



«Я слушал его рассказы об оленях и об обычаях эвенков...». («На Севере дальнем»).

Фото Л. Плешакова.

Две работы Юрия Сергеева («Скульптура из воздуха»).

Фото С. Васина.

Ягуа охотно позируют перед киноаппаратом. Крайний справа — шаман, который так любит подарки и чичу («В плену у гостеприимных ягуа»).

Кадр из фильма Г. Асатиани.



На Севере дальнем...

Я встречал их в Норильске, Дудинке, Диксоне, Хатанге. И в крошечных поселках с мудреными долганскими названиями. И просто в тундре, на берегу рек и озер, у которых и вовсе нет никаких названий. Я встречал их по всему Таймыру — парней из племени землепроходцев.

С Колей Замотаевым я встретился в колхозе «Красный промышленник», что на берегу Хантайского озера. За те два дня, что мы мотались вместе по близким рыболовецким и оленеводческим бригадам колхоза (два-три чума на берегу — это уже бригада), я успел узнать о нем вполне достаточно, чтоб запомнить надолго.

Сам он из Арзамаса. Институт окончил в Казани. Два года уже работает ветврачом дудинского окружного сельхозуправления. Профессия, прямо сказать, не из романтических. Но это по «материновым» меркам. А тут Таймыр. По весне ушел Коля в тундру. На одном олене — чемодан со всякими лекарствами и снадобрями, спальный мешок, кое-что из вещей. Другой олень — под сед-

лом. И так три месяца кряду, из одного стада в другое. Только на те два дня, что мы виделись, он и вырвался в поселок: ждал писем от жены, которая уехала на материк в декретный отпуск.

Мы ночевали в чумах на оленьих шкурах, посланных на ветки листовницы. На костре пекли рыбу и кипятили чай. Дым уходил в дыру между жердей, на которых держались брезентовые скаты. Мы засиживались далеко за полночь, и Коля рассказывал оленеводам о делах в других стадах колхоза, что кочуют по тундре за хребтами прихантайских гор. Оленеводы-эвенки слушали его внимательно, а когда хотели что-то спросить, уважительно обращались: «Товарищ Замотаев...»

Сейчас модно усаживать вокруг костра молодых покорителей Сибири, Заполярья или Дальнего Востока и задавать им, съедаемым дымом и комарами, всякие вопросы о смысле жизни, о счастье, найденном в этих диких еще краях. Ни о чем таком Колю спрашивать было не надо. Я слушал его рассказы об оленях и об

обычаях эвенков, о тундре и об озере, которое вытянулось между гор на сто десять километров. Я знал, что через пару дней улечу в Москву, а он уйдет снова в тундру, где начинался гон, самое горячее время оленеводов. И ветврач Замотаев должен был в тундре во время гона.

Я встречал на Таймыре молодых геологов, строителей, метеорологов, летчиков, врачей, топографов. Парней и девушек, которые делали очень нужную, хотя и не всегда приятную работу. И вспоминал о том времени, когда мальчишкой впервые услышал о Таймыре и Заполярье. Это было не так уж давно, но людей, которые шли тогда Ледовитым океаном или совершали полеты в Заполярье, страна называла героями. Сейчас из Москвы до Норильска пять-шесть часов сна в салоне лайнера. Добраться до Тикси или Диксона — тоже не проблема. И все потому, что уже пришло в этот край много таких парней, как Коля Замотаев. Они строят города и дороги, заводы и электростанции, ищут нефть и руду. Без шума и фанфар делают свое дело...

Л. ПЛЕШАКОВ

Скульптура из воздуха

Седьмая выставка молодых художников Москвы. Среди новых имен — имя Юрия Сергеева, выпускника Строгановского училища 1965 года. Его скульптуры как бы вылеплены из воздуха — воздуха, ограниченного прозрачным стеклом.

— Я не собирался стать скульптором, — говорит Сергеев. — Я работал литейщиком гипсовых форм на керамической фабрике. Был доволен. Но однажды, попав в автомобильную катастрофу, сломал руку...

Работать литейщиком Юрий уже не мог. На фабрике, зная, что он любит рисовать, предложили ему поехать в Палехское училище. Окончив его, Юрий решил продолжать учебу.

— В Суриковский не пошел: подготовка слаба. Поступил в Строгановку, на отделение керамики. Все же знакомое, родное. Но на третьем курсе перешел на стекло.

Почему? В тот же год, когда

Сергеев поступил учиться в Строгановское училище, туда перешел работать мастером с Электролампового завода Лев Васильевич Волков. Стеклодув. Универсал. С собой он принес идею: использовать в искусстве «техническое» стекло — попросту стеклянные полые трубки, с которыми Лев Васильевич работал на заводе. Обычно в искусстве использовалась расплавленная стеклянная масса, стекло в своем первородном виде. «Техническое» стекло позволяло создавать декоративную полую скульптуру. И это увлекло Юрия Сергеева.

— У такой скульптуры основа графическая. Две поверхности четко рассматриваются. Материал дает текучесть, прозрачность, певучесть. А главное, еще никем не измеренная широта изобразительных возможностей. Полная свобода изобретения! Каждый новый замысел можешь оформлять и изобразительно ново.

Два года Волков учил Сергеева

технике владения полым выдувным стеклом. Учил с пристрастием.

— Начал я с чистого использования пластических свойств стекла, — говорит Юрий. — Делал животных. Потом двинулся дальше. Хотелось воспользоваться всеми изобразительными возможностями, которые только может дать этот материал. Взялся за фигурки людей. Стал создавать свою палитру приемов декорирования стекла. Я декорирую стекло даже металлом. Все приходится искать, придумывать...

Тонкое, хрупкое стекло может звучать сурово в руках Сергеева: скульптуры декабристов, Отелло... Лаконичность линий, скупость декорирования и сам материал, полый, прозрачный, — все это производит такое впечатление, что позволяет назвать «скульптуру из воздуха» Юрия Сергеева подлинным произведением искусства.

Н. ВАРГАНИСТОВА

В плену у гостеприимных ягуа

Сижу в просмотрном зале с Георгием Ираклиевичем Асатиани. На экране — страна древних инков. Только мертвые города, оставшиеся в недоступных горах и джунглях, могут рассказать о былом величии сынов солнца, как называли себя инки.

Новое путешествие Асатиани не только новый фильм, но и новые приключения. В Алжире он едва не погиб, попав с партизанами в окружение, в Австралии проник к аборигенам. На этот раз, в Перу, Асатиани снимал мертвый город Мачу-Пикчу, озеро Титикака, по величине не уступающее Онежскому, но заброшенное почти на высоту Монблана, пустыню Сечура...

Но самые захватывающие кадры нового фильма, работу над которым недавно закончил Асатиани, — это кадры, рассказывающие о поездке к людям полудикого племени ягуа.

В Икитосе, небольшом городишке в верховье Амазонки, Асатиани предупредили: к ягуа лучше сейчас не ездить. Всего месяц-полтора назад одно из племен ягуа вдруг взбунтовалось. Индейцы съели католических миссионеров, и спасся лишь один мальчик, сын резидента миссии. Он-то и рассказал о трагедии в джунглях. Губернатор послал военную экспедицию, которая сожгла поселение этого племени. Остальные племена ягуа, напуганные экзекуцией, ушли в глубь джунглей.

Но Асатиани все же снарядил лодку и отправился по Амазонке к ягуа. Его сопровождали проводник-индеец, моторист и два данных губернатором телохранителя — два американца, удравшие из Штатов, чтобы не идти в армию. На корме были сложены подарки и шестнадцать бутылок индейской водки чичу, которая изготавливается из листьев тропического растения бетлу. На десятый день путешественники свернули с главного русла в один из притоков. Еще гуще джунгли, еще тяжелее воздух, температура которого достигает пятидесяти градусов. Ночью орут попугаи, ревет ягуар. А то вдруг обрушатся с неба потоки теплой, почти горячей воды — тропический ливень. Он может продолжаться всю ночь.

Пятеро спят прямо в лодке, на середине реки. Но и река страшна и враждебна. Не дай бог опустить нечаянно за борт руку: словно бритвой срежет палец маленькая, но самая свирепая и кровожадная из всех рыб — пирания. Ищут добычу крокодилы. Бесшумно пролетает вампир — существо еще более кровожадное, чем пирания. С рассветом лодка продолжает свой путь. Асатиани уже отчаялся встретить ягуа, когда в конце третьей недели проводник заволновался. По каким-то одному ему известным признакам он определяет, что где-то здесь ягуа. Может быть, они даже смотрят на путешественников из зарослей. Притихли веселые янки, поближе придвинули к себе автоматы.

Проходит еще несколько дней. Каждое утро Асатиани и проводник берут подарки и выходят на берег. Американцы с автоматами, чтобы не пугать индейцев, остаются в лодке.

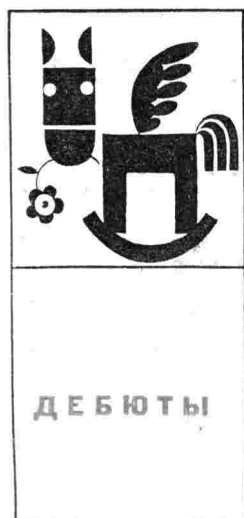
Не теряя времени, Асатиани снимает живописные берега, птиц. И вдруг однажды, словно из-под земли, вырастают десять воинов ягуа. Без долгих разговоров предводитель (потом выяснилось, что это был шаман) вырывает из рук проводника корзинку с подарками, и пленников, бесцеремонно подталкивая, гонят в джунгли. Телохранители тревожно наблюдают за этой сценой из лодки, но Асатиани решает не звать их на помощь. Чтобы снять ягуа, он готов подружиться с ними любой ценой. Через полчаса пленников вывели на поляну, где стояло длинное, похожее на барак строение из ветвей, в котором живет все племя. Жилище это имеет лишь крышу и настил. Вместо стен несколько жердей.

Ягуа едят все, что могут найти в джунглях: жукое, ящериц, червей. Они щедро угощают Асатиани этими лакомствами, охотно позируют перед киноаппаратом. Но назад не отпускают. Асатиани через переводчика объясняет вождю, что в лодке у него осталось много подарков. Вождь, находящийся под сильным влиянием шамана, советуется со своим «идеологом» и отпускает... одного проводника. Подарки вождю так нравятся, что он приказывает организовать охоту. К вечеру воины возвращаются с громадной добычей. Это еще больше подняло настроение индейцев, и на следующий день играется свадьба. Асатиани снимает свадьбу на пленку, но затянувшийся визит начинает его волновать. Кто знает, не захотят ли ягуа сыграть назавтра еще одну свадьбу, а гостей пустить на жаркое? Георгий Ираклиевич посылает проводника за чичу. Вскоре тот возвращается с бутылками, и веселье перерастает уже во всеобщее ликование. Но слишком веселых ягуа заинтересовывает одежда Асатиани и его проводника. С них стянули уже сорочки, когда подоспел на помощь шаман. Он потребовал еще чичу. Асатиани понял, что наступил самый подходящий момент, чтобы распрощаться с ягуа. И объяснил через переводчика, что только он знает, где лежат остальные бутылки. Шаман отпустил его к лодке в сопровождении двух воинов. Вслед за ними ускользнул из лагеря и проводник.

Лодка стояла у берега. Когда, сопровождаемый двумя воинами ягуа, Асатиани вышел к лодке, его телохранители быстро сориентировались в обстановке и «предложили» индейцам дать гостю свободу. Ягуа скрылись в джунглях, и в ту же секунду на берегу появился проводник и вслед за Асатиани прыгнул на корму лодки, которая полным ходом устремилась к противоположному берегу, а затем вниз по течению.

Ночь прошла тревожно. Плыть дальше они не решились, потому что в темноте не мудрено налететь на бревно и перевернуться. Спать же никто не мог, опасаясь погони. Но погони не было. И теперь Асатиани склонен считать, что ягуа удерживали его в гостях без всякого злого умысла: просто у них свои законы гостеприимства...

И. МАХАТАДЗЕ



Игорь Кио:

«Чудес не бывает»



Фото А. Гершмана.

Я допускаю здесь некоторую неточность, говоря об Игоре как о дебютанте. Если считать дебютом его первый выход на арену, то это произошло восемнадцать лет назад, когда Игорю было пять. Если же считать днем рождения артиста тот день, когда он впервые заменил в программе своего знаменитого отца, то и это случилось не вчера. Кио-младший рассказывает:

— Мне было тогда пятнадцать лет, мы работали в Московском цирке. После одного из спектаклей отцу стало плохо, его увозят на «Скорой помощи» и укладывают с подозрением на инфаркт. На следующее утро раздается телефонный звонок. Режиссер Марк Местечкин спрашивает: «Ты знаешь программу отца?» Как я мог не знать ее, если за все годы не было случая, чтобы отец работал на арене, а я не наблюдал за ним? У меня все было перед глазами, до малейшего его жеста, до поворота головы... Местечкин спрашивает: «Что тебе надо, чтобы заменить сегодня отца?» Я говорю: «Его разрешение, и чтобы был Арнольд» — режиссер, который ста-

вил отцу программу. В тот день Арнольд впервые в жизни пропустил бега и долго мне этого не мог забыть... Ну вот, за час до начала я пошел загримироваться, нарисовал себе губы таким красным цветом, как ни одна дама... Потом вышел на арену, публики не вижу, какая-то розовая зыбкая пелена... Не помню, как работал. Когда кончил, Арнольд сказал мне: «Барахло!» — но обнял и поцеловал. Так два месяца я вел программу, потому что билеты были распроданы вперед. Потом выздоровел отец, и мы стали работать вместе.

...Сейчас Игорь работает один: год назад на гастролях в Киеве скончался его отец, Эмиль Кио. Он умер сразу после представления, неожиданно, незаметно; прилег отдохнуть и... По комнате металась маленькая японская собачка, его любимица, не подпускала врача к остывающему уже телу артиста... Игорь рассказывает мне о жизни отца:

— Он был актером театра «Одеон», давно, еще до революции. Театр поехал на гастроли в Варшаву и там прогорел. Отец пошел в цирк Чинизелли, работал билетером, ад-

министратором, дрессировщиком. Фокусников он не любил. Потом он поехал в Берлин и там познакомился с необычным таким заведением, называлось оно — Адская академия. В сущности, это был магазин аппаратуры, и хозяин его, Хорстер, обучал покупателей, как надо с ней работать. Купив два аппарата, отец вернулся в Россию и стал выступать в качестве фокусника. Но уже тогда его выступления были резко отличны от классической магии. Повторяю, он не любил фокусов и в своих выступлениях как бы иронизировал над ними. Он изгонял мистику и привлекал юмор. И это было созвучно времени, потому что зритель вырос и мрачный чародей в чалме никого уже не потрясал. Отец же выступал с улыбкой, его чудеса были скорее шутками, а потом он ввел в свой жанр клоуна, и это было совсем уж необычно, но имело успех... Всего отец сделал девять иллюзионных программ, одни были более злободневны, другие — менее, но все пронизаны шуткой и сарказмом.

— Игорь, ты подхватил эстафету. Быть может, это преждевре-

менный вопрос, но все-таки вряд ли ты намерен довольствоваться повторением пройденного, — положение обязывает; в каком направлении ты намерен развивать жанр, так превосходно трансформированный твоим отцом?

— Самое простое, хотя и невероятно сложное дело, — это создавать новые номера, изобретать новые фокусы. Не один фокус, так другой. Ну и что? Я уже рассказывал, что было время, когда мистические ужасы на арене цирка стали архаизмом. Нечто подобное происходит, на мой взгляд, и сейчас: дивертисмент, набор отдельных, даже самых сногшибательных фокусов уже не производит сенсации, хотя еще, конечно, и не вышел в тираж. Так вот, я мечтаю о сюжетном спектакле, иллюзионном спектакле мюзикольного характера, где были бы острое действие, злободневность, запоминающиеся характеры и где каскад необъяснимых фокусов был бы неотъемлемой частью сценического действия, его основой.

— Чтобы создать такой спектакль, наверное, мало быть «магом», нужно быть режиссером?

— Я недавно поступил на режиссерский факультет ГИТИСа.

— Что такое для тебя работа в цирке — продолжение фамильной традиции, средство жить, призвание?

— Я вырос в цирке, казалось, это могло бы набить оскомину. Но никогда, ни в каком возрасте я не мог себе представить даже теоретически, что смогу жить вне цирка, что смогу не стать фокусником. То, чем я сейчас занимаюсь, — это единственное и главное, что я хотел бы делать всю жизнь.

Чем же он занимается? Он делает чудеса.

Он берет мягкий, податливый канат, свернувшийся у его ног удавом, и ставит его свечой, и по этой свече гимнаст лезет под купол. Но как только гимнаст снова касается земли, расслабленный канат падает вялыми кольцами к ногам Игоря Кио. Он подает руку красивой женщине и помогает ей войти в клетку, где крыша и пол не толще ладони. Вся клетка на виду. Падает покрывало. Секунда, другая, и в клетке мечется лев. Но где же женщина?... Он меняет людей в телефонных будках, извлекает их из

ящиков, заставляет проникать сквозь стекло — оно остается целым, тасует их, как карты, отделяет головы, распиливает, сжигает, — и все это стремительно, с улыбкой и обаянием, так что даже дети не боятся за судьбу актеров. И когда кончается эта феерия, в зале повисает восхищенное, огушительное, хоть и немое: «Как?! Как все это делается?»

Игорь Кио сделал редкостное исключение: позволил мне быть за кулисами в то время, когда шла программа. Я увидел ее изнутри. Это все равно, как если перевернуть ковер и вместо изумительного рисунка увидеть спутанную хаотичную изнанку. Но вы ошибаетесь, если решите, что я сразу же разгадал все секреты. Я ничего не понял. Мимо меня бегали униформисты; ежеминутно меняя платья, порхали сияющие, как бразильские махаоны, девушки; с грохотом проносились огромные цветные фонари; раскрывались, треща никелированными застежками, ящики; теряя перья, со свистом летали голуби; улетающая с арены, кричали встревоженные утки; чуть не задев колесом, проскакал экипаж; где-то на уровне колена бегали лилипуты и в тот момент, когда весь этот шабаш достиг апогея и мне помешалась уже в углу молодая элегантная ведьма на помеле, с реактивным гулом мимо пронеслась черная лакированная «Волга». Я повис на какой-то никелированной штанге и, поджав ноги, тем самым спас себе жизнь.

Так это выглядит изнутри. Когда я пожаловался Игорю на свою несмекалистость: мол, не понял, что к чему, — он заметил, что в труппе есть ассистенты, которые работают по несколько лет и до сих пор не знают, как делаются некоторые фокусы.

Но вот что поразительно: когда спустя три дня, которые я провел за кулисами, я уже знал все или почти все, и когда я снова посмотрел программу уже из зала, то разбитое было впечатление, раскрепощенная тайна, распавшаяся иллюзия вернулась в полном блеске заново. Я смотрел с увлечением, как если бы не знал, как это делается. Игорь Кио изгнал из меня разрушающий скепсис знания и вернул наивное ощущение непостижимости своего искусства. И это было самое серьезное испытание его мастерства.

— Ты чародей! — сказал я ему совершенно искренне.

— Меня пугают такие комплименты. И так ходят слухи, что я гипнотизер. Меня ловят алкоголики и просят излечить их от пьянства. Недавно ко мне обратился молодой человек и сказал, что страдает комплексом неполноценности: стесняется девушек. В Новосибирске одна женщина просила избавить ее от пристрастия к курению.

— И как ты поступаешь в таких случаях?

— Мне почти никогда не удается убедить человека в том, что я не владею гипнотическими и прочими парапсихологическими внушениями. Мне не верят. Тогда я смотрю человеку в глаза и рекомендую ему не курить, или, скажем, не впадать в транс при встрече с любимой. Самое удивительное, что потом приходят письма и меня благодарят: пишут, что помогло...

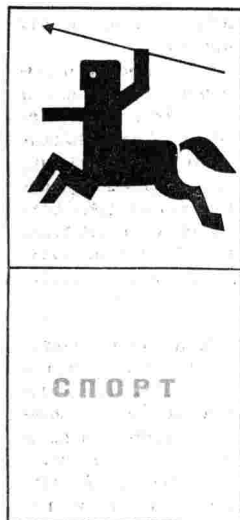
— Чудеса!

— Да нет, чудес не бывает. Это я точно знаю, потому что занимаюсь их производством. Есть работа, ночные репетиции, накладки, срывы, выступления по три раза в день, ремонт оборудования, снова репетиции. У нас в программе занято пятьдесят человек — это же целое предприятие... Бывает еще усталость. Иногда я стою за кулисами перед выходом и мне хочется повернуть назад. Но потом делаешь шаг, и все забыто, начинается работа, а иногда приходит и вдохновение...

У Игоря есть книга, в которой свое восхищение его мастерством записали Гагарин и Чухрай, Утесов и Симонов, Соловьев-Седой и Лепешинская, Гэс Холл и канадский посол Форд. Даже в этой книге многие спрашивают: «Как вы это делаете?»

Когда я шел в цирк, я намеревался рассказать читателям секрет хотя бы трех особенно сложных номеров. Но как-то в ожидании своего выхода Игорь научил меня двум сногшибательным фокусам, которыми теперь я до конца дней буду потрясать воображение моих друзей и знакомых. И я сразу же почувствовал себя сопричастным к всемирному цеху черной и белой магии и на правах члена этого цеха дал себе обет молчания.

Интервью взял
Виктор БУХАНОВ.



Елена
Семенова

Таллин- ский экспери- мент

Статья Георгия Сатирова «Двадцать четыре часа в сут-ки», посвященная проблемам школьного физического воспитания и опубликованная в сентябрьском номере «Юности» за прошлый год, вызвала широкий отклик наших читателей. Мы еще вернемся на страницах журнала к письмам и предложениям читателей. А в этом номере, продолжая разговор о школьной физкультуре, журналистка Елена Семенова рассказывает об очень интересном эксперименте, проведенном в одной из школ Таллина.

Далекая окраина Таллина. За длинными изгородями — опрятные сады, коттеджи. Ехать сюда надо на электричке или на могучем «Икарусе».

27-я таллинская восьмилетка рядом с остановкой «Икаруса». Небольшое двухэтажное здание, построенное еще в незапамятные времена. Школьный спортивный зал невелик: пожалуй, не больше волейбольной площадки. Работает школа в две смены — с восьми утра до восьми вечера, учатся в ней чуть ли не семьсот ребят. Словом, школа как школа, со всеми «нормальными» неустройствами, неудобствами.

Выйдя из «Икаруса», я побежала к школьной калитке. Я торопилась на урок физкультуры в 8-й «С». Уже во дворе услышала звонок. Неужели опоздала? И тут же из двери школы выбежали ребята. Они тоже торопились и тоже на урок физкультуры. Стоял далеко не теплый октябрьский день, моросил дождь. А в школе-



Так Василий Кюлеотс проводит урок физкультуры. На нижнем снимке вы видите и самого учителя.



Фото В. Мааск.

ном дворе в майках и трусиках выстроился 8-й «С». Учитель физкультуры Василий Кюлеотс — на нем тоже лишь легкий тренировочный костюм — отдает команду: «По кругу шагом марш!.. Бегом!»

Я видела этот урок весь — от начала до конца. Замерзла. А ребята бегали, лавируя среди луж, преодолевали препятствия, придуманные учителем, прыгали в высоту, разыгрывали эстафету, разделившись на две команды, бросали гранату один за другим — перебросали целый ящик, потом быстро собрали эти гранаты. И снова бегали. И я уже не боялась, что они простудятся. Разве тут простудишься?

27-я таллинская восьмилетка ничем не отличается от остальных школ. Ничем! Кроме одного. Если в других школах лишь два урока физкультуры в неделю, то здесь в двух классах — 8-м «С» и 5-м «Б» — уроки физкультуры проводятся ежедневно, а почти во всех остальных классах — три или четыре раза в неделю.

Эксперимент начался в 27-й восьмилетке три с половиной года назад. Врач-гигиенист, кандидат медицинских наук Райот Силле обратил внимание на то, что у школьников, особенно у девочек, плохая осанка, координация, реакция. Это еще раз убедило его в том, что правы специалисты физического воспитания, утверждавшие, что два урока физкультуры в неделю не дают достаточного физиологического эффекта. Силле пошел в Министерство просвещения Эстонии, и ему разрешили увеличить часы на физкультуру в одной из таллинских школ, даже благословили на опыт.

Когда учитель физкультуры Василий Кюлеотс согласился на этот эксперимент, спортивного зала в 27-й школе вообще не было. Все уроки проходили на улице, даже в холод, даже в дождь. Ребята к этому привыкли, а учитель был убежден, что от занятий на свежем воздухе куда больше толку. Зал появился примерно через год.

А как же с сеткой часов, с расписанием? Ах, эта злополучная сетка! В министерствах просвещения так и говорят: согласны, нужен третий урок физкультуры, но еще увеличивать количество часов!..

В 27-й восьмилетке довольно просто выпутались из этой сетки. Василий Кюлеотс порой выносит свои уроки за ее пределы. Идет первый урок второй смены, а на школьном дворе — последний — первой смены, урок физкультуры.

Иногда Василий Кюлеотс и вто-

рой учитель физкультуры Алис Раутмяги проводят урок одновременно в двух классах. Василий занимается с мальчиками на улице, Алис — с девочками в зале. Или наоборот. Или все на улице. Или все в зале.

А инвентарь? Особенно гимнастический? Обычно в школах не хватает спортивного инвентаря даже для одного класса. Сколько я видела уроков по гимнастике! Большую их часть ребята ждут своей очереди на перекладину или на брус. По два-три упражнения сделают — и все. Звонок.

Василий Кюлеотс приводит меня в маленький, но ослепительно чистый, ослепительно светлый зал. Здесь непривычно пусто. Нет обычной «мебели» — гимнастических снарядов. Только шведские стенки, маты. Перекладина, бум и канаты для лазания — во дворе, среди сосен.

Василий Кюлеотс сам гимнаст и любит этот красивый спорт. Но уроки по гимнастике он не проводит. Не видит в них смысла. По мнению Кюлеотса, главное в школьных уроках физкультуры — эмоциональность, нагрузки.

— Я, конечно, включаю гимнастические элементы в урок, — говорит учитель, — кувырки, подтягивания, лазание по канату, по шведской стенке, отжимания, словом, те упражнения, которые могут делать сразу много ребят.

— А программа?..

Василий Кюлеотс разводит руками.

— А если узнают инспектора? Вам ведь попадет!

— Ну да. Попадет, — соглашается учитель.

Здесь многое может смутить строгий инспекторский глаз. Особенно, если инспектор поднаторел в учебной программе по физкультуре (на уроках такая-то температура и т. д.) и охот до выговоров. Но у Василия Кюлеотса есть свои критерии.

На одном из его уроков я увидела большого, болезненно толстого мальчика. Он трусил на круг позади остальных ребят.

— Адрес, — сказал Кюлеотс, — год назад не мог пробежать и двух метров. Нагнуться не мог. А сейчас пробегает уже метров двести. Научился бросать гранату и вольные упражнения похоже делает. Постепенно у него окрепнут мышцы, и он станет, как все.

«Как все»... «Не как все»... Самое страшное, когда тебе от роду лет десять — двенадцать, и ты уже знаешь, что «не как все»! Самое страшное! Там, где другой легко делает шаг вперед, тебя едят сом-

нения... «Не как все»! Может, отсюда, от этой физической неполноценности берут начало многие болезни человеческих характеров...

Три с половиной года назад не умел бегать и Велло Ныэль. Мальчик страдал рахитом. Таким он пришел в пятый, ставший экспериментальным класс. Слабый, бледный Велло отлынивал от занятий. Он стыдился своей хилости, боялся, что не прыгнет, не подтянется, как все.

Учитель заставлял его бегать, прыгать, делать вольные упражнения, подтягиваться, лазать по канату... Сейчас ученик экспериментального 8-го «С» Велло Ныэль — один из лучших спортсменов школы, здорово играет в баскетбол.

У Эллен Гетреу было очень большое сердце. Часто «Скорая помощь» увозила ее прямо с уроков. Нет, не с физкультуры. Тогда Эллен физкультурой не занималась.

До четвертого класса девочка по полгода проводила в постели. Врачи запретили ей учиться с полной нагрузкой. А Эллен тянулась за подругами. И всем своим бедам назло перешла в четвертый класс.

И сказала своей маме:

— Купи мне, пожалуйста, тапочки. Я буду заниматься физкультурой.

Мать Эллен пошла к учителю физкультуры Василию Кюлеотсу, и тот посоветовал ей купить дочери тапочки. У его дочери тоже было большое сердце. Целый год Хилле провела в больнице. Ей физкультура — цианистый калий, говорили Василию Кюлеотсу врачи. А он прописал ей физкультуру. Сейчас Хилле Кюлеотс, ученица экспериментального 8-го «С», занимается к тому же в детской спортивной школе.

История повторилась и с Эллен Гетреу. Сначала Кюлеотс со всей мыслимой осторожностью, проверяя каждый ее шаг, разрешал ей только делать разминку. По-немногу она стала бегать, играть в мяч... К концу учебного года Эллен пошла к врачу. И врач освободил ее... от освобождения от физкультуры. Сейчас Эллен тоже занимается в спортшколе легкой атлетикой.

Я видела эту девочку. Она выбежала на большой перемене в школьный двор, прыгала, хохотала, выплясывала что-то вроде твиста.

Учитель физкультуры показывал мне классные журналы. В 27-й школе и журналы не как всюду. Висят на стене этикие графики. В них указаны все спортивные результаты школьников — по прыжкам, бегу, метаниям и т. д.

И стоят тождественные результатам отметки.

Василий Кюлеотс подвел меня к журналам 7-го «А» и 7-го «Б». Они висят рядом.

— Поглядите внимательнее, — попросил учитель. — Видите, какая разница в результатах.

Действительно, показатели ребят из 7-го «А» намного выше, чем у ребят из 7-го «Б».

— Прямо не могу поверить, — говорил учитель. — Один год, и такая разница!..

Три года назад оба эти класса, тогда еще четвертые, а не седьмые, были одинаковы. В обоих классах Василий Кюлеотс решил проводить по четыре урока физкультуры. Но классный руководитель 4-го «Б» побоялась, что лишний урок перегрузит ребят, повредит их успеваемости, и попросила Кюлеотса проводить здесь физкультуру согласно программе — два раза в неделю. Спустя год количество уроков физкультуры было и здесь увеличено. Но ребятам из бывшего 4-го «Б» так и не удалось догнать своих сверстников.

Но все-таки как с перегрузкой? Ведь не придумали же ее педагоги, работники органов народного просвещения!

По-моему, лучше, точнее, чем сказал заслуженный учитель Эстонии учитель математики 27-й восьмилетки Эдуард Вилеберт, и не скажешь:

— Впервые на своей памяти провожу математику на шестом, седьмом уроках, а ребята как свеженькие. Прекрасно усваивают материал, прямо как на первом уроке. И это все физкультура.

— Но ведь получается, что ребята проводят в школе куда больше времени, чем следует, особенно в экспериментальных классах? — привожу я традиционные аргументы. — У них не остается времени на отдых!..

— Наоборот, — говорит мне Василий Кюлеотс. — Вот учителя было мне жаловались: «Ваши экспериментальные совсем не читают учебников. Что услышат в классе, то и отвечают». А разве плохо? Ребята схватывают материал на лету, понимают его, запоминают. Они действительно меньше сидят за учебниками дома, но успеваемость в экспериментальных классах хорошая, ничуть не хуже, чем в других. Многие считают, что даже лучше.

Райот Силле согласен с Василием Кюлеотсом:

— Некоторые преподаватели жаловались, что в 8-м «С» шумовато. Специальным прибором я измерил уровень шума. «Обвинение» не подтвердилось. Шума здесь не больше, чем в других классах. Но умственная активность в 8-м «С» выше, здесь ребята чаще пристают к учителю с вопросами. Это утомляет учителя, и у него создается впечатление, что в классе шумно.

— Есть мнение, что физкультура возбуждает ребят и на следующем уроке они долго не могут успокоиться, ерзают, плохо слушают учителя? — продолжаю я «пытать» Силле.

— Верно, совершенно верно, — неожиданно соглашается Райот Силле. — Это если физкультура не оставляет физиологического следа, то есть проводится только два раза в неделю.

Ко всему остается добавить, что ребята экспериментальных классов — призеры традиционного школьного первенства Эстонии на кубок известного десятиборца Уно Палу. Василий Кюлеотс не готовит их специально к соревнованиям, занимаются они легкой атлетикой только на уроках. И этих занятий им хватает для побед. Ученица 8-го класса «С» Хейле Винт стала чемпионкой. Очень удачно выступил и Велло Ныэль, историю которого я рассказывала.

— Сколько же времени вы проводите в школе? — спросила я Василия Кюлеотса.

— С восьми утра до восьми вечера. Иногда ухожу раньше, иногда позже. Зимой два раза в неделю прихожу домой в два часа ночи. Это когда надо залить каток. В общем, у меня и у Алис Раутмяги получается по сорок часов в неделю. Но мы не устаем. Трудно, когда большие соревнования, как, например, кубок Уно Палу. А так, ничего. Мне часто помогают мои бывшие ученики.

В начале этого учебного года кандидат медицинских наук Райот Силле рассказывал о результатах своего эксперимента на коллегии Министерства здравоохранения Эстонии.

Он сообщил, что по всем своим физиологическим и антропометрическим данным ученики экспериментальных классов намного обогнали своих сверстников. Они намного выше ростом,

крепче, здоровее, активнее. Объем грудной клетки, объем мышц ребят из экспериментальных классов тоже намного больше. У них хорошая осанка, координация движений. Они дисциплинированнее, лучше усваивают учебный материал.

Мнение коллегии Министерства здравоохранения Эстонии: на основании эксперимента рекомендовать увеличение уроков физкультуры в школе.

Райот Силле считает, что три урока физкультуры в неделю можно проводить во всех школах страны, даже если в школах нет спортивного зала. А Василий Кюлеотс считает, что физкультуру вообще можно проводить на улице, даже в дождь.

На этом можно было бы и закончить рассказ о таллинском эксперименте. Но...

Сегодня, когда развитию школьной физкультуры уделяется место в специальных постановлениях ЦК партии и Совета Министров СССР, кажется ясно, что результаты таллинского эксперимента особенно важны. Да, сказал мне заместитель министра просвещения республики Иоганес Тохвер, эксперимент Силле и Кюлеотса ему очень нравится, но количество уроков физкультуры в школах республики увеличить не удастся. На это, говорит заместитель министра, у Министерства просвещения Эстонии нет, к сожалению, денег...

Значит, эксперимент окончен и его результаты, пусть даже самые положительные, постепенно забудутся? А учитель физкультуры Василий Кюлеотс может вновь проводить во всех классах лишь по два урока и спокойно идти домой, не усложняя себе жизнь никакими экспериментами...

Нет, на это Василий Кюлеотс не согласен. Он, как и прежде, будет торчать в школе с утра до ночи. Ах, ему будут платить только за 28 часов «программных», а не за сорок часов рабочих? Но тут я должна сообщить, что эксперимент, который начался три с половиной года назад, Василий Кюлеотс вел на общественных началах, бесплатно.

В начале этого учебного года ребята из 27-й бывшей опытной таллинской школы писали сочинение на тему «Кем ты хочешь стать». И многие сочинения, я сама видела, начинались так:

«Хочу быть учителем физкультуры».

«СКАТЕРТЮ ДОРОЖКА, ЧЕМПИОН!..»

На чемпионате мира по современному пятиборью, который проходил в конце прошлого года в Мельбурне, впервые за последние четырнадцать лет не выступал прославленный Игорь Новиков. Четырехкратный чемпион мира покинул в свои тридцать шесть лет большой спорт, уступив место в сборной страны более молодым и перспективным, по мнению тренеров, пятиборцам. Таковым сочли 23-летнего Павла Леднева и 27-летнего Стасиса Шапарниса. Вместе с более опытным 29-летним Виктором Минеевым они и вошли в мельбурнский состав нашей сборной.

Оправдала ли себя замена? Усилила ли молодежь команду?

Серебряную медаль в индивидуальных соревнованиях, завоеванную в позапрошлом году Новиковым, получил на этот раз Минеев, успешно выступавший и раньше рядом с Новиковым. Шапарнис же занял лишь восьмое место (отстал от чемпиона мира венгра Андраша Бальцо на 534 очка), Леднев — и вовсе одиннадцатое (отстал от Андраша Бальцо на 586 очков). В итоге и команда проиграла победителям, тем же венграм, почти 800 очков!

Итак, с уходом Новикова наше пятиборье ничего не выиграло, если не проиграло. А можно ли рассчитывать на новых Новиковых? Ведь по идее тех же тренеров молодежь должна вернуть советским пятиборцам старую и добрую славу сильнейших в мире. Иначе ничего и менять не стоило, мы и так были всегда минимум вторыми. Так вот лично я таких перспектив не вижу. Я полностью согласен с тренером венгерских пятиборцев Фридешем Хегедюшем, заявившим, что он «не видит в СССР спортсмена, который превзошел бы Новикова в ближайшие годы». Хегедюш уверен, что минимум до Мексиканской олимпиады Новиков останется сильнейшим пятиборцем Советского Союза. Так зачем же было ему уходить?

«Как зачем? — скажете вы. — А возраст? И вообще, что здесь в конце концов особенного? Не пер-

вый и не последний ветеран прощается с любимым спортом. Жизнь идет, годы берут свое, на смену старшим приходит молодежь».

Да, именно возраст и был официальной причиной добровольного ухода Новикова из сборной команды страны. Только добровольного ли?

Конечно, Новиков не юноша, его спортивный стаж измеряется двадцатью тремя годами. Но разве он стал «сдавать», разве пошло его мастерство на убыль, разве снизились его результаты? Нет, нет, нет. Он до последних дней по праву оставался лидером сборной, занимая самые высокие среди советских пятиборцев места на международных соревнованиях. Доказательство тому — его серебряные медали на Олимпийских играх в Токио и на позапрошлогоднем чемпионате мира. В 36 лет он продолжал обновлять личные рекорды.

И вот Новиков «ушел». Я взял это слово в кавычки потому, что неувядаемого ветерана («железный новиковский режим» стал притчей во языцех) вынудили уйти. Ведь в сборной царил атмосфера ожидания: когда же Новиков наконец «оступится», займет в соревнованиях низкое место и уступит дорогу молодежи? Внешне невозмутимый Новиков не мог долго мириться с таким к себе отношением. И ушел, хотя «низкого» места так и не занял.

Это не первый случай, когда отличного мастера вытесняют из спорта не более сильные соперники, а так называемые «волевые решения». Такое бывало и прежде, но особенно усилилась эта тенденция в последние годы. В позапрошлом году вывели вдруг из сборной СССР по парусному спорту отличного рулевого в классе «5,5» Константина Александрова. Или пример еще более разительный: несмотря на сопротивление старшего тренера сборной мужской команды СССР по баскетболу, «оставили не у дел» изумительного Арменака Алачачяна, о чем Гомельский до сих пор жалеет. Наконец, в этом году остались за

бортом чемпионата СССР многие наши сильнейшие мастера гребли. К командным состязаниям в Астрахани не были допущены (как «стариками») чемпионы Римской олимпиады А. Гейштор и С. Макаренко, чемпион СССР и призер первенства мира В. Образцов, экс-чемпионка мира, Европы и СССР Н. Грузинцева и другие сильнейшие байдарочники и канойсты. Этот список можно продолжить.

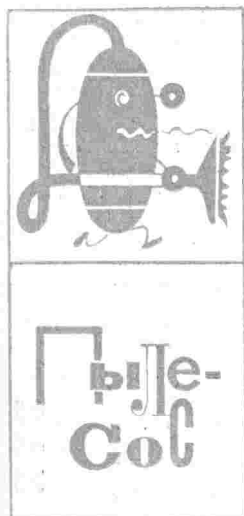
Конечно, есть и такие примеры, когда спортсмен действительно «сдает», и всем это видно, кроме него самого. Это — дело другое. Но сейчас я о тех говорю, которые, как Новиков, остаются непревзойденными в стране и тем не менее вынуждены расставаться с большим спортом.

От этого наш спорт пока ничего не выиграл. Тогда во имя чего это делается? «Во имя молодых, будущего», — отвечают спортивные руководители.

Во имя молодых?! Нет, убежден, что это оборачивается как раз против молодых. Что значит быть включенным в национальную команду? Это значит, что ты сильнейший в своей стране, что лучше тебя нет. Потому и дано тебе право представлять Родину на международных соревнованиях. Ощущают ли это те молодые, которые попали в сборную СССР за счет непобежденных ветеранов? Конечно, нет. Они прекрасно знают, что есть атлеты сильнее их. Стало быть, о самоутверждении, об уверенности в своих силах и говорить не приходится.

Куда уж молодому спортсмену выиграть за рубежом, если он не побеждает даже у себя в стране! Но этот резонный довод слишком утилитарен, чтобы быть решающим. Дело даже не в том, что заменившие Игоря Новикова в сборной страны молодые спортсмены не выиграли золотые медали. «Волевые решения», устранившие непобежденных ветеранов, развращают молодых спортсменов, наносят нашему спорту моральный ущерб, который не окупится никаким «золотом».

Виктор БАБКИН,
спортивный обозреватель ТАСС



Арк. Инин,
Л. Осадчук

Д Е Н Ъ Р О Ж Д Е - Н И Я



Рисунок М. Шестопала.

Позвонил мне Миша.

— Приходи,— говорит,— тридцать мне стукнуло. Посидим, поболтаем, вспомняем разное...

— Спасибо,— отвечаю,— приду.

— Спасибо потом скажешь. И чтоб в 18.30 как штык!

...В 18.30 с пачкой лотерейных билетов («За 30 копеек вы можете выиграть «Москвич»!) я постучал к Мише.

Не открывали долго.

Наконец послышалось торопливое шлепанье домашних тапочек, и на пороге появился Миша. Он был в пижаме и выглядел устало. Я ткнул ему лотерейные билеты и закричал:

— Ур-ра юбиляру!

Докричать приветствие не удалось. Миша зажал мне рот и потащил меня по коридору.

В комнате было темно. На фоне окна четко вырисовывались суровые профили Мишиного папы, мамы, дяди и еще десяти—двенадцати родных и близких.

Все смотрели в одну точку. Посмотрел и я: в углу голубым огнем горел телевизор.

Шел пятисерийный телевизионный фильм.

Миша карманным фонариком высветил мое место и прошептал:

— Папа не заслоняет?

...В 19.30 появился титр: «Музыкальный антракт». Включили свет, и все бросились к столу.

— Быстрее, товарищи, быстрее!—командовал дядя-тамада.— Времени у нас в обрез!

Папа разливал, мама разносила, дядя-тамада читал телевизионную программу.

— Значит, так: 19.35—«Беседы о самом важном». У нас имеется три с половиной минуты. Первый тост предлагаю уплотненный: за здоровье именинника, за здоровье родителей, за здоровье гостей! Свет выключим без предварительного предупреждения.

Свет действительно выключили без предварительного предупреждения. Как раз в тот самый момент, когда все потянулись за паюсной икрой.

Просмотр продолжался.

20.00—«Родителям о детях»...

Паюсная икра лежит.

20.50—«Танцуйте с нами!»

Паюсная икра лежит!

21.30—«На конвейере — транзисторы»...

Паюсная икра лежит. В 22.30 все снова потянулись к икре — Валентина Леонтьева пригласила на «Экран большой химии».

Дядя-тамада деловито постучал по графинчику и сказал:

— Значит, так: 23.00—«Фигурное катание». Передача из Праги. У нас имеется тридцать минут. Вполне достаточно, чтобы и покушать и поговорить. Кто не успеет уложиться до наступления темноты, запоминайте расстановочку: по диагонали — горячие закуски, по вертикали — холодные, грибочки в центре.

Свободное время пролетело быстро. За минуту до начала передачи дядя предупредил:

— Передача, товарищи, продлится до часу ночи. Борьба обещает быть интересной. Просьба друг друга не отвлекать, уходить не прощаясь.

Зазвучали позывные «Интервения»...

...В пятницу я приглашен на свадьбу к Пете. Смотрю телевизионную программу на пятницу: 18.30—«Сто затей двух друзей»...

24.00—«Показ мод из Будапешта».

М-да!..

**НЕОБХОДИМОЕ
ДОБАВЛЕНИЕ
К УЛЬТРАСОВРЕМЕННОМУ
КОСТЮМУ...**

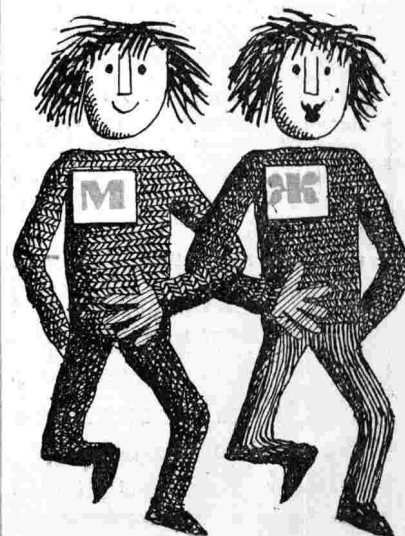
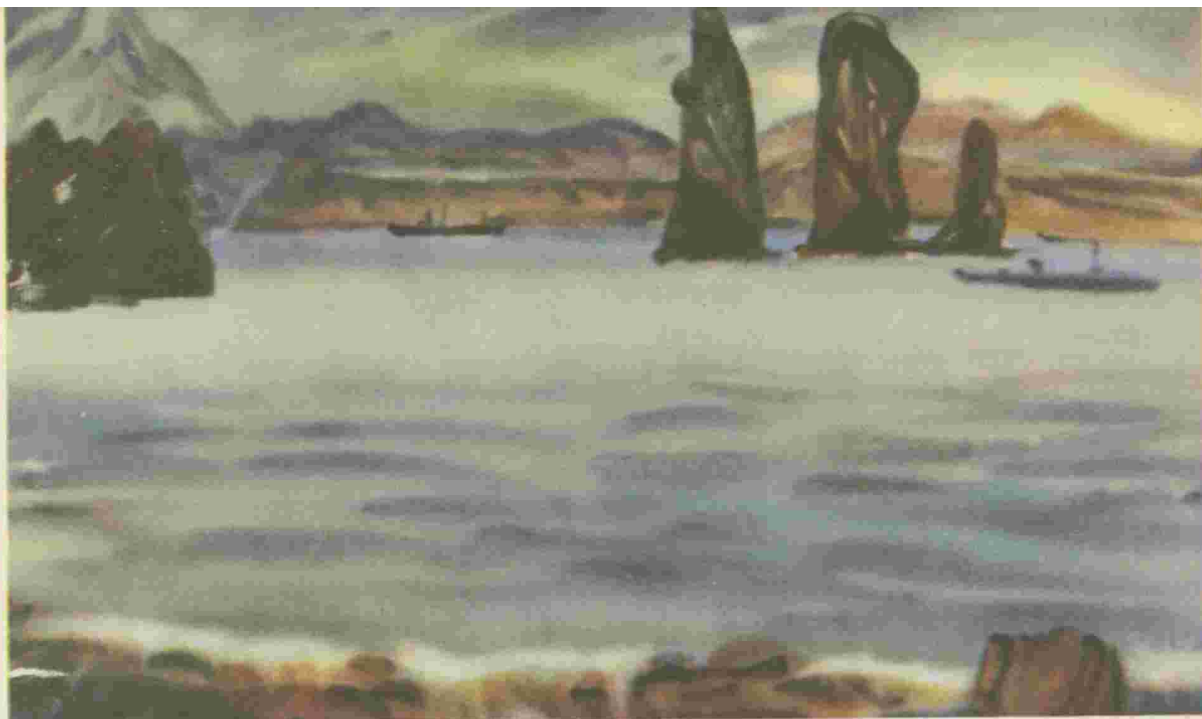


Рисунок Ал. Семенова.

• ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС



Ворота в Тихий океан.

Акварели Михаила РОЙТЕРА

Под извечным простором сумеречного неба — привычная, тихая, поэтическая старина. Но резко прочертила небо диагональ взлетевших ввысь качелей, взметнулись на фоне неба яркие девчачьи платица — и старина отступила на второй план, а все вокруг наполнилось дыханием современности.

Это акварель «На качелях», написанная Михаилом Ройтером неподалеку от северного Ферапонтова монастыря. Выше — его акварель «Ворота в Тихий океан». Таков диапазон тем художника. Лирика Северной Руси и монументальная суровость океанских далей на фоне коричнево-красноватых скал и прозрачно-голубого неба. Художник словно бы стремится объять все, что вмещается в слово «Родина».

Вот серебристая прелесть карельских лесов (акварель «В дозоре»). В самом ритмическом «пересчете» стволов деревьев, то могучих, то трепетно тонких, таится чувство тревожной тишины, расирывается настороженность приграничной жизни...

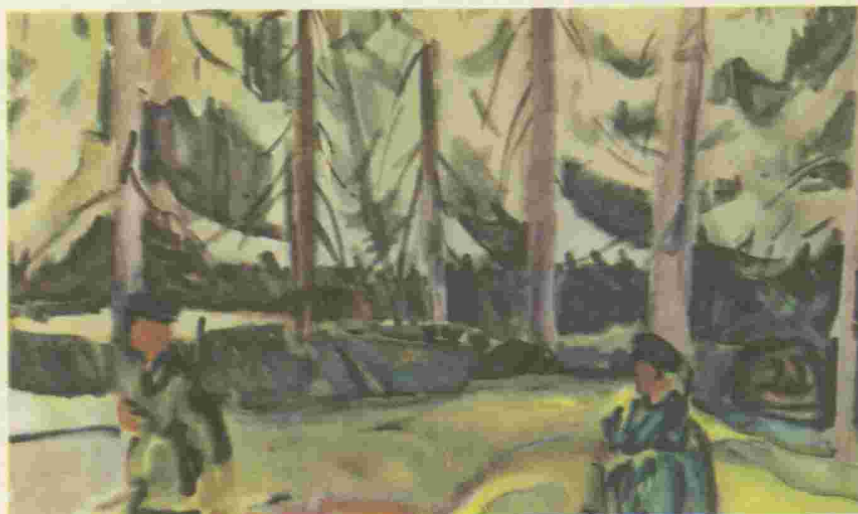
Особенность почерка Михаила Ройтера не в единообразии художественных приемов, а в неизменности его взволнованного, неравнодушного отношения к жизни.

...Я смотрела выставку Михаила Ройтера. Видимо, блокнот и карандаш придавали мне вид человека, безусловно, не случайного здесь. Думаю, что именно поэтому ко мне подошли две девушки, до той поры оживленно беседовавшие о чем-то с группой таких же, как и они, любопытно-веселых и молодых.

— Вы не могли бы сказать, сколько лет художнику? — спросила одна из них. — Мы спорим. Одни считают, что немногим больше двадцати, а другие — что все-таки за тридцать...

И, когда я сказала, что Михаилу Григорьевичу Ройтеру исполнилось пятьдесят, девушки не склонны были мне поверить. Настолько молодо его искусство!

М. ЯБЛОНСКАЯ



В дозоре.



На качелях.



Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Зам. главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, Э. Б. ВИШНЯКОВ, В. Н. ГОРЯЕВ,
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), Г. А. МЕДЫНСКИЙ,
М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс
71120